

International

Literary

magazine

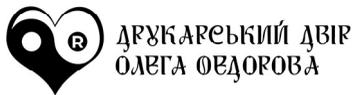
МАРК ЗАЙЧИК КУТЮРЬЕ



Марк ЗАЙЧИК

КУТЮРЬЕ

БИБЛИОТЕКА «КРЕЩАТИКА»
ПОЕЗІЯ, ПРОЗА, ПУБЛІЦИСТИКА



Марк
ЗАЙЧИК

КУТЮРЬЕ

Друкарський двір
Олега Федорова
Київ, 2024

УДК 821.161.1'06(569.4)-31
3-17

СЕРІЯ «Бібліотека “КРЕЩАТИКА”»
Заснована у 2023 році

Зайчик М.

3-17 Кутюрье / М. Зайчик — Друкарський двір Олега Федорова
2024 — 312 с.

ISBN 978-617-8169-69-5

В новую книгу Марка Зайчика вошли повести «Свинг», «Кутюрье» и «Игры с дьяволом». Большая часть событий первых двух происходит в Израиле 70-х годов. Здесь мы видим строящееся государство глазами молодых репатриантов, прибывших из Советского Союза. В хитросплетениях этих удивительных жизненных историй читатель, при внимательном прочтении, обнаружит и живые портреты некоторых выдающихся израильтян, таких как Голда Меир (Года в авторской транскрипции), Ицхак Рабин и др. Третья повесть затрагивает трагические события 7 октября 2023 года.

УДК 821.161.1'06(569.4)-31

ISBN 978-617-8252-14-4 (серія БК)
ISBN 978-617-8169-69-5

© Зайчик М., 2024
© Федоров О.М., видавець, Київ 2024

СВИНГ

Посвящается Илье Люксембургу

У него были маленькие, буквально миниатюрные кисти, которые смотрелись странно, так как завершали тяжелые толстые руки в веснушках, поросшие рыжими волосками. Сам он был плотен, массивен, сутуловат, высок ростом, казался неуклюжим. Но стоило понаблюдать за ним в тот момент, когда он резвым шагом выходил после уроков из иерусалимской школы, в которой преподавал физкультуру, и тут же становилось понятно, что он может быть другим человеком, совсем другим.

Выражение его чуть прямоугольного лица выдавало живую, плохо прикрытую радость свободы от всего этого, что было вокруг него с восьми часов утра и до двух или даже четырех дня в зависимости от расписания. Он мало с кем общался в учительской, выпивая в большую перемену стакан чая из общей шкатулки с откидным верхом, с ложкой сахара и с двумя бутербродами, принесенными им из дома и завернутыми в местную русскую газету с синим блеклым заголовком, сообщавшим о том, что это «Наша страна», ни больше и не меньше. Конечно, наша, чья же еще. Вообще, он с женой и трехлетней дочкой жил в Иерусалиме уже больше двух лет. Жена работала в архитектурном бюро, весьма успешно, он же закончил полугодовой учительский курс преподавателя физкультуры для прибывших в последние месяцы и годы, и трудился десятый месяц.

Им было довольно школьное начальство, потому что дети, даже проблематичные подростки из 8-х и 9-х классов, немного побаивались этого странного человека. Он относился к ним с брезгливой миной исследователя дикого племени где-нибудь в джунглях Южной Америки в районе Амазонки. Он как бы все время ждал неизвестно чего, опасного нападения хищников или чего-нибудь в том же роде. Его звали Моисей, если по паспорту, он категорически отказывался именоваться по израиль-

ской привычке кратко и популярно, Мики, вызывая недоумение не только у коллег в учительской, но и у детей всех классов. «Я просто Моше, так меня называйте», — сказал он сухо и хрипло в учительской при полном сборе наставников перед уроками. Было без десяти восемь утра. Палило иерусалимское солнце, освещая недоумение на лицах присутствующих.

— Ну, Мойша, так Мойша, — сказал, пожав полными плечами, физик Шмуэль, тоже из новоприбывших, но из Ленинграда, в отличие от Мойши, прилетевшего в Иерусалим из солнечного Ташкента. Это имело важное значение для тех, кто хоть что-то понимал в русско-советских тогдашних делах. Сейчас-то уже никто ничего не понимает про Россию. «Хочешь, чтобы был Мойша, ради Бога, пусть будет Мойша», — Шмуэль не удивлялся ничему, «наудивлялся уже», как он сам говорил себе иногда. Подхватив коленкорovou желтую папку под мышку и скользнув по Мойше строгими глазами математика, он уплывал в класс, 10 «а», для точности. Он, пухлый и неловкий, часто ругал старшеклассников за лень и тупость, отмечая, что есть, правда, приятные и обнадеживающие исключения, их совсем немного, но они есть. Откуда что берется, неизвестно. И пожимал полными плечами в советском пиджаке известной всем московской фабрики.

Автор этих абзацев и строчек ежедневно ездил за племянницей, забирать ее из школы после уроков, будучи не занятым полностью на работе, мог себе позволить прокатиться на сверкающем новеньком германского производства автобусе номер 4 в старый Катамон из только что построенного квартала Рамат-Эшколь с улицы Паран, туда и сюда за любимой мрачной девочкой восьми лет от роду с мечущимися губами. Племянница эта приехала в Иерусалим вместе с родителями и старшей сестрой за три года до всех событий в этой истории. Из Ленинграда, между прочим. Они были одними из первых, добившихся выезда из страны Советов, из колыбели революции, в непонятную и таинственную страну на берегу Средиземного моря.

И вот теперь их младшая девочка молчала уже третий год подряд в школе, не желая говорить кое-как на новом старом

языке ни с кем. Она была перфекционистка, ничего никому не объясняя. Упрямая, как известная кое-кому из осведомленных Дебора. По-русски она тоже помалкивала, за все надо платить, это все знают, а за свободу и право на нее, по слухам, особенно много платят все вокруг и рядом. Изредка я приезжал раньше времени, такое случалось не специально, и тогда и познакомился с Моше. Он был одет в вызывающий советский спортивный костюм синего цвета с фуфайкой на молнии и белой каемкой на воротнике. Из чистой шерсти, что было удивительно, учитывая местную солнечную погоду. Но все-таки среднегорье, 900 метров над уровнем моря, вечером холодно. Костюм этот был недостижимой мечтой всех или почти всех советских юношей того времени.

Он оглядел меня недоумевающим взглядом и не совсем уверенно подал руку, назвав свое имя. То же самое сделал и я. Мы говорили на крыльце школы, он предложил нас с племянницей подвезти, благо жил прямо напротив дома ее родителей в Маалот Дафна, рядом с базой ООН и новенькой школой имени француза Рене Кассена, который написал в сорок восьмом году Декларацию прав человека и получил Нобелевскую премию мира за это. Напротив нарядной, за прочной оградой, школы и жил Моше с семьей. Во дворе под окнами квартиры стояла, упираясь в клумбу, его горбатая вместительная германская машина салатного цвета, называемая «жуком» или «джуком», на местном слэнге. И если уж совсем точными быть, то модель эту с двумя передними ведущими колесами и мотором, расположенным в багажнике сзади, называли *Beetle*. Судорожно тарахтевшая неновая машинка, но по-немецки надежная, и пёршая по иерусалимским холмам, как молодая антилопа. Он ее берег, ухаживал, как за любимым конем, и гордился мощью и неприязательностью.

При всем тяжелейшем физическом труде и известном суровом прошлом, а также ежедневном напряжении, кожа на его лице была без малейшего изъяна: ни шрама, ни морщинки, ни пореза, ни излишнего загара. Только близко сидящие к носу всегда почти сомкнутые светлые глаза его были насторожены, как у опытного сильного бойца, каковым он и был, этот человек.

Племянница моя, усаженная на заднем сидении вместе с огромным ранцем, привычно молчала. Учителя этого она хорошо знала, слышала полунасмешливые и уважительные высказывания о нем своих одноклассников и пока разбиралась, что к чему. Она любила сама во всем разобраться. Относились к учителю спорта Моше так иронично, потому что у него был высокий голос. Этот голос не соответствовал фигуре физкультурника, его нагнутым вперед плечам и мрачному внешнему виду, который обещал не радость спортивного общения, а нечто совсем противоположное. Но заодно заметим, что ходил он по земле с бесподобной, почти лебединой грацией. Просто скользил по поверхности, не замечая ее, как по февральскому льду. Во время перемен отдельные ребята из самых разболтанных и несобранных специально смотрели, как Моше выходил из спортзала и двигался к учительской с сумкой и папкой, в которых носил все свое достояние: мячи, скакалки, журналы посещаемости, свистки и чего только нет. Ребята наслаждались и учились движению у него.

Он же шел независимо, расслабленно, не глядя по сторонам, не спотыкаясь, играючи обходя препятствия, что никак не вязалось с его собранным в кулак лицом и испепеляющим взглядом. И при этом у него не было никакой разболтанности в движении, он, казалось, был максимально целеустремлен. С этим состоянием сложно жить постоянно, но это было у него, с этим нельзя было ничего никому поделаться.

Мы ехали, настойчиво тарахтя вечным немецким движком объемом в 1200 л. с. в сторону Рамат-Эшколя по шоссе все время прямо, никуда не сворачивая, мимо здания телевидения, мимо огромной стройки по правую руку и дальше по Бар-Илану до перекрестка Рамот, и еще дальше до светофора, где Моше плавно повернул налево и еще раз налево, припарковавшись у дома. Все-то он знал, этот нелюдимый человек, про учеников своей школы и про их родственников, включая состав семьи, адреса и другие подробности. На темени у него возлежала небольшая вязаная кипа бежевого цвета. Это было важное дополнение к образу.

Я выпустил девочку, отклонившись и сдвинув спинку сиденья вперед. Она вылезла наружу, попрощалась с водителем

и не глядя ни на кого, деловитой походкой пошла домой мимо качающегося на ветру молодого дерева. «Если у вас есть время, то можно зайти ко мне и пообедать, есть плов и остальное», — сказал Моше, взглянув на меня почти просительно. «С удовольствием», — мне тоже был интересен этот крупный неуклюжий человек. Моше резко развернулся, крутя руль обеими руками, переехал на зеленый свет совершенно белый от солнца перекресток с резкой разметкой для переходов, и заехал к себе во двор, полупустой в этот час. У дальней парадной женщина средних лет в ситцевом сарафане на лямках, в белой советской панамке укачивала чужого ребенка равномерными движениями под колыбельную, привезенную с собой вместе с прошлым: «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю». Дамочка была права, конечно, «хотя, где тут край и какой сон, да, ни в одном глазу, задущу крикуна, не ори так».

К средней парадной подъехал шумный грузовичок «Пежо», и двое мужиков начали выгружать новенький диван, распутывая одновременно брезентовые ремни, которыми он был закреплен о борта. Один из мужиков негромко выругался по-русски, ударившись загорелым локтем о косяк входной двери. Дальше было не совсем ясно, потому что мы уже поднимались в темноте на третий этаж к Моше, который не желал задерживаться и наблюдать за разгрузкой. На втором этаже у окна лежал желтый широкий сноп света, падавший на пол тяжелым, душным, пшеничным, оформленным хорошим художником, обрывком сельского пейзажа.

Его квартира была стандартным домом прибывших жить в Иерусалим навсегда советских людей Моисеевой веры. Был стол с лакированной поверхностью, буфет со стеклянными раздвижными стенками, тюлевые занавески, на стене дореволюционная фотография раввина, черно-белая и значительная, письменный стол с настольной зеленой лампой в углу у окна, фотография писателя Хемингуэя в свитере с глухим воротом, полка с книгами, названия которых было издали не рассмотреть, и открытая дверь во вторую комнату с детской кроваткой.

— Садись, жена на работе, Сарочка в садике, я сейчас все принесу, — сказал Моше быстро и вышел из комнаты, обогнув

меня, в кухню, где сразу загремел посудой. Он снял свой безумный шерстяной свитер, на улице в два часа пополудни было градусов тридцать минимум, оставшись в бело-синей футболке с воротником и с длинными рукавами с буквой Д на левой стороне у сердца. Он метко забросил свой мастерский свитерок на спинку стула возле стола. — Ты не забывай, я из Ташкента, там было жарче, чем здесь, — сказал он быстро, без ожидаемой усмешки, заметив мой взгляд, — так что я не страдаю от перегрева.

Еще висела в простенке между окном и балконом картинка, какой-то сфотографированный давно ничем не примечательный вид, явно сделанный на окраине Иерусалима, с двухэтажным столетним домом, оставшимся от англичан, со слепыми окнами, с какими-то кривыми деревьями, по всей вероятности, оливами, и пологим склоном, в конце которого у дороги виднелась канава, уходившая в пустыню. Моше был не из тех людей, которые станут вешать что-либо на стену малозначительное и не важное. Что это такое и что это изображало, было не ясно, но спрашивать сейчас об этом хозяина было неудобно.

Да, на письменном столе можно было еще рассмотреть издали боксерскую фотографию, прислоненную к стопке книг. На фотографии был изображен бой: сам хозяин со спины, обтянутой майкой, с коротко остриженной головой, втянутой в широченные, как бы лакированные плечи, в разгар обмена ударами с неизвестным противником. Дело было в СССР и, кажется, недавно, если можно обсуждать время исполнения черно-белой фотографии. Где-то на юге, так можно было бы озаглавить эту картину. Какие-то люди в кепках на заднем плане.

Еды Моше выставил на стол в кухне много, она была очень вкусной и разной. Но дело не в еде, не только в еде. Меня удивило то, как этот крупный тяжеловесный человек со всем ловко управлялся и расставлял тарелки по белой скатерти, оглядывая стол, похоже на то, как оглядывает его бывалый метрдотель перед началом важного банкета. Еще меня, человека, мало опытного в этом искусстве, буквально

потрясло то, как он нарезал лук и помидоры для салата. Делал он это, держа помидоры на весу и срезая с них тончайшие слои в салатницу. Ломти помидора летели в тарелку, как сухие листья, без преувеличения. Нож был, конечно, острейший, бритвенный, из тех, что беззвучно режут газетный лист, оставляя идеально ровные края разреза. Но надо было так уметь тоже. Нож двигался им от себя наружу, будто бы он строгал ветку. Также невероятно ловко и непонятно красиво он управлялся с луковицами.

Держа в руке кусок хлеба, Моше сказал благословение и начал есть, кивнув мне, что и «ты тоже давай, начинай, не стесняйся». Аппетит у него был хороший, он не сдерживал себя никак, хотя и соблюдал осмотрительность. Все-таки боксерское прошлое и настоящее, как выяснилось, повлияли на него очень сильно. Дом его и его семьи был стандартен и невелик по всем меркам, но в нем чувствовалась рука профессионала (жена его была архитектором и работала по профессии с первого дня по приезду в Иерусалим), которая делала эти комнаты, прихожую и кухню, с невысокими потолками конструктивными, современными, светлыми и удобными для проживания жизни. Фамилия его была Дойч, и он иногда, расслабившись, говорил с кривой ухмылкой, что приятели по спортивному занятию называли его «наша немчуря». В ответ он качал головой, как заводная кукла, мол, ну-ну, говорите-говорите, еще встретимся в спарринге, немчуря вам свое предпоследнее слово еще скажет. Почему предпоследнее? Потому что последнее слово известно у кого и известно какое, нет?!

Моше достал из дверцы холодильника початую бутылку «Столичной» без изморози на стенках, но явно очень холодную. Рука его не могла обхватить всю ее, но держала крепко, потому что такое уронить нельзя ни в коем случае, как можно, но несчастные случаи в прошлом бывали, не без этого. «Видишь, подарил один пацан, только что прилетел из Чернигова, пришел тренироваться. Я отказывался как мог, но у него крепкий характер, угрожал огорчением, пришлось взять», — он разлил водку по граненым рюмкам.

Через некоторое время он спросил меня: «Ты ведь из Ленинграда, Бен, данные у тебя ничего себе: локти, плечи, все при тебе, никогда о боксе не думал?». Меня звали Венья, и он переименовал имя на Бен, что звучало, на мой взгляд, хорошо, и мне понравилось. Бен и Бен, а что?! Совсем неплохо.

Мы выпили всю неполную бутылку под хорошую закуску, которой было слишком много, и не продолжали больше. Моше явно знал меру: сколько можно выпить, сколько нельзя, во всяком случае, не сегодня. Он был рационален и склонен к тому, чтобы не принимать неоправданные решения. Только изредка он срывался, забывая обо всем, и тогда все было сложно и плохо, но такое случается со всеми ведь, не так ли?

— Ты в Ленинграде, вообще, людей знал? Ну, там, писателей, тренеров, спортсменов, поэтов, или возле них кого? Я года в 22–23 начал писать, написал десяток рассказов, мне их перепечатали за 3 рубля в нескольких экземплярах. Почти неожиданно все произошло, хотя предпосылки были, конечно. Один экземпляр я послал Давиду Яковлевичу в Ленинград, я доверял его мнению, он был из породы искателей талантов в залежах породы, что-то такое о нем до меня донеслось в Ташкент, — рассказал Моше, промокнув губы холщовой салфеткой с желтой бахромой, облачиваясь о спинку стула, глядя перед собой, играя с гремевшим коробком спичек и изредка бросая на меня подозрительные мгновенные взгляды.

У него было сложное детство, полное тревог, такой я сделал вульгарный вывод из всего увиденного.

— Но я и мои родственники никогда не были голодны, — сказал он мельком. — Так вот, через месяц пришло из Ленинграда письмо от Давида Яковлевича, он написал, что все внимательно прочитал, и пригласил меня приехать в Питер, есть о чем говорить и что обсудить. Представляешь, Бен, что это было для меня, мальчика из провинции?!

Я кивнул, что представляю.

— В Питере я уже бывал, соревновался, и успешно. С самыми сильными средневесами Союза, не поверишь. Чуть-чуть мне недоставало до Агеева и Феофанова, и я знаю, чего недоставало, но если я им и проигрывал, то по очкам, если ты понимаешь,

о чем я говорю. У меня любимый удар крюком, хук, иначе говоря, а прямыми бил постольку поскольку, джеб — это не мое. А самое главное мое оружие — свинг, длинный крюк, просто, Бенья, это как говорят, информация к размышлению, прими во внимание, — он говорил без тени сарказма, размышлял вслух, раскрывался. Мы первый раз вообще разговаривали и общались, я очень многое узнал, слишком многое. Ничего секретного и непосильного, но все-таки необычно, согласитесь.

С утра было очень холодно, не прохладно, а холодно, как это бывает всегда в Иерусалиме, в любое время года после исчезающей в густом тумане ночи.

— Давид Яковлевич, совсем нестарый, невысокий, с красивым лицом человек, он был ранен на войне, на Ленинградском фронте, он меня хорошо принял. Он мне сказал важные вещи, которые повлияли на мою жизнь. Хотел дать денег на еду и жилье в Питере, но я сказал, что у меня все есть, что скоро уеду, что все, что мне надо, я уже получил, за что спасибо. Он познакомил меня с некоторыми своими воспитанниками, или точнее, литературной молодежью. Ребята, услышав мою биографию, красиво пересказанную им Давидом Яковлевичем, сразу у меня спрашивали про бои и соперников, а что, «и с Агеевым тоже встречались, Михаил?». Агеев проходил в те годы, да и потом тоже, как боксер гениального дарования, дрался в открытой стойке, в него не могли попасть. Он всех побеждал, но характер у него был буйный, это ему мешало. Я проходил у друзей Давида Яковлевича за Михаила, я не хотел его смущать, зачем, хотя он явно был не из стыдливых и смущающихся. Уверенный человек.

Никакой сентиментальной грусти от этого воспоминания я не услышал в рассказе Моше Дойча. Он, непреклонный боец, если судить по сжатому решительному лицу и по громоздкой фигуре, не был сентиментален совсем, как и можно было ожидать. Но благодарность знаменитому на весь Ленинград ценителю молодых литературных дарований Давиду Яковлевичу у него была большая. И, конечно же, явное удовольствие от истории своей жизни тоже. «Вот он я, вот как я пробивался на литературный верх, на вершины Олимпа», — отчетливо звучало в его хриловатом голосе.

— Я пробыл в Ленинграде тогда четыре дня, услышав и поняв почти все, в чем нуждался и что было мне надо чрезвычайно, уехал домой. Печататься в Союзе я не намеревался, потому что понимал ситуацию, у меня не было шанса, Давид Яковлевич это тоже сказал, что и не пытайтесь, уважаемый, и не думайте, это невозможно, Миша. Я, двадцатичетырехлетний, уехал, тем не менее, обнадеженный. Мне сказали, что я этим делом, написанием рассказов, занимаюсь не без оснований. То же самое мне когда-то в одиннадцать лет сказал ташкентский тренер Сидней, затем он повторил эти слова моему отцу: «Может выйти толк из мальчишка». Я был совершенный ребенок, ничего не понимал, но авторитет у меня в школе и в ветхом районе Кажгарка, что за Алайским рынком, где мы жили, поднялся значительно. Сам я тоже к себе стал относиться с каким-то необъяснимым удивлением, что ли. Но не более того.

Моше составил тарелки в раковину, протер стол тряпкой, убрал бутылку в мусорное ведро под раковиной. Он был расслаблен, хлеб сложил в хлебницу, украшенную изображением цветов. Мы перешли в салон, и Моше показал мне за столом фотографии с фрагментами из своей жизни. Фотографии он осторожно извлек из так называемой палехской шкатулки с лакированной поверхностью. Передавал он их Вене как огромную драгоценность, у которой нет цены, да так и было, фотки эти цены не имели. Сам он выглядел смутно агрессивным с пачкой фотографий в руках, с непривычно растерянным взглядом, который стал таким из-за рассматриваемой прошлой жизни. Прошлое обычно расслабляет, но не лишает нас энергии. Лицо его разжалось, и он задумчивым и почти нежным голосом сказал, протягивая мне потрескавшееся фото: «Это финал ЦС, я против Толика Чукова, вашего ленинградца, призера Союза, я выиграл по очкам, да, пять лет назад, мне двадцать шесть». Лицо Моше Дойча преобразилось, разжалось, обмякло, постарело, Веня смотрел на него как зачарованный, такое мгновенное изменение редко увидишь в столь молодом возрасте, в каком пребывал на тот момент Веня, в его веселые, чудесные и счастливые двадцать шесть лет.

С улицы, а точнее, из соседнего балкона по этажу, в квартиру Дойча прилетела песня в мощном исполнении местного

пожилого баритона. «Все сны, которые нам снились», — напевал человек. Торжествующая и безупречная израильская лирика. Моше подпел песне, прихлопнул в такт мелодии своей небольшой ладонью по поверхности стола, бурча непонятные неуместные слова, без пьяного восторга, он был трезв, но зато являл собою радость от души. Его терракотового цвета лицо человека, прожившего на юге много лет с детства, почти сияло от удовольствия. Он не был вкрадчивым, но, бесспорно, был осторожным человеком. И по происхождению, и по многолетнему месту проживания. Такое мнение составил о Моше Дойче Веня, делавший иногда после разговоров с людьми опрометчивые, далекие от истины выводы, но часто он, несмотря на молодость и некоторое общее легкомыслие характера, попадал в цель. В данном случае, Веня был прав наполовину. И то хлеб.

Зазвучала новая песня. Здесь также фигурировали сны, так совпало в этот предвечерний час на Третьей программе «Коль Исраэль». «Песня, которая мне приснилась о Праге», — томительно выговаривал под музыку певец. И первого исполнителя, и второго Веня уже и сам мог узнать, они оба были популярны в Иерусалиме и звучали часто. Упоминание Праги было важно для Вени, который считал, что происшедшее там три года назад в августе было переломным и важным моментом для него и его жизни. «Это уже другой Арик поет, тут только люди по имени Арик кажутся мне надежными и одаренными», — Моше Дойч был, кажется, немного навеселе, заметим на полях этой сцены. Этим можно объяснить его реакцию на песни, звучавшие из соседней квартиры.

— А третий Арик кто? Тот самый? — поинтересовался Веня.

— Да, конечно, он мне очень нравится, красавец, — Моше озвучил случайно настоящую фамилию непреклонного генерала, которую все здесь знали, кроме Вени, еще не добравшегося из-за малого времени, проведенного им в столице, до подробностей биографии любимых им мифологических героев.

Стукнув входной дверью, зашла жена Моше с ребенком на руках. «Здравствуйте», — сказала она устало, но доброжелательно. Ее звали Хава, она была свежа, хороша собой и любезна, редкость для напряженно живущей молодой жены и мамы,

на которой держится дом со всем, что в нем есть. Широко расставленные светлые глаза на ее лице были внимательны, она хорошо слушала собеседника, могла быть снисходительна, когда этого хотела, а могла и наоборот, придрататься к малосущественной мелочи в разговоре и сказать человеку слово. Отец ее был праведником там в Союзе, она была истинной дочерью его. Где Дойч нашел ее, стало ясно Вениамину потом, когда Моше рассказал, что пошел учиться к ее отцу, увидел девушку и сгорел на месте. Во второй раз. Первый раз Моше Дойч изменил свою жизнь, встретившись с отцом этой девушки в поликлинике, в очереди к врачу (ухо-горло-нос), у обоих были проблемы со слухом. И если у Моше его слух был известно кем и как поврежден, то праведнику требовалось сказать одно слово, которое он произносил очень редко. Слово это было «зэка». Старик отсидел почти пять лет: четыре года и три месяца, если точнее, в начале 50-х в лагере под городом Вологда по обвинению в служении религиозному культу.

Он сохранял все предписания все годы, и как выжил — было непонятно. Всему он научился у своего отца, всему. Как Йоэль Мордухович сам потом объяснял, он был охраняем Верхним господином (вольный перевод с идиша), что его и спасло. Верхним, в смысле Верховным. Еще его спасало упрямство, неприхотливость и удивленное, чтобы не сказать восхищенное, отношение жуликов, как он их сам называл, а точнее, двух их командиров из разных углов барака — паханов, наблюдавших за поведением и жизнью Йоэля (Мордуховича) хоть и издали, но пристально. Ветхого старика — ему было тогда немного за пятьдесят — никто не трогал из жуликов, было запрещено этими самыми паханами. Паханы сохраняли нейтралитет в отношениях между собой, старый, ветхий, в чем душа держится, рэб Йоэль приводил их к согласию и взаимопониманию.

Резчик хлеба в столовой, сам зэка, вручал ему два или даже три куска черного ржаного хлебушка вместо положенного одного, а врач из вольнонаемных передавал пакетик-другой аскорбинки по собственной инициативе, из уважения. Он жил хлебом и водой все годы. Вода и хлеб.

Йоэль выжил, хотя и с огромным напряжением, вышел на волю через год после счастливого ухода в небытие Вождя всех народов и Солнца, светящего всем угнетенным и поработенным людям на земле. Он приехал в узбекский городок, в ста километрах от Ташкента, в чудную советскую провинцию, жил тихо, молился, женился, учил Книгу, защитил кандидатскую по математике в ТГУ, алгебраист с молодых ногтей, нет, помните, и вот случайно (!?) познакомился с перспективным боксером и незаурядным молодым русским писателем Дойчем, кое-что, очень многое и важное ему объяснив и показав, а дальше Моше уже сам познавал, как умел и как ему было дано природой, регулярно занимаясь с этим человеком. И изменяясь.

В столичный узбекский город Ташкент кроткий отважный человек, семидесятилетний Йоэль Мордухович, переезжать не желал, и Моше гонял к нему на учебу на автобусе туда и обратно, два часа езды в один конец, ерунда, по два раза в неделю. «Был счастлив тогда, — как Дойч потом в Иерусалиме признавался, — будто выиграл первенство Союза у всех подряд нокаутом».

— Скоро, совсем скоро рэб Йоэль приедет сюда, у него завал с документами, но понемногу справляется, власть его не мучает, относятся нормально, решили, что хватит с него мучений, хе-хе, просто система не сразу срабатывает. Он приедет к дочери, ко мне и к другим, которые ждут его, как глоток свежего воздуха, который так нужен, — рассказывал мне Моше, записанный в советском паспорте как Моисей. Жена его укладывала свою девочку любимую спать в соседней комнате с полуприкрытой дверью, напевая ей колыбельную на неизвестном Вениамину языке. Что за языки, вообще, этот Веня мог знать, а?!

Моше сидел на стуле без напряжения тела, выпивка давала о себе знать, хотя ее и было не так и много. У него была идея расслабления мышц, которое давало несколько рюмок алкоголя. После тяжелых и напряженных скоростных ударных и силовых тренировок тренер давал парням мяч и говорил: «А сейчас поиграйте в баскетбол, потянитесь, еще раз потянитесь, это чередование необходимо в боксе и в жизни: си-

ла, скорость, расслабление, растяжение». Моше это наставление опытного наставника запомнил, как и много чего еще из его слов, он вообще впитывал в себя все, что вокруг говорится и делается, как губка, и теперь, на закате спортивной карьеры, на исторической родине, претворял идею расслабления активно. Но всегда, заметим, себя контролировал достаточно жестко, не распускался.

— А откуда у вас такая фамилия, Веня? Знаете что-либо об этом, есть версия? — спросил Моше.

Фамилия Вени была Роках.

— Я знаю об этом мельком, никаких подробностей, — ответил Веня. Он действительно мало интересовался своей генеалогией. Он тоже расслабился после возлияний, но не так чтобы сильно, умеренно, хотя и заметно. Приход жены Моше с ясноглазой дочерью привел мужчин в чувство, подстегнул, как бы, на пути к рассудку.

— Вообще, знатная фамилия, достойный род. Вы не из Бельц, в смысле, отец ваш? — обычно Моше подавлял свое любопытство, но сейчас он не чувствовал себя ограниченным в задаваемых вопросах, он предавался этому пороку с удовольствием. Он знал за собой некоторые недостатки и боролся с ними в обычной жизни.

— Вы не первый задаете мне этот вопрос в Иерусалиме, нет, мой отец не из Бельц и не из Бельза, он далек от этих мест и семей, — отозвался Веня, который уже устал говорить на эту тему и освещать свою родословную. — Мой отец простой человек, я простой человек. Но у отца есть квитл для ребе от одного человека, он привез его с собой в Иерусалим, не спрашивайте, от кого это письмо, я не скажу, и он не скажет никогда.

Почему Веня решил это рассказать Дойчу, он не знал и объяснить не мог, о каком ребе идет речь и от кого квитл этот. Вопросы к нему все равно остались, даже после его рассказа. Ну, рассказал и рассказал, жалеть нечего.

Дойч кивнул, что все понял, и больше ничего не спрашивал про биографию Вени, ему было достаточно услышанного. Жена его укачала дочку и вышла к ним.

— Пойду приготовлю вам чаю, — она ушла в кухню, походка ее не походила на походку мужа, еще чего, все-таки у него был вкрадчивый шаг голодного тигра, а она даже не камышовая кошка, хотя некоторые коллеги по работе за прозорливость и ясный взгляд серых глаз называли Хаву Дойч рысью пустыни или, иначе говоря, «каракалом», если на иврите. Знаете, такая бежево-черная в масть песчаной поверхности ленивая молниеносная красавица, с торчащими хвостиками на острых ушах и мягкими длинными когтистыми лапками. Может при желании сойти за домашнего мурлыкающего кота, с которым нужно держать ухо востро. Любит свободу, любит нежиться на солнышке, любит оглядывать свою территорию, заглядываясь и на чужие квадратные метры: кто это там гуляет, не боясь соседства, кто такой этот безумец, а?

Моше вел боксерский кружок в школе, пользуясь одобрением директора, который был полностью на стороне новоприбывших «русим», он был из класса вязаных кип и считал, что только вот эти хлынувшие, благодаря сложным политическим играм американцев и русских, в еврейскую страну через австрийский город Вена, полетами из Москвы и Ленинграда, пять-шесть рейсов в неделю самолетами авиакомпании «Эль-Аль» до аэропорта Лод — и далее во все концы необъятной исторической родины (но в основном в Иерусалим и Хайфу — это то, что они знали об Эрец Исраэль, ну, и еще Ашдод, Нетанья, там, и приближенные к ним города, мошавы и села), так вот, директор школы, в которой работал наш Моше, обожал так называемых «русских», надеялся на «русских» и считал, что вот они, эти неловкие скованные жизнью и судьбой люди, Дойч и коллеги его, смогут научить его десяти- и одиннадцатиклассников жить и бить наотмашь врага кулаками по лицу.

В учительской было еще два преподавателя их этих «русских», один из них был пьющий, но отлично знающий свое дело математик, тонконогий, с мешками под глазами иронический джентльмен, ходивший на работу в хорошем костюме и галстуке, заменивший знание иврита цифрами, задачками и уравнениями любимого предмета, и боевая дамочка из Владивостока, успевшая пройти за тридцать семь лет три не-

удачных брака, курившая на переменах на заднем дворе крепкие сигареты, и надеявшаяся, вполне справедливо, найти свое счастье в Иерусалиме в четвертый раз. Она прекрасно знала иврит, «просто способности к языкам», и преподавала новейшую историю, «последние 150 лет, не больше», что само по себе было невероятно. «Откуда такие знания, откуда?» Предмет она знала великолепно, и директор, с некоторым восторженным всхлипом восклицавший на педсовете: «Какие только люди приезжают оттуда, из заснеженных ледяных степей», — смотрел на нее с обожанием, но не более того. «К сожалению, — цедила дамочка деловито подвозившему ее однажды после уроков Дойчу, — он не в моем вкусе, наш директор, да и возраст — он стар уже для меня — не подходит, но ничего знать нельзя, конечно. Да, чуть не забыла, он носит очки, это автоматически исключает его из числа претендентов на мою благосклонность, я таких с детства не выношу, да».

Машина ее, любимый обьеженный двухлетний «Форд», была в фирменном гараже, меняли что-то важное, что именно, она не знала. Йохи, как ее называли, с интересом косилась на руки Дойча, похожие на дремлющего в джунглях сытого питона, в рыжеватых волосках и шрамах на толстых суставах фаланг, и отворачивала кудрявую голову прочь, мол, ты тоже парень ничего, но уж слишком прост, хотя ничего, конечно, знать нельзя заранее. Ей ко всему прочему нельзя было пить, потому что она теряла совершенно управление над личными поступками после одного вида стопки с алкоголем. Дойч вздыхал про себя, представляя трехминутный поединок своей Хавы и этой Йохи (по прилете она изменила имя со Светланы на Йохевет, это было в те годы возможно) на голых кулаках без правил, и говорил, посмеиваясь, себе под нос: «Боевая ничья». Йохевет вообще была некогда в сложном историческом прошлом матерью Моисея и Аарона.

Так вот, Моше Дойч вел кружок бокса, два раза в неделю, с удовольствием получая дополнительные часы с двойной оплатой к зарплате, покрикивая на развязных нервных подростков, ставя им так называемые «двойки» и серии крюков справа и слева, после разведывательных джебов, уклонов и выходов из них.

Уже несколько месяцев бригада рабочих вела отделочные работы в школе. Среди работяг, степенных мужиков средних и больше лет, был и один юноша из деревни под Шхемом лет двадцати двух – двадцати трех. Парень был рослый, крепкий, надменный, насмешливый. Школьники, которые знали все про всех, рассказывали, что самарийский юноша этот, звать Ахмед, чемпион карате, его побаиваются коллеги по бригаде и лучше с ним не связываться.

Цитировали: «Говорил громко, смеясь, что я вашего русского боксера на куски порву, голову ему поломаю». Они рассказывали все это своему учителю спорта Дойчу, медленно и тщательно выговаривая слова, чтобы он все понял, так как тот находился в стране слишком мало времени и знал иврит не очень и не слишком. Дойч слушал ребят с каменным лицом, явно все понимал, но ничего не предпринимал. Что тут сказать? Потом переспросил: «Так он говорил? Да? Ну, хорошо». Он запомнил все, намотал на ус, как говорится. Была в нем эта непреклонная злая память, еще с ташкентского боксерского прошлого. Еще он хорошо запоминал слова, но кто же мог такое подумать о нем иное. Никто, конечно.

Все это рассказала Вене его племянница, которая сплетницей и кумушкой не была, а просто Веня спросил ее: «А где Дойч, что-то он пропал и на звонки не отвечает, ты, случайно, не знаешь?» — «У него неприятности, его пока отстранили от занятий», — сказала племянница сдержанно. Только потом Веня ее расспросил подробно и все узнал.

Ахмед, закончивший смену, пришел после уроков в зал, где Дойч тренировал своих парней пятнадцати-семнадцати лет от роду. В зале было еще несколько совсем маленьких ребят лет семи, которые сидели на низких скамьях вдоль стен и наблюдали за тренировкой, открыв рты, ожидая своей очереди. Ахмед присел на лавку у входа и с кривой понимающей улыбкой смотрел за движениями боксеров. Дойч тоже смотрел за ребятами, изредка подходя к ним и поправляя стойку, поднимая им локти и направляя удары по мешку, которых было три подвешено к потолку на цепях. Двое подростков прыгали на скакалке в углу, все были при деле. Дойч не от-

влекался на постороннего, которым этот Ахмед явно был со своей ужасной ухмылкой. Он, вообще, и не таких красавцев видывал и хорошо знал, что с ними делать. Дойч держал на лапах своего лучшего воспитанника, средневеса Шуки Раби, который в шестнадцать лет умел очень многое в боксе. Дойч считал, что из него может получиться настоящий боец, если он будет серьезен и все сложится в его пользу. Лапы, напомним, это такие плоские кожаные блины, плотно набитые конским волосом, надетые на руки тренера. Боксер же наносит по этим лапам ударные серии, успевая закрываться и защищаться от выпадов наставника, которые обычно летят ему в ответ в лицо.

Ахмед, смеясь чему-то забавному, в голос, очень мешал всем и особенно Дойчу. Тот прекратил тренировку, сложил лапы на левую ладонь, шагнул к парню и серьезно сказал ему:

— Ты мешаешь, парень, уйди отсюда, — и показал рукой на дверь.

— Ты что, учитель? Кому я мешаю? Покажи мне, — ответил, улыбаясь, Ахмед.

Он, светловолосый семитский юноша, был очень хорош собой, высокого роста, с мощной шеей и могучими руками, разведенными перед Дойчем в знак некоего примирения. Внешний вид Ахмеда впечатлял всякого, глядевшего на него, все с ним было совсем хорошо, если бы не постоянная презрительная ухмылка, появлявшаяся на его лице, когда он, хороший плиточник, выходил на работу где-нибудь в столице евреев. Моше специально не обращал внимания на этого парня, достаточно раздражающего вида. Они не ссорились прежде, Дойч его просто не видел, Ахмед и ему подобные были Моше неинтересны. Он видал пугающих наглых парней и схожих с ними людей пострашнее в прошлой своей жизни, поопаснее.

Дойч, разговаривая с Веней однажды после обеда, сказал ему, поглядев на лежавший на обеденном столе на скатерке альбом, напечатанный на дорогой лаковой бумаге, под названием «Бокс», с изображением залитого потом и кровью тяжеловеса Мохаммеда Али на обложке: «Вот он, этот парень, просто гений, лучше всех в истории, лучше его нет». Так сказал Дойч, который редко кем восторгался или просто молвил

большое слово. «Подожди, Моше, — Веня уже перешел с ним на ты, — он ведь ненавидит всех белых, этот Мохаммед, евреи для него просто неизвестно кто, он страшный антисемит, как ты можешь им восторгаться?».

Дойч, на котором тяжелым грузом висел авторитет гордого защитника еврейской нации, отреагировал не сразу, но потом твердо сказал, никаких сомнений в его голосе было не услышать, он именно так думал: «Он великий талант, гений, все остальное значения совершенно не имеет, просто он лучший». Веня был сильно удивлен этими его словами. Он знал мнение Дойча по вопросам, связанным с национальной жизнью и гордостью, тем более восторг его в отношении Али был абсолютно непонятен и необъясним. Запомним эти заметки на полях в стороне. В школьном спортивном зале нарастало напряжение.

— Ты все-таки мешаешь тренировке, парень, я прошу тебя уйти отсюда быстро, — повторил Дойч мрачно, неприятно глядя рядом с Ахмедом в стену. В зал зашел коренастый бригадир и, прошагав к Ахмеду вдоль стены, недовольно сказал ему на иврите, как будто примерял новую обувь:

— Машина пришла, возвращаемся домой, пошли скорее.

Рабочий день у них закончился, вся бригада была из разных мест Иудеи и Самарии, только подрядчик был из Кирьят-Йовеля, хотя родился тут неподалеку, в Александрии.

Ахмед уходить не хотел. Он поднялся и сказал Дойчу с вызовом:

— А если я здесь хочу быть, что ты можешь сделать мне, а?! Дойч перевел на него взгляд и медленно сказал:

— Уши оборву, пацан.

Бригадир тянул Ахмеда на выход, но тот легко высвободил руку и протянув ее вперед, ответил:

— Я вижу, ты смелый, русский, попробуй меня в спарринге, а? Смельчак.

Дойч сделал паузу и почти спокойно сказал Ахмеду:

— Давай, надень перчатки, и постоим с тобой пару минут, посмотрим, что и как.

Можно было бы и остановиться Ахмеду после этих слов Дойча, но его ненасытная ненависть вела его вперед, он поднялся на ноги и начал раздеваться. Моше отвернулся и пошел к железному шкафчику с инвентарем в противоположном углу зала, открыл его, достал две пары перчаток и остановился в ожидании. Ну.

Ахмед скинул рубаху и, подойдя к Дойчу, взял у него из рук пару перчаток, заправил шнурки внутрь, воткнул вдгонку за ними руки и побил их одна о другую. Выглядел он впечатляюще, килограмм на девяносто пять парень: плечи, мышцы, руки, шея высокая и не боксерская, но на это внимания никто не обращал. Скорее культурист, чем боец. Дойч проигрывал внешне: плечи вперед, сутулится, шеи как бы нет, тяжеловат, хотя килограмм у него на первый взгляд не больше восьмидесяти пяти, да и потом, просто немолод. Дойч поправился в Иерусалиме на свободных ближневосточных харчах и редких тренировках, хотя следил за собой.

Ахмед, пару раз глубоко и быстро присевший для разминки, сказал, что отводит на все про все две минуты.

— Добавим еще минуту со скидкой на возраст, а потом все, больница, учитель, реанимация и все такое, — он говорил серьезно. Дойч махнул ему правой рукой, мол, не болтай, парень, давай начнем. В зал зашла Йохи, похожая в угасающем предвечернем иерусалимском луче на розовую энергичную фурию, на комсомолку Свету или Зою из советской легенды.

Сегодня она, Йохи, как всегда старательно, дежурила по школе. Она мгновенно все поняла, что к чему и зачем. «Что здесь происходит? Да-да, то самое, мордобой на национальной почве». Она не реагировала внешне на все происходящее никак, просто сказала Моше по-русски:

— Не вздумай, Миша, ты с ума сошел, это плохо кончится.

Йохи нравилась ему в таком состоянии еще больше. Дойч поморщился, отмахнулся: ступай, женщина по своим делам, не надо надоедать никому — демонстрировало его лицо, Ахмед издевательски засмеялся. Начали.

Человеку, далекому от кулачных боев, могло показаться, что Ахмед сейчас разберется с Дойчем совершенно без про-

блем. Силы их выглядели как неравные. Как будто могучий боец вышел сражаться с каким-то несурзным немолодым сутулящимся от неуверенности мужиком. Все должно было кончиться быстро. Ахмед протянул руку к лицу противника, одновременно крутанув ногой в рабочем ботинке в голову Дойчу. Неуклюжий старик (Моше Дойч) ногу перехватил в воздухе, голову от удара отклонил и вместе с движением своего корпуса ударил левой рукой сбоку по телу Ахмеда. Удар свой в это место он сразу же повторил, примерно, как опытный старый дятел неуклонно бьет твердым клювом в ствол неподатливого дерева. Ахмед схватился за живот и начал оседать на паркет зала.

Моше, холодный бешеный боец, пораженного противника не пожалел, даже не думал, и догнал его автоматическим прямым ударом в голову. Ахмед упал, провернувшись в воздухе, без сознания, гулко тюкнув лбом в пол. Он застыл лицом вверх, глаза его пугающе закатились. Ему нужно было помогать здесь, Моше отошел от него и резким движением стянул перчатки с рук, не глядя на нокаутированного парня. Вся эта история продлилась несколько секунд, возможно, около восемнадцати-двадцати, не больше. Йохи отчаянно бросилась, поблескивая перламутровыми пуговицами своей кофты, через пласт солнца из зарешеченного огромного окна зала, к лежащему на помощь, забыв про Дойча и вообще про все.

— Надо вызвать скорую, — громко сказала она, совершенно неотразимая, бригадиру Ахмеда и Шуки Раби, которые смотрели на все, что произошло, как окаменевшие изваяния.

Скорая помощь приехала быстро, и Ахмеда увезли в Хадассу Эйн-Керем, лечиться. Полицейский наряд, примчавшийся минут через десять, опросил всех, кто был при этом событии. При всем при том, Йохи не сказала ничего, потому что действительно не разглядела ударов Дойча. Ничего не сказал и бригадир.

— Я не видел никакой драки, — мрачно объяснил он. И бригадир, и Йохи говорили правду.

Дойч смотрел на полицейских непонимающим взглядом светлых глаз:

— В чем дело, господа?! Это была всего лишь тренировка, спросите у него, он сам этого хотел, пригласил меня на спарринг. Не знаю, как его звать, я тренер, а не паспортистка.

Голос его был негромкий и хрипловатый.

— Да, господин Дойч, видно, что вы не паспортистка, — пробурчал полицейский постарше. Оба сержанта не перетруждались, не старались найти причины для задержания учителя физкультуры.

Дойча отстранили от работы на десять дней. Из Министерства просвещения (Иерусалимский округ) приехали разбираться два немолодых чиновника, мужчина и женщина. Мужчина уважительно поглядывал на руки Дойча и помалкивал, женщина с прической — вечером собиралась на свадьбу сына друзей — с близоруким прищуром на усталом лице ветерана учительского дела объясняла ему: «Так нельзя, господин, так нельзя, какой пример вы подаете детям, вы же учитель?! Здесь не Россия вам, какой ужас, сломали нос и челюсть в двух местах, у нас так не принято». Как будто Дойч дрался там в школе. А ведь дрался, еще как дрался, но еще в учениках и без последствий. Моше хотел ей сказать, что не принято и у нас в России — и не сказал. «Я никого не наказываю, я не судья никому, хотя и жаль, он сам виноват, сопляк, нарвался». Но Дойч промолчал и поступил верно. Мужчина, который пришел на проверку вместе с женщиной, все время искал, когда можно вставить в разговор его любимую русскую фразу, из двух ему запомнившихся: «Как поживаете? Что слышно?» — но ситуация не позволяла ему встревать в разгар расследования и порицания.

Дойч никогда об этой истории не рассказывал и все вопросы игнорировал, будто ничего тогда в спортивном зале школы не случилось. Когда Веня осторожно спросил его: «В чем дело, Миша?» — Дойч пожал плечами и сказал, что не о чем говорить, ничего не случилось особенного. Но ведь случилось, правда, случилось.

Йохи, которая по-прежнему делала акцент на алые губы в своем боевом окрасе, смотрела на него с непритворным ужасом и оттенком восторга, скрывать свое отношение к этому

человеку было ей сложно. Иногда в самом начале своего, так сказать, педагогического пути, она приходила в школу в кожаной короткой юбке до колена на радость мужчинам и школьникам всех классов, но ей разъяснили, что при всем том, что это прекрасно, конечно, но все-таки стоит повременить. Она все поняла и перестала приходить одетой таким образом. Она была понятлива, научаема и осторожна.

Дойч сообразил, что к чему, и с удовольствием использовал восторги Йохи в свою пользу. Он, как говорится, пленных не брал ни в школе, ни на работе, ни дома — нигде. Не тот был человек, чтобы пройти мимо и не взять пленного. Ахмеда он в больнице не навестил, фруктов ему не принес, не справился о здоровье и прочем. Он редко когда возвращался в прошлое. Разве что в своих рассказах, но это было иначе, отличалось от жизни. Литература и жизнь разнились, по его справедливому мнению.

Веня изредка приходил к нему на тренировки, Дойч сказал, что ему стоит заниматься боксом: «Данные прекрасные, и в армии поможет, и в жизни спасти может, уверенности придаст, приходи, парень, ко мне в зал, поддержку тебя на лапах». Такой монолог редко можно было услышать из его уст, что, наверное, говорило о многом. Веня это понял, недаром его фамилия была Роках, соображал он неплохо.

Дойч его похваливал, отмечал плюсы и минусы. Но у Вени при внешней физической мощи, длинных руках и пластичности были и недостатки. Была так называемая «хрустальная челюсть», иначе говоря, очень хрупкая в столкновении с кулаками противника, чуткий к ударам нос тоже никуда не годился. Хотя, выходя в ринг на спарринг с полутяжем Раби, он производил внешне впечатление пугающее. «Только одним впечатлением, — мрачный Дойч повторял, — бой не выиграть, запомни. Пугнешь вначале, а он освоится через минуту и все, гасите свет. Может, тебе в борьбу записаться, а?» — задумчиво спрашивал он Веню после очередного нокаута с каплюющей из носа кровью и звоном в гудящей голове. «Может, и правда, — одобрительно кивал ему Веня, стирая кровь с лица содранными с рук защитными бинтами, — пойду в борьбу,

чем черт не шутит». — «Я тебе дам борьбу, спорт для поселковых и деревенских косолапых битюгов, а бокс — для интеллектуалов, да, не пачкай тут, на, возьми полотенце, кровь людская не водица, — Моше протягивал Вене вафельное полотенце, — утирайся, парень, не печалься». Дойч вытирать испачканное лицо подопечного не желал: «Все делай сам, слуг нету здесь, сам утирайся». Он мог разговаривать как бы сам с собой в таких ситуациях. А так молчал все больше, человек был специальный, суровый, как можно было уже понять.

За ним, за Моше Дойчем, тянулись из прошлого трагические случаи, о которых он не рассказывал. Все носил в себе и на себе. «С Хавой однажды была история в автобусе в Ташкенте, все было довольно неприятно, пограничная ситуация, я убежал после всего и скрылся, она сказала, что не знает, кто это такой был, ее защитник, замяли неприятность», — как-то нехотя роняя слова, признался он Вене в середине разговора про литературные привязанности. «Я после этого уехал во Львов, драться за тамошнее «Динамо», так было надо, хороший город Львов, красивый», — непонятно сказал Дойч.

— Так ты что, Веня, Давида Яковлевича знал в Питере? Удивил. Мир тесен, — Дойч обрадовался так, как будто встретил родственника. — Вот это да! И Витю Ш., может быть, ты знал, и Женю З.? И Витю К.? Ну, невероятно. Давид Яковлевич мне говорил тогда, меньше десяти лет назад, кстати, что Ленинград — город очень маленький, я думал, что он преувеличивает и шутит. Но нет, говорил правду он. Вот это, Веня, ничего себе!

Дойч смотрел на Веню как на близкого и дорогого родственника, встреченного случайно после давней разлуки.

Он был хорошим сапожником, у него все было привезено с собой из дома: дратва, ножи, иглы, шило, кривое шило, напильники, гвоздики, ножницы, клей, точильные камни, молотки, железная подставка, кожи — чего только нет. Он часто говорил Вене: «Если что прохудится, протрется, собьется, каблук отломится — сразу ко мне, починю на раз, это мое любимое занятие, моя валерьянка, ха-ха, так что неси Моисею Дойчу, он исправит и поправит». Он действительно обращался

с обувью уверенно и любовно, обрезая рваные края, подклеивая подошву, подшивая порванные носки, обрезая нитки бритвенной остроты ножом, забивая по краям гвозди двумя ударами молотка. Нужно было увидеть, как он осторожно подклеивал свои старые боксерки, прищурясь, оглядывал их со всех сторон, стирая тряпочкой несуществующую грязь с верхней поверхности и проверяя шнурки на крепость, чтобы понять многое про него.

У Дойча была масса историй, касающихся жизни там и тут, бокса и умения жить, и так далее, много чего он знал. Мало рассказывал о себе, непонятно почему. Часто осуждал и ругал с быстрой скептической улыбкой неизвестных Вене людей из политики, международного спорта, литературы. Ругань его нельзя было назвать истовой, он берег силы. Был у него и коронный рассказ, которым он делился изредка с самыми близкими, Веня был отнесен в то время к ним, про знаковые события, повлиявшие на его судьбу.

— Я ведь приехал сюда за год или полтора до Олимпиады в Мюнхене. Сразу начал тренироваться, мне дали стипендию члена олимпийской сборной, все чин чинком, там было несколько только что приехавших из Союза. Все горели желанием доказать всем свою значимость в мировом спорте, все надеялись, и я, конечно, тоже. В боксе был только я, других участников не было, потому что их не было. Я уже был возрастной, уже отошедший от всего, уже там, дома, не тренировался из-за выезда, суеты, беготни за бумажками, томительным ожиданием разрешения, страха, что что-нибудь случится не то, курил много, был лишний вес. Я должен был согнать восемь килограмм до моего стандарта, второй средний, 75 кг. Вес, конечно, популярный в мире, проблематичный, но настрой у меня был сумасшедший. Нашелся какой-то пожилой мужик из Венгрии, Имре Биро, который в прошлом был тренером по боксу там, дома, до 56 года, в обществе «Гонвед». Слышал про «Гонвед»? Что значит «защитник родины», Веня. А про такого тренера Биро, Веня, слышал? Про майора Биро слышал? В Израиле он работал водителем грузовика где-то в Маалоте, что ли, бокса здесь не было тогда, сейчас-то подье-

хал народец. Уровень у него был приличный, он мне помогал. Еще мне помогал Аркаша (фамилию он произнес неразборчиво, что-то вроде ...иберман, Веня постеснялся переспрашивать), мой приятель по Союзу, но он уже не дотягивал, ему было за сорок, и все у него: удар, пластика, терпение — ушло неизвестно куда. Хотя человек был приличный, честный, но боксу нужно еще что-то, не знаю что, не объяснить словами. Волчье, что ли... *Фарбисенер*, знаешь, что значит, Веня? Вот, непереводаимо. И не улыбайся все время.

Пару раз я съездил на сборы и спарринги в Германию и Данию, вроде получалось ничего, я же говорю, настрой был сумасшедший. В Германии писали в газетах, что, мол, Дойч представляет Израиль, что случилось в мире, так они шутили. Большие шутники живут там в Германии. В мае меня вдруг отцепили от Олимпиады, предлог был неизвестный мне, никто ничего не сообщил, я ужасно огорчился и обиделся. Золото в Мюнхене в моем весе взял Слава Лемешев, я его неплохо знал, парень с ударом, нокаутер, не игровой. В Союзе еще не насаждали бокс нокаутов, только игровой. А у меня была некая смесь игры и удара, так получилось, такая у меня склонность.

Так вот меня из Олимпиады и убрали, огорчили мерзавцы. Мне это все старички из Олимпийского комитета устроили, социалисты позорные, с воротниками рубах на пиджаках, им не нравилась моя кипа и образ жизни, я ходил на собрания рава К., чтобы он был здоров, знаешь, он приезжал ко мне на сборы, болел за меня, занимался со мной Книгой, мне опять везло, он великий человек, думает о народе, помог нам: и тебе, и мне — вырваться оттуда. Короче, меня отцепили за четыре месяца от Олимпиады, спасли мне жизнь таким образом. Понимаешь, Веня?

Веня подумал, сопоставил даты и события — и согласился, что спасли Дойчу жизнь своим решением старики-социалисты. Это чистая правда. (Напомним, что на Олимпиаде 72 года в Мюнхене арабы-террористы захватили 11 израильских спортсменов в заложники. Во время операции германской полиции по их освобождению израильские олимпийцы

погибли. Поэтому Дойч и говорил, что старики, отцепившие его от сборной, спасли ему жизнь. Наверное, он, Моисей Дойч, был прав, хотя ничего знать нельзя.)

Еще раз Веня застал этого чудного Дойча за готовкой плова. Слово «чудного» можно прочесть с ударением на первом или втором слоге, кому как нравится. Дойч пригласил Веню прочитать его рассказ: «Только-только написан, вот-вот, еще горячий», — про бокс, про хасидов и просто про жизнь там и тут рядовых людей. Веня, кстати, будучи сам совершенно рядовым человеком, к рядовым людям относился с известным подозрением, такой питерский наивный взгляд на жизнь. «Приходи, считаешь, поговорим, я сегодня свободен, Хава уехала с дочкой к тетке в Кирьят-Бялик на пару дней, у нее отгул. Плов будет. Приходи, как сможешь, часов в шесть, жду», — сказал ему Дойч, высаживая с племянницей возле дома. Фраза «плов будет» значило многое в устах бывшего жителя Ташкента, Веня пропустил ее мимо себя, он еще не все замечал вокруг. А зря.

В этот день к вечеру вдруг приплыли с севера белые плотные тучи в Иерусалим и солнце стало как бы слепым, точнее, полуслепым, и даже ветерок примчал из Иудеи, шумя саженьцами и кустами на улице Паран.

Когда Веня открыл незапертую дверь семьи Дойч («а чего бояться нам, мы честные люди, мы дома»), хозяин вовсю трудился на кухне, из которой шел мясной и овощной дух кипящего плова, точнее, отвара для риса, так называемого зирвака.

— Там я тебе приготовил еще и статью в газете, написано обо мне несколько слов, прочти, пока я тут, — Моше показал кивком головы на газету, сложенную на стуле. Что он имел в виду под понятием «пока я тут», было не совсем ясно, но Веня не переспрашивал.

На краю стола находилась глубокая тарелка, на которой были навалены обжаренные куски бараньего жира.

— Это важный ингредиент плова, лучшая в мире закуска, только посолить — и все, — сказал Дойч, отвлекаясь от толстобочкой кастрюли, шипящей и скворчащей. — Ингредиент значит «составляющая», — сказал он, учительская часть его

характера была при нем всегда, от этого избавиться было невозможно. Курдючный жир в те далекие годы было здесь достать трудно, Дойч специально ездил на рынок, где знакомый мясник держал для страждущих куски думбы, как зовется эта часть бараньей туши.

Веня взял газету и, больно ударившись при этом локтем о косяк кухни и ругнувшись, перешел в гостиную, где уселся за стол и начал читать бледно набранную русским шрифтом газету. На третьей полосе была статья, занимавшая две трети страницы, о которой говорил Дойч. Называлась статья «От большого бокса к большой прозе».

— Я вижу, ты ботиночки новые купил, английские, становишься на ноги, Веньямин, рад. Давай я тебе набойки стальные набью, сносу им не будет, снимай-снимай, две минуты — и все будет отменно, — сказал из кухни Дойч, продолжая шуровать с продуктами и ложками. В дело пошла уже морковь, много моркови, нарезанной толстыми ломтями. Веня еще раз поразился наблюдательности Дойча и быстро стянул башмаки, за которые отдал большие деньги буквально позавчера в Машбуре на Кинг Джордж.

— Буду рад, Миша, — сказал он. Как Дойч намеревался со всеми этими вопросами справиться одновременно, было неясно.

Веня принялся за чтение критической комплиментарной статьи о новой русской прозе и новом авторе, боксере, религиозном сионисте, воине, отце семейства в столице Израиля под быстрый стук молотка, ту-так, ту-так, ту-так, что было очень похоже на лихой матросский танец, связанный с революцией, подвыпившей матросней и большими и малыми загулами населения пригородов и городов, одетого в ватники, тельняшки, бескозырки с лентами, закушенными в зубах, и полуметровые клещи. Там была фраза в этой статье, на которой он споткнулся: «Одна из больших находок в книге М. Дойча, письма, которые пишет и отправляет из своего убежища в окраинном узбекском городке, старик зэка, пытающийся вернуть прошлое. Он пишет свои письма давно умершим людям на их старые адреса, которые хранятся на листке, приклеен-

ном над кроватью. И, конечно же, другая сюжетная линия, этот невероятный подземный ход, который роют молодые пейсатые парни, одетые в черно-полосатые капоты, на заброшенной окраине узбекского города Ташкента. Роют куда? Зачем? Ответа автор не дает на все эти вопросы, он рисует жизнь таковой, какой ее видит. Представляет? Впечатление очень большое от этой книги, даже некоторая заскорузлость и угловатость изложения не меняют значительного удивления и радости от большого и значительного замысла молодого многообещающего писателя...». Веня подумал здесь, что недостающее слово в конце фразы было слово «провинциала», но наверняка знать это было невозможно. Кто что может знать про чужую мысль? Можно только догадываться с известной долей случайности. «Некоторое несоответствие замысла и изложения его делают данную книгу таинственной и отличной», — написал неизвестный критик в газете. С ним Веня не согласился в этом вопросе, но у него ведь никто и не спрашивал, верно?! Вопрос, что важнее, замысел или его изложение, сопровождал жизнь Вени, и не только его, многие годы. У него самого ответ был заготовлен издавна, но были еще мнения и люди.

Веня, никчемный еврейский молодой человек, еще не дочитал до конца комплиментарную статью о молодой сионистской прозе, еврейского героя, вернувшегося к истокам, а новые ботиночки уже стояли возле него на полу: красивые, матовые, английской штучной работы, подкованные Дойчем от всего сердца со всей искренней привязанностью к работе и даже любовью к носителю их.

— Слушай, Миша, а как отрабатывать удар, такую сокрушительную колотуху, правой прямой? — спросил Дойча на тренировке при подходящем случае любознательный Веня, вытирая мокрое лицо полотенцем, принесенным из дома. У него был свой интерес помимо любопытства, которое в будущем могло поставить его в сложные жизненные ситуации.

— Все очень просто. После каждой тренировки ты берешь гриф штанги весом 12 кг и отбрасываешь его от груди двумя руками сначала 80 раз, потом, через минуту отдыха, 100 раз, а

в конце еще 120 раз. Руки в конце каждого выброса прямые, это важно. Через месяц у тебя будет достойный удар с двух рук, можно сказать, нокаут в кулаках, — невозмутимо объяснил ему Дойч.

— И ты так делал, да? — Веня был похож на пятиклассника со своим восхищенным удивлением.

— Да, конечно. Только у меня первый сет был 120 раз и дальше 140 и 160 раз, руки летали, я был молод тогда, Вениамин. Я тебе сейчас лом принесу из подсобки, попробуй.

Никто не обращал на них внимания из занимающихся, это было рабочим моментом, одним из них. Веня относился к своим занятиям всерьез, Дойч также считал, как и всегда, что все нужно делать основательно, обращая внимание на самые мелкие детали. Хотя сила удара, конечно, в боксе совсем не деталь, а важнейшая составляющая. Дойч это знал твердо, ему это объясняли его тренеры, и он сам решил все для себя. «Надо работать много часов в день, чтобы чего-то добиться, это во всем, что есть в жизни, Веня», — он вбивал в голову парня этот известный постулат, не мог забыть того, что он учитель. Ко всему, он хотел быть наставником. Его удивляло, ему нравилось, хотя он и раздражался, что этот длинный юный глупец не боится его. На что он надеется, а?!

Дойч принес из закутка в углу зала стальной строительный лом, весом килограмм семь-восемь, и дал его Вене со словами «давай, трудись». Веня активно принялся за дело. Он смог выбросить от груди двумя руками этот лом 46 раз на вытянутых руках и вернуть обратно к груди. После этого опустил руки вниз и шумно выдохнул. «Вот-вот, теперь еще раз, дыши глубже, но добавь еще раз десять», — посоветовал Дойч. Получилось у Вени еще 27 раз. После этого руки его упали вдоль тела. «Все, рук нет, отнялись», — сказал он. «Дыши глубже». Веня задышал, склоняясь над лежавшим на полу ломом и опираясь руками о колени.

Интересно, но Дойч никогда не говорил с Веней о Советской власти. Жизнь его была сложной и страстной в Ташкенте. У него были сложные моменты в жизни, ему приходилось уезжать в другие места Союза. В других местах

он сражался на ринге за честь других советских республик. Его имя стояло в твердом списке кандидатов в те или иные сборные, просто покачивалось на грани попадания в них. Но он ни разу в сборную не пробивался, чего-то ему не хватало. Он не жаловался на национальные пристрастия наставников, дело было не в этом, и он это понимал хорошо. Люди свое дело знали, врагами себе не были и работали на результат. Чего-то Дойчу не хватало в его любимом занятии, он не думал на эту тему и не говорил никогда об этом вслух.

Он не разговаривал с Веней и о своих литературных учителях и пристрастиях. Не то чтобы Веня спрашивал об этом у него напрямую, просто этой темы не было в их разговорах. Это не мешало Дойчу думать о своих занятиях литературой, чем он настойчиво занимался наряду с постоянными уроками Торы. Помимо этого, он с интересом следил за новостями бокса, любительского и профессионального, обсуждал их и поддерживал по мере сил и времени приличную физическую форму, вес, пластичность и прочее. Вслух о политике он не говорил никогда.

— Я в Ленинграде, Веня, познакомился тогда еще с одним парнем, такой длинный, похож на корсиканца, говорил, что уже отслужил, что в юности был боксером, но подробно поговорить с ним не удалось. Боксером он никаким не был, поверь мне. Давид Яковлевич говорил о нем уважительно: «Наша надежда», — не уточняя, что значит «наша», корсиканская? Сицилийская? Кавказская? Непонятно, оставил меня в недоумении. Он любил говорить загадками, а я человек простой. У меня остались вопросы по Ленинграду, никто мне на них не ответил, может быть, это и хорошо, нельзя все знать, ведь правда, Веня?!

— Конечно, правда. Я вчера сделал дома личный рекорд, достал себе лом, 180 раз выбросов. Руки отнимаются.

— Хорошо, будет у тебя удар в конце концов, только не оставляй это дело. Лет через пятнадцать будешь нокаутером, если будешь вообще, — Дойч изредка шутил, даже не шутил, а выражал сомнение.

Дойти до него от дома племянницы было метров четырехста. Надо было из парадной свернуть налево и подняться по небольшому подъему до светофора. Там перейти проспект Эшколя, школа имени Рене Кассена оставалась слева, с заросшим виноградной лозой торцовой стороной, пройти вперед — и справа открывался овальный двор с салатного цвета фольксвагеном Дойча, уткнувшимся в клумбу с засохшими кустами бурого цвета. Ну, и там уже на запах плова в незакрытую входную дверь навстречу: «Вот и боксер наш, Абрамыч, здоровый и неустойчивый, пришел, дорогой гость, проходите, уважаемый, садитесь тут к столу, поглядите на работу знаменитого ошпаза из Кажгарки, полюбуйтесь, помогите советом», — и резко пожимал гостю руку своей небольшой и как бы хрупкой кистью.

На службе резервистов, куда Дойч регулярно и справно ходил на месяц службы, в так называемый «русский батальон» (все, кроме командиров, прибыли в последние пару лет в Израиль из Союза, командиры же понимали немного порусски, но говорили очень смешно, они в основном были детьми польских репатриантов конца 50–60-х годов), коллеги не слишком его жаловали. Они считали взгляды Дойча на жизнь и политику в Израиле экстремистскими и непримиримыми. «Нужно быть мягче, уметь прощать, — говорили ему соседи по армейской палатке на одиннадцать человек, — а ты, как непреклонный какой-то пень, все для тебя или так, или никак, неуступчивый. С ними (с арабами) можно говорить и договариваться, а с тобой что?! Скандал, драка, война». Они были не совсем правы, но какая-то тень правды была в их словах. Понятно было, кого и что они имеют в виду, какие переговоры кого и с кем, эти Алики, Гарики, Марики и Додики. Конечно, договариваться с врагами, конечно, они всегда со всеми договариваются, галутное племя, договорщики, тьфу на вас, живите долго и счастливо.

Но напрямую над ним не смеялись и не шутили, он не был подходящим объектом для юмора, лицо его не обещало солнечного света шутнику. Хотя были, заметим, и среди оппонентов Моше Д. крепкие и умелые мужчины, были. Могли в

сумерках с ним разобраться по-мужски. Но сумерек здесь вблизи города Рамалла не было, только солнце напропалую или тьма египетская, да и люди все были семейные и мирные, чего там разбираться, дайте жить и дожить до дома, до хаты, как поется в песне.

Дойч аккуратно складывал вещи в ногах кровати и ложился спать, накрываясь одеялом с головой и не желая спорить ни с кем. Времени на сон не было совсем, да и говорить на эти темы он не мог. В 4 часа 30 минут надо было уходить в наряд, и Дойч очень хотел отдохнуть хоть немного, как он всегда делал перед боями. Не всегда это получалось. Спать он очень любил с молодости.

Он закрывал глаза и возвращался к смеющейся Хаве с молодым лицом и крепким телом, к своим шумящим, не в меру раскрепощенным ученикам, к сильному необычному парню Вене с хорошими длинными руками, со стеклянной челюстью и непонятным ему ленинградским прошлым возле гранитных набережных, к Йохи, которая ежедневно цвела совсем рядом с ним, к Сарре, которая начала уже что-то там лепетать, стоя у своей кровати, улыбаясь родителям и легко приседая, как заводная игрушка, под детскую песенку из телевизора «Лети ко мне, милая бабочка, сядь мне на руку». И неожиданно, но обязательно к рэб Йоэлю, который должен был вот-вот приехать и начать жизнь здесь. Все это виделось ему так красочно и четко, так интересно, что сон пролетал мгновенно и увлекательно.

У Вени тоже были свои сложности, но он таинственным образом восстанавливался и преодолевал все. Все дело было, наверное, в том, что этот парень отказывался верить в трагедии, быстро все пропускал мимо себя и забывал частности. Так он был устроен, хотя память у него была прекрасная, он все и всех помнил наизусть.

Дойч очень хотел завести себе армейские ботинки красного цвета, какие носили десантники. Ему же, «старикун»-резервисту, выдали отличные, прочнейшие ботинки, в которых ходили все остальные солдаты, на толстой рифленой подошве, удобные, шнурованные, высокие, но черного цвета.

Это Дойчу мешало. Он желал вот эти рыжего цвета, легкие и удобные ботинки бойца, которые полагались солдатам ударных частей. Он обхаживал кладовщика, скучного служивого парня, который был умнее, чем выглядел, и так, и эдак, хотел его даже научить боксировать, но тот был непреклонен. «Какие красные башмаки, все на учете, тебе не полагается, не хочу выговора и наказания, не могу, пойми меня, дядя», — говорил он, опуская бегающие глаза. Дойч видел сам, как этот парень, глазом не моргнув, выложил на прилавок новенькие красные башмаки 40-го размера парню из оружейки, хилому, расхлябанному, быстроглазому и чем-то неуловимым напоминавшему опасных ребят из Кажгарки. Интересно, но Дойч воспринял это как необратимую часть армейской жизни.

Но все равно Дойч расстраивался, отходил от склада и пугливого кладовщика мрачный и злой. Потом плюнул на все и в первый же отпуск купил на автовокзале в армейском магазине напротив киношки с порнографией прекрасные ботинки десантника и в них же, довольный собой и своей жизнью, поехал домой. Продавец подарил ему двойные носки с начесом в благодарность за покупку, добавив: «Носи на здоровье». «Ботинки эти были несносимые, что говорить», — думал Дойч, он в башмаках очень хорошо понимал. В Иерусалим он приехал очень довольный и веселый.

Хава обняла его в дверях, сказала ему: «Сбылась мечта, видишь, как просто тебя сделать счастливым, мой мальчик», — и поцеловала его, как только она умела. Она была невероятная женщина, по неизменяемому мнению Дойча. И Сарра смеялась ему издали из гостиной, захлебываясь счастьем. Что человеку надо, скажите: жена Хава, счастливая, смеющаяся ему издали дочь и красные легкие вечные ботинки десанта, сидящие на ноге, как влитые. Разве нет?!

Потом приехал, наконец, Йоэль Мордухович, которого так ждали, и Дойч позвал Веню с собой ехать в аэропорт. Дело было поздно ночью, самолеты с новыми гражданами страны прилетали тогда по ночам из Вены, там был перевалочный пункт. Все дело было в безопасности самолетов, потому что уже начали набирать силу и гулять с гранатами и автоматами

злые, опасные люди из разных палестинских фронтов сопротивления. Это, как говорили некоторые прогрессивные личности, просто информация к размышлению. Они выехали в разгар черной ночи и поехали по пустому Первому шоссе вниз к равнине. Оранжевая заря еще не появлялась на горизонте, еще было не время для нее. Воздух был холодный и тяжелый, но немецкий «жук» Дойча мчал и мчал, счастливо и упрямо тарахтя, навстречу дорогому для хозяина человеку. И не только для него, как выяснилось потом.

Дойч никогда не ругался матом. При своей нервной организации, с заторможенными реакциями и взрывами гнева, при сложном прошлом в проблематичном квартале большого города на советской окраине, при всех бескомпромиссных боях с суровыми соперниками, Моше никогда не произносил матерных слов ни при каком раскладе. Удивительно, но Веня, который не переставал удивляться этому человеку, не слышал от него ничего и близкого к мату. «Там тоже не ругался, Миша?», — спрашивал он Дойча. «Не ругался», — говорил Дойч с оттенком скромного достоинства, мол, да, я не ругаюсь, и не спрашивай меня больше об этом.

Зал встречающих был переполнен мужчинами в черных шляпах и черных праздничных подпоясанных лапсердаках. Воздух гудел от множества голосов. Все были возбуждены и ждали прихода своего близкого и важного наставника и родственника. Наконец, раздался общий радостный счастливый вздох толпы. Не мессия, конечно, но значащий многое для них для всех человек, Рэб Йозель быстрым шагом вышел через главный вход в зал, в котором не было ни ворот, ни дверей — входи не хочу. Впереди него шла жена в длинном платье и какой-то неловкой темного цвета кофте, которая вела за руки двух детей с подвижными лицами 10 и 12 лет, мальчика и девочку, державшихся уверенно. Наверное, дети не очень понимали, где они находятся и куда приехали. Дети рэб Йозеля — и не понимали?! Что с вами?!

Рэб Йозель, худой, среднего роста мужчина в куцем пиджачке в полоску, в потертой шляпе, с растерянной и одновременно рассеянной улыбкой, в каких-то полуботинках без каб-

луков, внимательно смотрел на встречавших людей, близорукко щурясь и изо всех сил прижимая к груди левой рукой сверток, обернутый в бархатную материю. Дойч пробился к нему со сказанными высоким голосом словами: «Йоэль Мордухович, гит мир а брохе, добро пожаловать домой». Толпа придвинулась к нему и разом легко оттерла Дойча от рэб Йоэля в сторону, дальше все происходило как по сценарию мюзикла про еврейскую жизнь в 19 веке где-то в местечке под Бердичевом в Бродвейском театре в то время, когда там еще ставили такие спектакли. Взволнованный Дойч вернулся к колонне, возле которой стоял Веня, и разведя руки в стороны и смущенно улыбаясь, сказал ему счастливым голосом: «Видишь, что делается, народный праздник, торжество идеи». Его слова были излишне восторженны, не совсем точны, но никому не было дела в этот момент до точности определений. Счастье словами и не выразить, разве нет?!

— Они к нам приедут: старшая дочь, жена моя, верный ученик, так что едем домой, на второй скорости, — объяснил Моше Вене. «Как я не сообразил сам, — Веня медленно соображал, — как не додумался?» — «Да, поехали, только давай на третьей скорости, быстрее, чем на второй», — сказал он Моше. Тот не улыбнулся, только согласно кивнул, на третьей — так на третьей.

Дойч никогда ничего не говорил и не рассказывал о книгах, которые читал. Но, конечно, было что ему рассказывать и о чем думать. На него многое влияло и делало его другим человеком, умным, талантливым, терпеливым. Главное же состояло в том, что Дойч, как и любой другой человек, поддавался влияниям, мог изменяться, изменялся, умел быть благодарным. На письменном столе его стояла глиняная вазочка, в которой находилось несколько заточенных карандашей и простые ручки. Дойч писал карандашами, которые затачивал бритвой через определенные промежутки времени, примерно 2–3 часа. Потом он, прищурившись, внимательно рассматривал грифель на остроту и, вероятно, на точность, на что же еще. Карандашами он писал потому, что где-то узнал или прочитал, что Хемингуэй писал каранда-

шами, он хотел быть, как этот писатель. Неожиданно для такого человека или, может быть, нет, Дойч был подвержен влияниям самым невероятным. Очки он никогда не носил даже старея, они ему были не нужны.

Исписанные листы, с загибающимися вниз строчками, он складывал сбоку от себя в стопку. Почерк его был скачущий, не самый красивый, но понятный при чтении. У Хавы была знакомая машинистка, родом из ленинградского пригорода Пулково, дама с замечательными глазами неувомимого серо-синего цвета. Она привезла с собою германскую, из ГДР, пишущую машинку. Просто так привезла, чтобы было. Девушка эта аккуратна и быстро перепечатывала Дойчу его рассказы в трех экземплярах. Брала с некоторым стеснением, опуская глаза при расплате, по минимуму, 10 лир за 30 страниц. Расценки никто не знал, она сама назначила, взяв цену за страницу буквально с потолка, посмотрела вверх и в угол и сказала. Хава тут же сказала: «Хорошо».

Помимо этого, Дойч, будучи совершенно трезвым и прагматичным человеком, не без странностей, конечно, но настроенным романтично в отдельных вопросах, очень любил рассказывать Вене притчи из жизни рабби Ханина, великого чудотворца и праведника, ученика рабби Йоханана бен Закай. Веня ничего этого не знал и слушал все слова о рабби Ханине, открыв рот от восторга и восхищения, буквально.

— Жил рабби Ханина бен Доса в Галилее примерно 2000 лет назад. Этот рабби Ханина своей молитвой вызывал и прекращал дожди, — начинал рассказ Дойч. — Он прославился, когда исцелил от смертельной болезни сына своего учителя рабби Йоханана. Пораженная этим жена рабби Йоханана воскликнула: «Неужели твой ученик Ханина более велик, чем ты?». Рабби Йоханан объяснил ей: «Я подобен министру, которого только изредка допускают к Царю, а Ханина подобен службе, который входит к Царю в любую минуту». И Веня, обожавший совершенные, идеально построенные рассказы, восхищенно закивал, закрыл глаза и сказал: «Невероятно, просто невероятно».

Потом уже Веня и сам добрался до источника, изучил его и среди прочего прочел: «В трактате «Сота» отмечается, что со смертью рабби Ханины перевелись люди, творящие великие чудеса».

Не может быть?! Он не пожелал согласиться с этим, но возражать не стал, да и где возражать и кому? Он был молод и иногда, не часто, но иногда, позволял себе с чем-то очевидным не соглашаться, с чем не соглашаться было невозможно и даже неприлично.

У Дойча были истории о рабби Ханине, но подряд он их не рассказывал, чтобы «не перебарщивать с чудесами», по его словам.

— Он жил здесь, рабби Ханина? — тихо спрашивал легко внушаемый Веня, делая ударение на слове «здесь».

— Могила его в пещере в Галилее, можно подъехать, если захочешь, — говорил Дойч, отворачиваясь от него. Дойч не удивлялся вопросам Вени, который подумал, что «мне ведь нельзя на могилы ходить». Хотя к рабби Ханина, наверное, можно, почти наверняка можно.

— Вот он мне впервые все о рабби Ханине рассказал, понимаешь! — Дойч показал рукой на Йоэля Мордуховича, который был окружен плотной неподвижной гудящей толпой. Зрелище это, посередине огромного гулкового зала аэропорта для встречающих, производило сильное впечатление. Прилетевшие люди торопливо проходили мимо, огибая толпу и не оглядываясь на нее со своими колясками, нагруженными чемоданами, сумками, рюкзаками и советскими, так называемыми демисезонными пальто.

Там, в Союзе было холодновато, начало мая, а здесь стояла жара, которую новоприбывшие еще не воспринимали как нечто мешающее жизни, а наоборот, как нечто жизнеутверждающее: ласковое солнце, обнадеживающее тепло. Йоэль Мордухович чувствовал себя здесь естественно, совсем дома. Ему не надо было приноравливаться к этому климату, он в нем провел всю жизнь. Да и вообще, он быстро акклиматизировался на севере, на юге, жизнь за прошедшие годы хорошо научила. Он спасет там наверху, конечно!

Каждые несколько минут, скажем, 7–8, гул, взлетающего или приземляющегося самолета приводил в движение воздух в зале, и стены этого зала начинали отзываться на эти звуки с готовностью. Это разнообразило и даже украшало пребывание здесь. Дойч и Веня выехали вслед за большим семиместным «Мерседесом», в котором расположилась вся прилетевшая семья вместе с каким-то бородатым грузным немолодым сопровождающим, обладавшим властными манерами, значительной внешностью уполномоченного начальника и скромной улыбкой властолюбца.

Дойч выяснил у информированного толстяка, из той породы людей, с набрякшим лицом, с простуженным голосом, которые помнят все наизусть и которые всегда знают все, номер машины, которая должна была везти рэб Йозеля с семьей. Он быстрым шагом, не глядя по сторонам, вышел вместе с Веней на автостоянку, перейдя две асфальтовые четырехрядные дороги с полицейскими стражниками и бдительными вострыми парнями в штатском, следившими за порядком в предтлетней суете аэродрома. Дойч сказал Вене на ходу: «В Иерусалим едем за ними, там уже обнимемся».

Стоит сказать, что гул самолетов и дрожащие стены здания аэропорта вселяли в Веню некоторую тревогу отъезда, волнение возможной поездки в неизвестность и нервное волнующее ожидание предстоящей встречи семьи Дойча и семьи рэб Йозеля. Хотя чего там, родная кровь, близкие люди. Дойч же был невозмутим и собран, как снежный леопард, разве что спина не была согнута от всего. Только брезгливой надменности, столь раздражающе присутствующей на лицах некоторых сынов Сиона, не было в нем, по счастью. Все было: суровость, пристальность, мрачная готовность к отпору, страсть познания, любовь и равнодушие — все было, только вот брезгливой надменности не было. И слава Богу! Веня в таких важнейших вещах, как выражение каких-либо черт характера, неожиданно даже для себя самого понимал неплохо.

На встрече рэб Йозеля и его семьи со старшей дочерью Хавой Дойч Веня не присутствовал. Сам отказался, потому что чего там, нечего лезть в чужие дела, пора и честь знать, как гово-

рила его мать. Было девять часов утра. Перейдя улицу медленным шагом, он заслушался пением птиц в кронах деревьев, напротив автобусной остановки. Птицы, сидевшие на ветках, звучали громко и весело, как на большом светском празднике. Дома Веня пытался читать в тени на балконе замечательную книгу, называвшуюся «Курсив мой», но мысли его были в квартире Дойча на невозможной встрече родных людей, которую все участники слишком долго и слишком сильно ждали.

Рэб Йозеля поселили с женой и детьми в новом, еще не достроенном квартале между Рамат-Эшколем и Рамотом, названном Санхэдрия Мурхевет. Это было место для ортодоксальных семей, оно очень подходило в стилистическом смысле семье рэб Йозеля: шумная стройка, подвижные стрелы кранов, послушники, торопящиеся на молитву или с нее, дети на траве в детском саду, обнесенном проволочным забором, ящики с молоком, сгружаемые с грузовика у бакалейной лавки. Он был совершенно счастлив. Йозель Мордухович не слишком замечал, где он живет и как, главное для него было в том, что он поселился в Иерусалиме, святом и вечном городе, вместе со всеми своими. Стоимости денег он не знал и не узнал и потом, все годы жизни он не понимал разницы между лирами и шекелями и стоимостью их от 20 до 100. Напомним, что он был математиком по светскому образованию и математиком очень хорошего уровня. Все вокруг него в этом квартале, который кружил по холму вниз и вверх по петле, было скромно, неторопливо и по всем меркам сдержанно, о деньгах, казалось, никто и, конечно же, он сам, не думал. Известно, что они все думали. Всем нравилось жить так — вызывающе тихо. Закон Книги правил всем, никто этого не обсуждал, все в этом мире стояло только на этом, что было очевидно для всех.

Через несколько недель, которые Веня Роках посвятил тренировкам с Дойчем и личным занятиям с тяжестями, со скакалкой, с пресловутым ломом, Моисей Д. сказал ученику как бы между прочим:

— Давай постоим пару раундов, надень шлем на всякий случай и не лезь на рожон, все не так просто, Вениамин, капу не забудь.

Они боксировали в углу зала, чтобы не привлекать лишнего внимания ребят. Самое интересное, что Дойч не мог поначалу добраться до Вени, длинные руки которого не позволяли приблизиться к нему. Дойч собрался, упрямо и зло зажал лицо, опустил подбородок и, отступив на шаг, дернув спиной и бедрами, одновременно ударил его сбоку и слева, как бы вырывая из тела противника кусок живота вместе с печенью.

— Удар называется «свинг», — пробормотал он и отвернулся, не выражая никаких чувств на лице. Лицо его было расслаблено. Свинг был любимым ударом в богатом и разнообразном боксерском арсенале Дойча.

Это случилось на исходе третьей минуты. Вения согнулся и пал на колени, безуспешно пытаясь дышать. Белый иерусалимский день потемнел для него, закрывшись клочьями серого тумана. Дойч с нейтральным видом, как могло показаться болельщику со стороны, отошел в угол, он свое дело сделал хорошо, он был доволен, но не улыбался. Все-таки противник у него был хотя и молодой, но начинающий и неопытный — чего радоваться? Если это был не принципиальный бой — выяснение отношений, то конечно, радоваться нечего. Но для Дойча, так получалось, каждый бой был как бы последний, даже бой с начинающим парнем, к которому он относился хорошо.

Дойч посмотрел издали на Веню, стоявшего на коленях и пытавшегося вытошнить что-то желто-зеленое из себя на пол. Он подвинул к нему по полу ногой громыхнувшее ведро: «На, не пачкай здесь, парень». Другие ребята оставили тренировку и смотрели издали на Веню во все глаза с некоторым брезгливым испугом. Физических последствий для Вени после этого случая не было. Потом уже, возвращаясь домой, Дойч, дую на свой кулак от якобы ушиба, покачал головой и сказал Вени, как бы между прочим:

— Я, видишь, тебя переоценил немного, прости.

Вения совершенно не обижался, бывает, но стал смотреть на Дойча по-новому, без опаски и с пониманием того, что этот человек пленных не берет и понятия не имеет об игре в поддавки. Никаких слов сочувствия Дойч не произносил, он был особый человек, как уже можно было понять, ни искренних, ни фальшивых слов не было у него.

Йоэль Мордухович сразу начал работать в раббануте и ешиве, точных его обязанностей Веня не знал и не интересовался. Он старался не лезть в чужую жизнь, ему своей хватало, как он говорил. За это его уважал и ценил Дойч, считавший, что сплетничать — предпоследнее дело.

— А последнее — какое дело? — спрашивал Веня.

— Предать родину, — отвечал Дойч привычно.

Так вот, Йоэль Мордухович. Вечерами он ходил своей летящей походкой праведника учиться с другими и учить других, что было для него естественно, распорядок дня, обычный для него еще по Союзу. Авторитет у него был большой, тяжелый, непререкаемый, а сам он выглядел скачущим быстрым воробушком. Его не интересовало то, как он выглядит. Каждый день его жена давала ему утром одну из трех белых рубашек, привезенных из Союза. Одна рубашка на один день. Так он жил, рэб Йоэль Мордухович, счастливый человек в себе. Рубашки всегда были выстираны и выглажены, так его жена понимала современную моду, установленную лет за 300 или даже 400 до этого дня. Он споро одевался, застегивался на все пуговицы до горла, острый угол воротничка обычно выбивался поверх пиджака, рэб Йоэль с ним не боролся. Он был похож на свою фотографию в уголовном деле, хотя с той поры прошло уже лет 35-36. Такие люди не изменяются, как известно.

Он выпивал стакан чая без сахара, съедал кусок хлеба с ложкой трехпроцентного творога из упаковки с домиком и выходил из дома на улицу, одернув пиджак, никак не желавший становиться просторнее и новее. Башмаки рэб Йоэлю любовно подправил зять, набив новенькие твердые подошвы, подправив стоптанные каблуки, поменяв шнурки на новенькие и набив стальные подковки.

— Чтобы цокали и все знали: рэб Йоэль идет, прошу встать и посторониться, джентльмены, — торжественно объявил Дойч, оглядывая свою работу, поджав и без того тонкие губы.

Тесть его не одобрил, он этого всего не любил, но промолчал, считая, что сам виноват, сам поддался на почти случайное предложение. Хава сияла белоснежной чудесной улыб-

кой, отец выглядел очень хорошо со своим лицом, оттененным черной шляпой, сдвинутой на затылок, бело-синим колором рубахи и любопытным взглядом сиреневых, невозможных для понимания окружающих глаз.

— Я тебе сделала бутерброды с сыром, папа, возьми, пожалуйста, — сказала она.

Рэб Йоэль нигде ни у кого ничего не ел, мог выпить воды из-под крана и съесть дольку помидора или огурца, и это все. Он ел дома и у дочери, здесь он был уверен в продукте и его приготовлении. В принципе, в вопросе питания с ним почти ничего не изменилось по сравнению с Узбекистаном. Его это не занимало. Вовсе.

Дойч сказал тестю, что фамилия Вени Роках. Рэб Йоэль оживился, оглядел голову Вени, не обнаружив на ней кипы, огорчился, замолчал и не спросил его ни о чем. Хотя вопрос крутился у него на языке. Потом к Дойчу пришел некий человек, который смущаясь и мекая-бекая попросил его о большом одолжении. Как раз в это время у Дойча был Веня, читавший большой рассказ хозяина на двадцать пять машинописных страниц, сидя у обеденного стола. Одним из важных, если не важнейшим героем рассказа был рабби Ханина. Лицо нового гостя было одутловатым и молочным каким-то, кривой сломанный нос его не красил. Он был крепок, поджар, пластичен, ловко одет в джинсы и футболку, он выглядел лет на 37–38.

Дойч пошел на кухню приготовить чаю всем. Человек сел напротив Вени и покосился на него.

— Как жизнь, боец? — спросил он. Веня кивнул ему, что жизнь хорошая, молодая, и вообще, все путем.

— Пришли, видишь, за одолжением к Мишане нашему, — сообщил он, непонятно называя себя в третьем лице. — Меня звать Аркадий.

Веня кивнул ему, что просить одолжения у Мишани — это хороший шаг. Читать дальше ему было трудно, Аркадий был словоохотлив и доброжелателен, рассказ был отложен на самом важном месте. Веня вспомнил, что Дойч уже положительно упоминал не так давно имя Аркадия в связи со своим недавним прошлым.

— Во Львове, во Дворце спорта мы встречались. Боксерский турнир союзного значения. Объявили, что на ринге боксеры второго среднего веса до 75 кг. В синем углу ринга мастер спорта Михаил Дойч, в красном углу ринга мастер спорта Аркадий Циммерман. Хе-хе. Большая была драка, оба очень старались. Мишаня уехал тогда от сложностей в Ташкенте, я ему помогал как мог. Так вот, в ринге Аркадий был я, а Дойч это был Мишаня. Я уже был женат с дочерью, а он еще нет. У меня была дочка 12 лет и жена Рая. 6 лет назад дело было. Теперь дочка выросла, стала красоткой и собирается замуж, кто бы мог подумать?! Вот ждем ответа от Мишани. А у вас фигура спортивная, боксом не собираетесь заняться, Вениамин?

Он настойчиво говорил о себе почему-то во множественном числе. Веня ответил, что нет, он уже в возрасте и любит только смотреть на ринг, а не драться в нем, да и стар для бокса, пропустил возраст. Печень у него болела, его все еще подташнивало, иного ответа этому симпатичному некрасивому незнакомому человеку он дать не мог, ну, какой сейчас бокс. Аркадий располагаяще кивнул:

— Да, понимаю, хотя какие наши годы, здесь все молодеют, это известно. Никто здесь боксом заниматься не хочет. Вот у меня в школе, Веня, все только бредят: футбол-баскетбол, баскетбол-футбол, ни о чем слушать не желают. Какой бокс, зачем, когда есть мяч? Только повторяют: Мики-Моти, Ури-Дани, Моти-Мики, Дани-Ури. — (Мики Беркович и Моти Аруэсти — популярнейшие в то время игроки баскетбольного «Маккаби Тель-Авив», Ури Мальмилан и Дани Нойман — футболисты столичного клуба «Бейтар»). — Поди поконкурируй с ними.

Аркадий этот, явно приличный нежный человек, как видно, был учителем физкультуры в школе, как и Дойч, и тренером после уроков.

Они замолчали надолго. Все уже было сказано, в принципе. Наконец, зашел из кухни Дойч с подносом, на котором дымился фаянсовый чайник с пакетиками заправки, нитки от них приклеились кипятком к выпуклому боку. Дойч разлил

чай в фаянсовые, позванивавшие от прикосновения чашки, подвинув блюдце с халвой и коричневого цвета сахаром к центру стола. Аркадий взглянул на него с вопросительным видом, держа чашку в руке, и он рассеянно и непривычно, отвернувшись к окну, отрицательно показал головой, что нет, не сходится что-то у него с согласием на просьбу. Аркадий заметно огорчился, даже потемнел как-то и, побарабанив пальцами по столу, безнадежным голосом спросил:

— А если мы сходим с этим к твоему тестю сами? Что скажешь? Райке это очень важно, я и пришел к тебе ради Райки.

Весь этот просительный тон никак не вязался с этим ладным и не таким уж и молодым человеком. Дойч все это прекрасно понимал и пытался каким-либо образом завершить разговор.

— Мне не кажется твоя идея правильной, Аркаша. Рэб Йозель не впишется в эту историю, не донесет, конечно, никому, но и не впишется, я знаю наверняка, — сказал Дойч немолдому учителю Аркадию Циммерману.

Дойч, заметно вздохнув, покрутил на пальце тяжелый серебряный перстень с печаткой, с которым приехал из СССР и который он снимал только перед боями или тренировками.

— Я понял тебя, Миша, ничего мы не хотели такого предосудительного от тебя, Райка хотела, чтобы все было как у всех, и девочка желала того, чтобы по закону, не к месту я, не буду извиняться, — Циммерман поднялся, пожал Вене и Дойчу руки и вышел наружу на лестничную площадку, пройдя в три шага, сдвинув стулья по сторонам, гостиную и узкое подбие прихожей. Дойч подошел к окну и позвал Веню:

— Иди сюда, погляди.

Веня увидел внизу, у входа в парадную, неподвижно стоящую женщину в светлых брюках, с белым лицом, выражение которого было не разглядеть.

— Это Рая, жена Аркаши, тоже учительница, хорошо ее знаю. Она не пришла с ним к нам, потому что волновалась или думала о том, что я не соглашусь, не знаю. Она оказалась права. Все очень сложно. Дочь их собралась замуж, Аркаша тебе

рассказал, наверное. Рая хочет, чтобы все было как у всех, как у людей, чтобы я засвидетельствовал происхождение девочки. А это невозможно. Я мог бы попытаться им помочь, но не могу этого сделать. Мы с ним друзья еще с Союза, он очень мне помогал там, когда все было плохо и я балансировал на свободе. А я им не помог. Видишь, как сложилось, Веня Роках.

Аркаша обнял женщину за плечи, и они неровным шагом, два жалких огорченных человека со странными надеждами, пошли по каменной дорожке к асфальтового цвета машине, кажется, «Форду», который стоял с другой стороны клумбы.

— Пошли выпьем, надо снять напряжение, — почему-то на Дойча было смотреть сейчас не очень приятно Вене. — Рассказ успел прочитать?

— Мне осталось страниц шесть, сейчас дочитаю.

Веня дочитал рассказ, оказавшийся хорошим. Это не имело значения сейчас. Потом они выпили немного, Дойч был явно недоволен собой или еще чем, ему было не до объяснений, да никто их у него и не требовал, не просил. Было начало четвертого. Веня поплелся, с трудом шевеля ногами, домой, оставив Дойча в раздумье. Он, кажется, понимал суть происшедшего, но старался не думать об этом. Вот вдруг заходишь в комнату и застаешь близкого человека за чем-то, за чем ты его заставить не должен. Стараешься забыть все побыстрее, разве нет?

Жена Дойча с ребенком еще не вернулась, девочка их была в садике до четырех дня, пока то да се, возвращались они к пяти веселые и оживленные, ублажали сумрачного Дойча, сглаживая то, что можно было сгладить и смягчая сумеречный взгляд его на жизнь. С другой стороны их выгнутого дома было несколько магазинов на первом этаже. Дойч сходил, почти сбегал, в неряшливого вида лавку, шагах в тридцати от парадной, прошел под аркой и зашел внутрь, где мрачный весь день, усатый скверный человек торговал всякой съедобной и не слишком всячиной. При входе он пропустил высокую от жизни даму, выходящую наружу с пакетом яиц и упаковкой нарезанного хлеба и даже не кивнувшую ему. Ей

было не до благодарностей какому-то торопливому мужику в спортивных штанах и футболке с шестиконечной голубой звездой у сердца.

Лавку эту жители микрорайона называли «Все сойдет». Не пускаясь в разговоры, Дойч взял с полки напротив прилавка бутылку арака с зеленой антилопой на этикетке, бутылку кока-колы в стеклянной полуторалитровой бутылке, банку рыбных консервов из тунца, хлеба, упаковал все в брезентовую вечную ташкентскую сумку, торопливо расплатился и вернулся домой спорным шагом одинокого, огорченного жизнью, недопонятого человека. Он успел до прихода жены с Саррой еще выпить, усугубив состояние и отнюдь не улучшив его. Он делал это очень редко. Он немного подправил этим необходимым поступком здоровье, но не настроение.

Через несколько дней после этого случая Дойч в очередной раз вез домой Веню с племянницей по улице Бар-Илан и проехав большой светофор, с которого можно было не только помчаться дальше, но и повернуть направо на Шмуэль Анави (рэб Йеоэль настойчиво говорил Шмуэль Анови) или налево на Рамот, он вдруг резко остановился у тротуара, вывернув руль вправо до упора. Никогда с ним такого не случалось прежде, водитель Дойч был осторожный и внимательный. «Погодите», — бросил он пассажирам и выскочил, хлопнув дверцей, чего также не делал никогда прежде. Он обогнул свой верный «жук» и, сделав два торопливых шага к тротуару, обнял субтильного, длиннорукого очкастого человека с коленкоровой коричневой папкой под мышкой. Одет этот дядя был в пиджак и широкие брюки из бостона, которые вместе с ковбойкой представляли сочетание не совсем обычное для этих мест и для набирающей жар весенней погоды. «Лева, не верю глазам своим», — громко восклицал Дойч, разглядывая несколько растерянного от внезапного появления старого знакомого дядьку.

Оба они выглядели именно дядьками, кем же еще им было выглядеть. Дойч был, правда, менее потрепан и потерт. Просто он дольше времени прожил в Иерусалиме и посвежел.

Соотношение пребывания здесь у них было два года и два месяца у Дойча и два месяца у Левы. Глаза у встреченного человека из прошлого, несмотря на внешний вид, блестели молодо и энергично. Это были глаза человека из той породы, которую в Ленинграде и других городах Союза называли разбойничьим отродьем. Наверное, справедливо называли. Стоило добавить еще про глаза умнейшего человека.

Дойч предложил подвезти его: «Поговорим в пути, а?!» — но Лева, облитый солнцем с головы до ног, сказал, что сейчас не время и что он сам найдет его, и уже тогда они поговорят обо всем. «Лева всегда был странным», — сказал Дойч улыбувшись, когда вернулся в машину. Веня не поддержал разговора, теперь, после случая с Аркадием, он был много сдержаннее с Дойчем. Но племянница Вени еще долго смотрела в заднее окно машины на удалявшегося и уменьшавшегося в размерах неизвестного и странного Левы, у которого бедра были шире плеч, очки были плюс 9 левый глаз и плюс 11 правый глаз, в папке из кожзаменителя лежала недописанная научная работа, и у него не было дискомфорта ни с чем, ни с одним из этих фактов. Племянница вышла из машины у дома в задумчивости и убежала мимо шумящего на ветру дерева по лестнице на крыльцо, не прощаясь, чем-то она была смущена, уж не этим ли Левой Королем, а?!

Дойч в последнее время стал разговорчив сверх меры. Все время что-то пытался рассказывать из жизни. У него появилась некая интонация азиатского акына, что ли, не зря он жил там так долго. — Опаснейший был боец, этот Лева Король. У меня с ним была заруба в Ташкенте, да-да. Он вышел в ринг, я его первый раз увидел, никто его не знал, человек из анекдота, согнут в три погибели, руки лежат на затылке, как он что видел перед собой, не знаю. В зале смеялись, кричали: «Лева, ты не король». Фамилия его Король. Руки у него летали как бы сами по себе, как ветряные мельницы, не знаешь, откуда и что прилетит тебе. Мне прилетело тогда порядочно, пока я разбирался и привыкал. Только во втором раунде что-то понял, пару раз его посадил на задницу, он вставал неиз-

вестно как, упрямец и, все-таки, наверное, безумец. Второй средний вес, конечно, безумец. Бокс, вообще-то, занятие для безумцев. Я выиграл тогда минимально по очкам (боксировал он без очков, конечно, отдал перед боем тренеру), его проводили овацией, понравился публике: изыск, скромняга, красавец. Потом я видел его пару раз в городе, мы говорили на ходу о жизни, бокс он бросил, не объяснял почему и зачем, я не настаивал ни на чем, и так было понятно: берег голову или ему было не так и интересно все это удальство, думаю. Он был кандидат наук, аспирант и перспективный ученый, узбеки его очень любили, никуда он не лез. Я выяснял, я любопытный от рождения. Такой вот месье Король, человек-загадка.

Дойч опять очень удивил Веню. Он был разный, совершенно необычный, непонятный ему. Он обратил внимание на то, что и цвет лица у него изменялся в зависимости от истории, рассказываемой им. Когда он рассказывал о Леве Короле, у него был розоватый, свежий, очень молодой цвет щек и скул, что было понятно. А когда он отказывал Аркадию в его просьбе, то цвет лица у него был темный и жестко-серый, немолодой.

— Йохи со мной перестала разговаривать из-за Райки Циммерман. Сказала, что я бесчувственный и неблагодарный жлоб. Я ей говорю: «Ты что, Света, ты сама наводила мосты здесь, меняла имя, ходила на уроки к рэббецен в Геулу, разве нет?!». А она мне отвечает — бабы, они очень умные, на все есть ответ: «Вот именно поэтому, Миша, именно поэтому, гад ты, борец за чистую правду, скабарь». Я ей отвечаю почти спокойно: «Отвечаешь за свои слова, девочка?» — «Какая я тебе девочка, девочку нашел, жлоб, эгоист, тоже мне, «...чертежник пустыни, арабских песков геометр». Образованная дама, начитанная, стихи декламирует, а истеричка, — рассказал Дойч. Голос его был задумчив и как-то не совсем уверен, не стрелял истинами его голос в пространство. Или это показалось Вене? Непонятно.

Дойч продолжал работать в школе, параллельно учился сам, вечерами, как прежде, ходил по улице Ям Суф в новенькую синагогу на спуске сразу после первых еще недостроенных пя-

тиэтажных домов в Санхэдрии заниматься с Йоэлем Мордуховичем, который ободряющим голосом негромко говорил ему: «Продолжайте, Моисей, продолжайте». Иногда его охватывало паническое чувство, с которым он не всегда успешно справлялся. «Как раньше в боксе», — шептал он себе, и фраза эта немного облегчала дыхание и настроение. С Веней он виделся сейчас реже, тот, кажется, избегал его. Это занимало Дойча, но он был уверен, что с этим парнем все наладится, он был зависим, по мнению Дойча, от его уверенности и таинственного и сильного таланта. Он прикуривал очередную сигарету, за ночь во время работы выкуривал по пачке полторы «Житана», дымя в балконное окошко и глядя сквозь ядреное сигаретное облако на ясный оком желтой луны в тишине, которую можно было безошибочно назвать оглушительной. «Житан», доставаемый им с большим трудом (в основном, в лавке на Агриппас напротив строящегося многоэтажного здания, которое потом было названо проклятым, или у оптовика Коэна на Шлом Цион), в те годы стоил в разы больше израильских сигарет, которые тоже годились, но Дойч справедливо считал, что «Житан» подходит для его занятий словом лучше всего.

Уверенности в своих силах у Дойча никогда не было, а подобные необъяснимые ситуации и вообще лишали его последних сил. Он был в состоянии, которое обыкновенно навещало его перед тем, как он хватал нокдауны или, не дай Бог, нокауты в самых рядовых боях. Он очень боялся, что то немногое, что ему дано, уйдет, и что тогда делать? Жизнь кончена. Он явно зашел в тупик, из которого ему было совершенно непонятно, как выбраться. И возможен ли выход из этого пугающего до судорог круговорота вообще? Чуть приподнявшись со стула, он доставал книгу с полки над своим столом и читал любимое, много раз читанное прежде стихотворение, к которому он обращался как к одному из испытанных и надежных средств лечения всех болезней. Чистый воздух ночи вместе со стрекотом насекомых из дворовых смутно-синих кустов придавал всему пейзажу замечательный настой. Дойч прочитал следующие строчки:

Не знаю отчего,
Я так мечтал
На поезде поехать.
Вот — с поезда сошел,
И некуда идти.

«Про меня сказано. Какой утром день будет?» — подумал Дойч недоуменно. Он не ориентировался в днях недели, в числах и даже в часах и минутах в такие моменты своей жизни. Он все помнил прекрасно, но у него бывали неожиданные провалы памяти, когда он забывал имена близких или номер телефона, запечатленный и вытканый в памяти, как казалось, навсегда. Это бывает со всеми, но Дойч объяснял все это своими занятиями боксом. «Получите по голове с мое и тогда спрашивайте», — объяснял он сердито сам себе, никто у него ничего не спрашивал. И тут же вспоминал забытое ярко и отчетливо. «Конечно, ее звать Света-Йохи, а телефон ее 815-690, как я мог забыть. Такая тишина здесь, как будто это и не город, с ума сойти». Аркадия он не встречал после той встречи у себя дома, по телефону не говорил, и что там было дальше у Циммерманов в семье, не знал. Это тревожило его, беспокоило, как заноза в указательном пальце, которую никто, даже Хава, не могла извлечь. «Надо к врачу сходить, а сил и времени на это нет».

Но ежедневные занятия его с Йоэлем Мордуховичем, всегда бодрым и свежим, с любопытными и веселыми глазами, продолжались, что буквально спасало Дойча, который понимал все прекрасно о себе, о тревоге и о лекарстве от этого всего. Кто как не он? Никаких скидок рэб Йоэль Дойчу не делал, даже не думал. Как так?! Разве можно пропускать занятия, когда сказано и написано: каждый Божий день. Каждый день обязательно, хоть землетрясение или еще какая напасть, надо садиться и учить. Дойчу эта непреклонность нравилась, кое-что напоминало из прошлого. Приходил он к рэб Йоэлю в каморку в синагоге в восемь вечера, а возвращался через пару часов, свежий, энергичный, новый человек, обращенный в будущее, если оно только было у Миши Дойча.

Рэб Йоэль вовсе не был бесплотным и живущим в призрачном мире, совсем далеким от реальной жизни человеком. Он был живым, глазастым, любопытным, все понимающим не таким и старым мужчиной. Встретив Веню на улице где-нибудь в городе на улице Шамай в быстро передвигающейся вниз и вверх толпе, он сразу заглядывал ему на затылок, искал головной убор у него. Не найдя кипы или какого-нибудь подобия ее, он расстраивался, его лицо принимало огорченное выражение, с трудом он находил слова для разговора. Он выглядел так, как будто обрушились основы мироздания. Ему было трудно вернуться после такого потрясения в прежнее состояние и собраться с силами. После длинной паузы он, наконец, сказал Вене:

— А вы такого Циммермана Аркадия знаете? Какое мнение у вас сложилось об этом человеке?

Сил на эти разговоры у Вени не было, у него не было цельного мнения о Циммермане, но впечатление у него было хорошее. Ему нравились такие люди, которые хотели устроить вопреки всему, вопреки всем обстоятельствам жизнь своим женам, дочкам.

— Он мне очень понравился, рэб Йоэль, достойный, скромный человек, по моему мнению, — сказал Веня без паузы, он хотел успеть проговорить, потому что дальше могло и не получиться. Рэб Йоэль сверкнул глазами, поглядел мимо Вени и произнес глухо:

— Я согласен с вами, но есть закон, есть правила жизни, это не всегда совпадает.

«Плохо твое дело, Аркаша, плохо», — подумал Веня.

По пятницам, начиная с 9:17 утра, как только истаявал, исчезал густой туман ночи, встречались на рынке, на центральной улице Агриппас, в заведении под названием «На троих». Время было установлено заранее, потому что в этот час народу еще не было, люди заскакивали, отоваривались и покупали в принесенные кастрюльки и судки кислые курдские супы на субботу, рис с маждадорой, котлетки и биточки, зеленые салаты. Платили и убегали: время поджимало, впереди

была суббота, уборка, синагога, кидуш — да что там говорить. Хозяин Хези протирал стойку, отдавал краткие распоряжения в кухонное окно и озабоченно просматривал вырубку.

А они сидели в уголке тихо и скромно, со своей бутылочкой коньячного напитка «777» и второй бутылочкой сходного содержания, но названия иного. Ни на что эти названия не влияли, потому что алкоголь — он и есть алкоголь. О чем только не говорили на этих счастливых встречах, говорили о жизни и политике, под удобную помощь «777», о кознях больших и малых соседей (коварны, но сидят под столом после 67-го года), о скандалах в парламенте, обязательно об Арике, который был здесь непререкаемым авторитетом, о новостях большой русской литературы в метрополии и здесь, на окраине Средиземноморья.

— Арик обиделся, что не получил начальника генштаба, ушел из армии, закрылся на ферме, с ним обошлись нехорошо, — говорил бывший учитель иврита в Москве, а теперь учитель математики в старших классах. Он был одинокий резкий человек, и его высказывания на некоторые темы из прошлого и настоящего еврейской страны стоит опустить. Не потому, что... а просто воздержимся здесь, мы люди скромные и сдержанные, хотя, чего скрывать, некоторая правота в словах этого рыжебородого Шауля иногда проскальзывала.

А еще приходил поджарый собранный мужчина, который тоже преподавал иврит там, в Москве, здесь вернул себе имя Изя вместо тамошнего Игорь. Скромный ценимый инженер муниципальной службы водоснабжения. Он ни на что не претендовал, но иногда вещал что-то несусветное. Например, он повторял, что «сейчас какой год, господа, 73-й, империя могуча, непобедима и прочна, у нее сотни лет существования впереди, а я говорю, что лет через двадцать, плюс-минус, ее не будет». Все смущались от этих слов. «Не надо записывать за мной, просто запомните», — он выпивал свою рюмку и закусывал шариком фалафеля, который макал в густой перцевый соус. Дойч бычил свою голову, как будто только что словил двойной болезненный удар в лицо. Он не симпатизировал

Изе, потому что тот все время перехватывал инициативу общего внимания и привлекал к себе и своим бредням повышенный интерес. Дойчу было сложно с Изиком, который ни за что ни с кем не боролся. Веня смотрел на этого Изика с нескрываемым восторгом, он ему верил, он всегда верил прорицателям, гадалкам, фокусникам и другим людям схожих профессий. Иногда попадал на этом, никогда ничего не запомнил из своих промахов довольно частых, зачем?

Пятым в этой компании был человек с надменным лицом знатока, аккуратно и дорого по всем понятиям одетый. Это был вычислитель в большой американской компании, быстро продвигавшийся по службе, стеснявшийся этого, так как он приехал сюда математиком, а стал работать вычислителем, это отражалось на его самомнении и самоуважении. Парень он был опасный и очень непростой. Его звали Артемом или Артуром, никто точнее не знал, семья у него была очень достойная, семья лауреатов и талантливых научных выдвиженцев, это тоже оставило след в его биографии.

Еще проходил быстрой походкой мимо окна, за которыми они сидели в углу, бездомный художник Боба, одетый в бесформенную шляпу без полей, балахон и боты. Веня призывал его зайти, он, быстренько лавируя, пробирался к ним, усаживался возле спасителя, который тут же начинал ему готовить пожрать. Брал три питы, нарезал их и набивал нутом, салатами, крутыми яйцами, котлетами — всем, что было на столе. Все наблюдали за этим молча. Одну питу он отдавал Бобе есть на месте, остальные заворачивал в салфетки, укладывал в пакетик от хозяина, добавляя лук, соленые огурцы, маслины.

— Давай, Боба, поправляйся, дорогой.

Боба мгновенно съедал первую питу, забирал пакет и уматывал восвояси, не прощаясь ни с кем, топя ботами, только Вене легко пожимал руку, не глядя на него. Артур невозмутимо наливал себе рюмку и молча выпивал, закинув в рот битую маслинку и вздернув выбритый подбородок.

— За Бобу?

Артур кивал. За кого же еще?

Хозяин, лысый и вкрадчивый, принес несколько блюдец с закусками, которые вряд ли предлагал кому-нибудь еще. К Изе он относился с большим уважением, после того как тот одним звонком разрешил ему старую проблему с подачей воды в кухне.

— А у нас на кухне без воды ведь нельзя, как вы знаете, вкус не тот, — объяснял он, расставляя блюдца по часовой стрелке. Все кивали ему, что курдская кухня — это правда, золотые слова — все в ней построено на воде.

— Принесу тебе кубе селек, я знаю, что ты любишь, — говорил он нежно Изе. — У меня лучше всего крутят кубе в Иерусалиме, у кого хочешь спроси, — объяснял он.

Кубе — это такой шарик из манной крупы, наполненный молотым мясом и сваренный в доброжелательной суповой среде из сельдерея, моркови, свеклы, помидоров, лука, перца, чеснока и кинзы, вкупе со щедро выдавленным туда лимоном.

— Добавлю еще кубе хамуста, — таял хозяин, он обращался только к Изе. Тот не знал, куда глаза девать. Шауль двигал шелковистыми бровями над сверкающими от удовольствия глазами. Дойч хмурился. Артур усмехался углами узких губ, Веня наслаждался. Так часто бывает в самых разных по составу компаниях, особенно по утрам в районе столичного рынка после приема нескольких порций коньячного ядерного напитка. Не удивляться, просим. Джентльмены еще не разговорились, все впереди.

— А что, Веня, ты же смотришь здесь телевизор, свою любимую государственную программу? Как там? Что говорят? Постигаешь действительность? — спросил Веню Шауль, он был незлобив и невретен.

— Не все понимаю. Но все такие раскрепощенные, свободные, мне нравится. Вчера вечером видел баскетбол, финал израильского кубка. В «Маккаби» играл пухлый разыгрывающий с животиком, но боец, умный, хитрый, смелый, наглый, диво-дивное, имя Хаим, фамилию забыл. Диктор сказал, что в октябре будут транслировать ЧЕ из Испании, вот здорово, поглядим, да, Изя?! — Веня пытался всегда разговорить

Изю при встречах на какие-нибудь предсказания, он хотел узнать про многое, но Изя НИКОГДА не отвечал на такие специальные просьбы, молчал, как изваяние, смотрел в сторону или в окно или хлебал свой супчик, в общем, отстранялся. Дойч был вне всего этого, он жил иначе, любопытство было не его, он ни к кому не лез, не все понимал. Шауль посмеивался, Артур смеялся. Но все-таки ситуация с этими людьми в пятничное утро была пристойна и выглядела интересно и не вызывающе, бывает так. Все дело в том, что люди были трезвы и далеки от опьянения, хотя часть их мечтала о нем со вчера.

— О мир, ты прекрасен, — сказал кто-то негромко, потому что все стеснительные до определенного момента. Веня не понял, кто сказал, был в стороне от темы, но, кажется, это был Шауль. Всегда этот Шауль, всегда рыжий. Мысль его была оригинальна и неожиданна, это знали все и ждали его слов.

— Читаю «Другие берега», прекрасно, это к вопросу о мире, — сказал Веня, чокнувшись со всеми и поглядев на Изю. Тот кивнул и промолчал, как всегда.

— Где взяли, Веня? У кого? В национальной библиотеке? — заинтересованно спросил Артур. Он был удобно одет, совсем не так, как одеваются прибывшие из Союза джентльмены, он был здоров, душа его была беспокойна, неизвестно отчего. Он не реагировал на сигаретный дым, на запах курения во всех его видах. Из всех известных грехов у него было чудовищное самомнение и уверенность в собственной правоте. Серьезно, очень хрупко, неисправимо.

— Почему в библиотеке, Артур! Купил в магазине у Миши на углу Шамай и Гистадрута, много покупателей, я тоже зашел, — объяснил Веня. Он ничего не демонстрировал никому, жил как умел, не подстраивался ни под что или кого. Он жил в каком-то не совсем и не до конца понятном ему средиземноморском городе, всего лишь. Он смотрел в окно, в котором видел на другой стороне улицы девушку, облокотившуюся на железные перила и ожидавшую кого-то. Она задумчиво читала газету, склонив голову. Профиль ее, в оранжевой свежей пыльце утреннего майского дня, резко начертанный на фоне

каменной стены будущего дома, показался Вене совершенным. Облачко со странным и прекрасным духом сандала, лимона, кедра и еще чего-то нераспознанного Веней, казалось, висело над нею. Вот что делают с людьми фантазии молодых и голодных от любви мужчин.

Артур взглянул на Веню с несколько большим вниманием, как можно было бы судить, чем прежде, и даже уважительно кивнул, что понимает его и, возможно, ценит в известном смысле.

— Надо выпить за дам, хотя их здесь и нет, но мы думаем о них всегда, они лучше мужчин, — произнес с торжеством в голосе и безо всякой улыбки Артур.

Шауль улыбнулся широко и доброжелательно, он и по жизни был весел, чтобы не сказать легкомыслен, а сейчас (200 с плюсом коньячного напитка) и вовсе расслаблен, как рожьей пастушок овечек на западном пологом и зеленом берегу Иордана с дудочкой на обеденном отдыхе.

— Конечно, женщины много лучше мужчин, правда, Веня?!

— Да, Шауль, совершенно согласен с вами, — радостно поднял свой бокал Веня, — да.

Дойч кивнул в знак согласия, держа стакан прочной рукой как бы навеки. И все вместе с Артуром и другими присоединившимися с удовольствием выпили за женщин, как за них не выпить, и даже полнолицый в веснушках на хрупких скулах хозяин Хези поднял приветственно от стойки на высоту своих неуловимых глаз вместительную рюмку, хотя было известно, что он пьет только за курдский народ и его беспрекословного руководителя Мустафу Барзани. «Потому что я его знаю лично, наш большой друг». Изя аккуратно поставил фужер возле тарелочек с закуской. Два плюшевых молчаливых старичка от столика у входа, поглощавших рис с тефтелями и зеленым салатом без слов, отвлеклись от тарелок и кивнули. Все любят женщин. Все без исключения, кроме тех, кто их перестал любить или не любил никогда прежде вообще. Но таких мало было в те времена, и в эти тоже.

— Тут приехал один из Литвы, специалист по жилищному строительству, блочный метод, инженер-передовик, хотел внедрить советский способ строительства, не пускают подрядчики и госструктуры, представляете! — сообщил Шауль непонятым голосом, — как все здесь косо и прогнило, как глубоко все проникло, как виноваты во всем социалисты, Голды и вся эта ее партия, все эти Галлили...

— Это хорошо, что не пускают, сами справимся, без сопливых, — веско и не добродушно сказал Изя. — Мужички будут, как и прежде, носить на стройках в кирзовых кошелках щебень и цемент пешочком на седьмой этаж, так все равно лучше, чем все их методы, чем их гребаный социалистический мир и прогресс.

— Так считаешь, Изя? Уверен? — недоверчиво спросил его Дойч.

— Абсолютно, даже говорить не хочу на эту тему, ничего от них не хочу: ни магазинов, ни книг, ни прогрессивных методов строительства — ничего, — Изя говорил убежденным голосом молодого фаната.

Шауль мгновенно его поддержал, заулыбался и налил по новой и полной всем без исключения.

— Да перевешать надо социалистов на каждой ветке вдоль дороги, — сказал он веско.

И все выпили залпом. Хозяин оставил вместо себя дочь, вернувшуюся вчера из армии на выходные, славную веснушчатую девушку, тяжеловатую улыбчивую красавицу, и быстро сходил вдоль стены, мимо сидящего в закутке между домами седовласого слесаря Амира с голыми, мнущими жестяные листы в водосточные трубы руками, в винный магазин с высокими потолками Нэхемии, что наверху у самого шлагбаума. Опытным и зорким взглядом желтых курдских глаз своих он увидел, что горючее на столе русских сионистов заканчивается, необходимо было обновить, что он и сделал: сбегал, вернулся и не без торжества расставил бутылки по столу по часовой стрелке. В конце выпивки он считал им все по себестоимости, объявляя об этом и выговаривая в сторону свои слова, никто не требовал объяснений. Но до финала этого дня было еще время.

Появилась с двумя прочнейшими ташкентскими сумками, набитыми до верха, но все-равно прежняя, со сверкающими глазами Хава.

— Вот и хозяйка моя, — сказал Дойч, голос его звучал почти радостно. Почти, потому выше этой радости у него не было, верхний градус. Хава поздоровалась, без любопытства оглядела мужчин блестящими глазами и, повернув покрасневшее на солнце лицо, сказала мужу:

— Я пошла, Миша, прошу простить меня, господа, дом ждет. А так по рынку набегаешься и помолодеешь лет на пять, от всего этого восточного веселья.

Сумки она поставила у ног Дойча и ушла, даже не попробовав знаменитого свекольного кубе, действительно ей нужно было домой к любимой девочке Сарре, а не по какой другой причине. Или все-таки нет? Или папино воспитание победило в ней остальные намерения, ничего точнее сказать нельзя.

Веня был неутомим с темами и все время вбрасывал их, наслаждаясь.

— Мне вчера один предложил сыграть за рабочий клуб, можешь нам помочь вполне, звать его Цви, он сам приехал лет восемь назад из Аргентины, из штата Росарио, в Иерусалим жить, мы говорили на идише, мне так легче, и ему, думаю, тоже.

Подтверждая эти слова, он выпил еще из фужера, закусил тефтелей с огурцом и рисом, вполне подтверждая изречение безвестного питерского гения афоризма о том, что «кто не курит и не пьет, тот в состав не попадет». И закурил, выпустив дым в приоткрытое окно на белую от солнца улицу. День неизбежно настаивался на солнце, крики с рыночных рядов сюда не доносились, но гудящие на подъеме пикапы с товаром и грузовики с мясными тушами и ящиками с газированной водой вволю добавляли неизбежной пятничной суеты и гама.

Время между тем шло и приближалось к полудню.

— Если бы это был наш «Бейтар», то я бы сказал: «Конечно, да, Венечка, вступай», а к социалистам недовешанным — никогда и ни за что, — сказал ему Шауль.

Артур кивнул, что согласен, голова его откинулась опять назад, он казался удивленным в этот день.

— Да я еще не думал об этом, какой там футбол, нечего строить миражи в столичном небе, но все равно очень мне было приятно, — признался Веня смущенно. Он был, конечно, и польщен тоже такой резкой реакцией на свои слова. Дойч взглянул на Веню как на человека, сменившего важнейшую идею бытия на нечто малоприличное, небрежно. Сам он говорил Вене, побывав на тренировке каратистов в зале Бейт-Померанц совсем недалеко от его дома, если свернуть направо вниз со двора, напротив желто-каменного пустыря, принадлежавшего ООН, что «если бы был моложе и раньше узнал бы про карате, то сменил бы вид спорта немедленно». Он потряс этими словами Веню. Потом он эти слова не повторял никогда, но Веня все запомнил, он все запоминал на раз.

— Не знал вообще, что ты такой кент?! Молодец. Еще поедешь на Олимпиаду в Москву, а! Всего-то семь лет до нее, я верю, надо съездить к врагу, это мое мнение, — мнение Шауля, человека порывистого, ничего не забывшего и едкого.

Шауль поглядел на Веню своими яркими глазами бывшего фаната армейского клуба, глазами веселого человека с большими планами на жизнь.

— Ты не согласен со мною, Изя, кажется? А зря.

Дойч покосился на Изю, у того был непонятный авторитет у многих знакомых. Он не был согласен с Шаулем, считая, что тот портит парня.

— Нельзя ездить на эти Олимпиады, уже наездились.

— Так что, по-вашему, следует обнести крепостной стеной, рвами и колючей проволокой, закрыться от всех, да? — поинтересовался Артур.

— Идея верная, подходит нам, есть чем заняться, есть что делать, есть что учить, — Дойч был с лицом несколько более сильно-красного цвета, чем обычно. Еще бы. Но вид у него был спокойный.

Изя не сказал ничего и не показал своего отношения к произнесенному, сидел с нейтральным видом, как будто не

расслышал ничего. Артур пожал худыми и прямыми плечами, мол, ваше право думать так, а не иначе. Можно было решить, что он согласен с Шаулем, «надо пробиваться, дать дорогу таланту, если он есть у тебя». Веня не знал, как реагировать на это вот все. Он двигал лопатками под курткой из дорогого материала, не зная, что подумать, как будто он должен был сейчас и здесь решить про свою жизнь. Ведь уже говорили прежде, что он был наивен и не слишком прозорлив. Хотя и понимал про жизнь больше сверстников.

— Тебе самому придется решать, Веня. Тебе, и никому другому. У меня в Ташкенте остался двоюродный брат, далекий от всех моих дел, от бокса, еврейства и прочего. Но родной человек, понимаешь. Выросли вместе. Так он после Олимпиады в баварской неметчине и крови нашей, пролитой там злодеями, бегал по Ташкенту и спрашивал обо мне у ребят, вернувшихся из Мюнхена, нескольких человек: «Что там с Мишей моим, он жив?». Никто ничего внятного сказать ему не мог. Писем не было, звонить было невозможно, он не знал, что думать. И так около двух месяцев ходил с ума. Человек он был верный и порядочный, хотя и не гений. Да кто там гений вообще?! Потом он все же сумел узнать у кого-то, что все обошлось, я жив, сижу в Иерусалиме, никуда не поехал. Но укрепленные крепости на границе, расчехленные пушки и тяжелые танки — идея разумная, толковая, стоит о ней подумать всерьез, — Дойч подвигал круглым корпусом вправо-влево, ища удобного положения для себя. Наконец, определился со своим телом, остановился и застыл глыбой над столом с фужерами и тарелками.

Руки он аккуратно сложил перед собой, небольшие плоские кисти, о которых его незабвенный тренер, бывший профессиональный американский боксер-панчер, примчавшийся в Россию строить светлое будущее после великой революции, говоривший, ко всему, на идиш, Сидней Джаксон говорил: «Кулаки — как металлические шарики грамм на двести, которые прочно приделаны к тонкой веревке, к рукам, иначе говоря, руки твои — веревки на свободных шарнирах, да, ты по-

нял? И так эта история у тебя раскручивается, что соперник никогда не знает и даже не предполагает, откуда прилетает ему нокаут, с какого боку или из какой плоскости, понял меня, ингале?». Судьба занесла его в Ташкент, что, в принципе, спасло его. От чего? Известно, от чего. От всего.

Изя не смотрел на Дойча, он вообще старался ни на кого не смотреть, выбирал фразы и слова. Специальный человек. Никто его не задирает и не думал даже. Люди были добродушные. Ну, может быть, Артур выбивался, но он был слишком осторожен для каких-либо споров с Изей, понимал, что себе может выйти дороже. Именно Изя вызывал такое отношение к себе, и не только у русских знакомых, у всех без исключения.

Мимо окна заведения, как на проходе перед кинокамерой, стремительно шагая прошел вниз одетый в парадный костюм Лева Король, не видя ничего перед собой, погруженный в свои думы с питой в левой отставленной руке и с коленкоровой папкой в правой руке. Некоторый налет эlegantности в нем всегда, при абсолютно любой одежде, сохранялся. Он выглядел странно даже для Иерусалима, где сложно устроенных людей с богатым внутренним миром полным-полно. Его знали, Шауль даже махнул ему рукой, но он, красивый, самостоятельный, увлеченный собственными мыслями мужчина, которому нужны были его личные задачи, его жизнь, его существование без каких-то помех, прошел сквозь взгляды знакомых, как сквозь ненавязчивую, почти неосязаемую преграду. Кажется, Дойч улыбнулся этому торопливому странному человеку, неожиданно очень похожему в этот суетный пятничный утренний час на отставного боксера.

Параллельно, но в другом направлении, навстречу, развязным длинным модельным шагом продефилировала Йохи, тоже прогуляться в законный, заслуженный выходной, прикрывая лицо от солнца раскрытым женским журналом в левой руке, отражавшем глянцевой обложкой всепроникающие безжалостные лучи полуденного иерусалимского светила. Все было у нее хорошо, все было при ней, разве что ей недоставало белых перчаток по локоть из батиста, необъяснимый и не-

простительный промах, но понятный. Фасон сохраняла наша Света, ставшая столь необратимо и сокрушительно Йохевет, что делало ее кроткой, прелестной и агрессивной одновременно, в соответствии с неписанными канонами столичной национальной жизни.

За нею торопилась тревожным мелким шагом невысокого роста жена того самого хозяина русского книжного магазина Цаллеринга Р. А. по странной кличке Фишкот, у которого так удачно сторговал третьего дня Веня великолепные «Другие берега» в мягком переплете писателя Набокова, изданные в неизвестном ему германском издательстве. Быстрые шаги надежной жены Фишкота напоминали шаги кроткой женщины из японского черно-белого фильма о другом мире вдаль отсюда, но с некоторой необъяснимой принадлежностью к иерусалимскому суетному пятничному пейзажу. Жена торговца книгами несла мужу в прочном картонном пакете кастрюлю с едой выходного дня, которую она приобрела задешево, тогда это было дешево, в соседней лавке готовой пищи у отца известного Мордуха. Это было также замечательно вкусно, как и внешний вид хозяина, продавца и повара, похожего на беглого каторжника при делах. В кастрюле находились четыре порции непередаваемого хамина, простоявшего в духовке всю ночь, или в другом произношении — чолнта, европейский вариант блюда, ничуть не худший. Три порции предназначались для самого книготорговца, еще половина порции — для жены, и еще половина — на добавку ему, лысоватому кормильцу, на всякий случай. Да ей больше было и не надо, чем полпорции. Сколько она там сможет съесть вообще. А?!

Мы уже говорили прежде, что в пятницу в полдень на улице Агриппас можно встретить весь город, почти все его население, передвигающееся влево и вправо с различными целями и с различной выходной скоростью. Говорили? Или нет? Не так важно. Так вот, теперь говорим.

— Стихов, Веня, не пишите, случаем? — поинтересовался Артур.

— А что, похоже? — Веня сразу напрягся, его сбивали подобные вопросы личного толка. Он был непривычен к ним.

— Просто интересуюсь.

— Это мое личное дело, мое личное, как можно еще представить вам, хобби, мое и только мое, — иногда Веня, будто что-то вспомнив из жизни, обнажал острые и опасные клыки, реагируя на невозможные вопросы и чудовищное любопытство посторонних. Он немедленно стал спокоен и холоден. Были запретные темы и вопросы, возникновение которых в отношении его, на удивление легкого человека, были невозможными. Артур, человек из мира цифр, теорем, алгоритмов, не удивлялся такой реакции Вени, он ожидал нечто подобное. Удивительно, но никто из присутствующих в кафе «На троих» в это утро не замечал прозрачного течения времени, которое шло с прежней, давно установленной главным хозяином скоростью в сопровождении хорошо организованного рыночного шума, ритма и гама.

— Молодец, что поставил этого человека на место, он, что называется, отпрянул и протрезвел, хотя он и не был совсем пьяным, видимость одна. Молодец, Веня, не знал, что ты так можешь, — глухо сказал ему Дойч потом, когда они, не торопясь и легко покачиваясь от выпитого, услышанного и передуманного за прошедшие часы, шли в толпе с полными сумками к его германской салатного цвета машине в углу городской стоянки на пересечении улицы Яффо и площади Давидка. Все-таки стоит конец мая, и еще не так томительно жарко, как бывает в июле-августе, и можно поесть кислых, бесконечно вкусных плодов шесека, растущего на каменных полях окраины Иерусалима. Еще можно быть оптимистичным и кое на что надеяться.

В понедельник на тренировке в школьном зале с низким потолком и с зарешеченными окнами Дойч подозревал Веню и, притушив мутное бушующее пламя в глазах, сказал ему:

— Хочу тебя научить хорошему удару, имени Енгибаряна. Это олимпийский чемпион, большой боец. Он придумал. Я его видел в ринге, он был левша, огромное впечатление оставил. Встань в стойку. Так.

Дойч поправил руки Вене и показал, как надо бить прямой рукой снизу в подбородок на отскоке.

— Ничего сложного, неожиданно и сокрушительно, такой подарок, прямая рука, — и показал.

У него получилось именно так: неожиданно и сокрушительно.

— Нужно быть оптимистом, — сказал он, отходя в сторону.

— Научился у тебя, Миша, стараюсь быть таким, — отвечал Веня без иронии. Какая уж тут ирония, кулак в подбородке, сине-красные искры из глаз, заботливый взгляд Дойча. Удар, конечно, был отменный.

Перед тем как расстались и выпили на посошок, все расслабленные и умиротворенные, согласные с жизнью, Шаул вдруг разразился короткой историей. Он не был назидателен, просто рассказал и все.

— У меня здесь есть дальний родственник, автомеханик, золотые руки, лукавый сообразительный малый. Его отец и мой отец — двоюродные братья. Мой отец отправился прямиком в Тверь, мой родной город Калинин, а его отец поехал сюда. 1936 год, еще были возможности, купил сертификат. Этот мужик работал в порту, был членом Эцеля, подпольной ревизионистской организации, о которой мы так много слышаны. Сосед по дому (ул. Нахшон 9, Тель-Авив) донес на него англичанам, что он правый террорист, и его без суда, следствия и каких-то доказательств отправили в тюрьму в Латруне, где он просидел 18 месяцев. Вышел и вернулся. Его с трудом вернули на работу. Он сам был из Белоруссии, из городка под Минском. Они там все упрямы, эти белорусы. Лейба, отец моего родственника, умер в прошлом году. Невысокий крепкий мужичок. Бен-Гурион тогда издал приказ, что те, кто сидели в тюрьме при англичанах, не теряли в рабочем стаже. Лейба получил очередную зарплату, и стаж его в ведомости был с вычетом этих 18 месяцев. Доносчика, который сдал его англичанам, никто не трогал. Все всё знали, никто его не наказывал. Потом к нему подошел середь бела дня на Алленби неизвестный и выстрелил ему в голову из пистолета.

Убийцу не нашли, да, кажется, и не очень искали. Любовью людей он не пользовался, чего там любить, скажите. Имя его мой родственник не сохранил, по его словам. Короче, родственник мой пришел к директору порта за объяснениями, в чем дело, ведь сказано выплатить? Тот ему не глядя говорит: «А я не хочу тебе платить ничего, бандитская морда, понял меня?». Тогда этот мужичок невысокий, но духовитый, нежно относящийся к деньгам, вскочил двумя ногами на его письменный стол, взял за грудки и прошептал ему: «Мне все равно, еще одним мерзавцем на счету убитым будет больше, в чем проблема», — соскочил обратно на пол и ушел. На следующий день директор разыскал его в доке и, потрясая какими-то бумажками при всем честном народе, сказал: «Вот видишь, Лейба, все тебе выписали как надо, а ты нервничал. Почему?! Зачем?!».

Потом Дойч с Хавой затеяли купить новый холодильник, потому что у их прежнего небольшого сгорел мотор.

— В Ташкенте, небось, по двадцать лет держалось, — несправедливо ворчал Миша, он старался с Хавой сохранять единомушие.

Вызвали мастера, который все осмотрел, покачал головой и сказал, что ремонт будет стоить дороже нового холодильника. «Я сожалею», — и ушел, отказавшись от денег: «Не за что мне платить». Короче, Дойч пошел в банк, и ему дали ссуду на половину стоимости холодильника. Хаве дали вторую половину стоимости холодильника, все сошлось. Еще через день поехали в город с ребенком, Дойч с трудом нашел место для стоянки, они покатали с улыбающейся Саррой в коляске. На улице, где располагался русский книжный магазин с властным хозяином Цалерингом, рядом был магазин электротоваров. Купили большой холодильник местного производства марки «Фридман». Дверца коричневая, несколько камер, одна морозильная, белоснежная с голубизной, мечта. Расплатились наличными. Хозяин деньги бросил перед собой на столик, пообещал, что через три дня привезут им холодильник домой надежные грузчики. «Будем надеяться, что непьющие», —

сказал Дойч. Хозяин не понял, о чем речь, и сказал: «Во второй половине дня». Тогда в Израиле не слишком много пили, было жарко, все устраивали жизнь, было не до гулянок. Поверхностное впечатление, если честно, потому что кто не пил, тот и не пьет, а кто пил, тот, конечно, продолжает. Соседка говорила энергичным голосом на кухне в Ленинграде про пьяного племянника, лежащего на пороге: «Свинья, Веничка, грязи всегда найдет». Сегодня тоже в Израиле жарко и все еще трудно привыкнуть к жаре. «Неужели я в жаркой стране?» — как написал тогда поэт в Иерусалиме.

На третий день вечером из компании доставки позвонили и сказали, что холодильник привезут завтра в обед. Дойч стал ждать, приготовил чаевые и положил их в книгу «Мухаммед Али». Приехали на грузовике вдвоем вовремя. Водитель был постарше, он был экспедитором. Второй, молодой ладный мужчина в выцветшей футболке с длинными рукавами, в широких армейских брюках второго срока («суг бет») и в черных пехотных башмаках выше щиколотки. Поясница и живот были накрепко перехвачены у него армейским ремнем.

Водитель для переноски холодильника явно не подходил, он был рыхлого телосложения и совершенно выглядел как человек, оформляющий документы и ничто другое. Холодильник в деревянной раме казался чем-то неподъемным. «Кто понесет, неужели эти двое?» — удивился Дойч. Тот, что моложе, заскочил в кузов, откинув борт, и начал разбирать деревянную конструкцию. Затем подвинул все сооружение к краю и, прыгнув на землю, накинул на спину, плечи и затылок мешковину. Экспедитор осторожно подтолкнул холодильник — и тот улегся на спину молодого. Дойч, который видел в жизни многое, и не только в спортивной, не верил своим глазам. Мужчина, нагнув стан, понес холодильник в парадную ровным коротким шагом, экспедитор с бумагами в руках открывал перед ним двери и зажигал свет на лестнице. Не останавливаясь на площадках, грузчик донес холодильник до открытых дверей квартиры Дойча и сгрузил его в угол кухни. Он глубоко вздохнул, вытер пот со лба, выпил стакан

ледяной воды, ожидавший его на столе, и облокотился о косяк входной двери. Экспедитор подписал у Дойча все квитанции числом пять и позвал грузчика: «Поехали, нас ждут». В кузове находилась еще стиральная машина и что-то громоздкое, непонятное.

Дойч, потрясенный увиденным, дал экспедитору чаевые, сказав при этом, что «это вам обоим». Дойч пожал руку грузчика своей небольшой и ужасающей, тот поглядел на него и сказал: «Хорошо, что приехали, поздравляю». Лицо у него было простое, совершенно псковское, если судить на первый взгляд, только внимательный и трезвый взгляд, оценивающий человека на раз, подмечал, что кудри на затылке и висках подгоняли его крестьянский вид к местной географии. Что-то у него было с рукой, Дойч замечал травмы сразу — «проблемы с локтем» — жить ему это не мешало. Дойч заметил в накладном кармане его армейских штанов книжку в мягком переплете с названием, написанным латинскими буквами. Он не смог разобрать, что за книга и кто автор, хотел ему что-то еще сказать, но смешался (Дойч смешался (!), невозможно представить) и не нашел нужных слов. Глаза у грузчика были близко посаженные, раскосые, он был некрасив, но опасно обаятелен. Ничего зловещего или угрожающего не было в глазах этого парня. Никаких особых гор мышц у него не наблюдалось, обычный человек, чуть более складный, чем другие.

Хава, которая встретила спускавшихся по лестнице доставщиков с мусором в руках, задержала взгляд на мужчине, таскавшем на спине холодильник. Придя в дом, Хава с порога, посмотрев на сверкающие, оббитые никелем углы холодильника, сказала мужу: «А что за парень с темно-карими глазами спускался вниз, какое лицо у человека». Дойч с надеждой спросил ее, он надеялся на то, что она подскажет — и он сразу вспомнит. «А *лихтекер* *поним*, как мама говорит про таких, давно таких лиц не видела», — сказала Хава. «Да, точно. Светлая душа, я тоже так думал, только не мог определить», — Дойч посмотрел на жену с благодарностью, как делал это час-

то за их совместную жизнь, она ему очень помогала во многом. Они никогда больше этого грузчика не встречали, хотя купили еще несколько предметов в той самой лавке. С этими покупками приезжали теперь совсем другие люди. А тот мужчина пропал. Лишь однажды Дойч увидел его лицо в ежедневной газете на первой полосе в черной траурной рамке, и ему показалось, что это тот самый незабываемый курчавый парень с псковским лицом. Но Миша быстро эту мысль отогнал от себя (старший офицер, полковник, грузчик, что за бред, Михаил), потому что такого быть не могло никак и никогда. Он был очень наивен, этот Дойч, при всех его других качествах, мог себе позволить. Мы этого позволить себе не можем, мы другие люди, у нас нет времени и сил на наивность. Тогда, вспомним, еще не было закона в Израиле, обязывающего всех пристегиваться в машине. Не было штрафов за это нарушение правил дорожного вождения, да и самих ремней безопасности не было. Другое время, другая действительность, другие законы, одна страна.

Потом Дойч очень жалел, что не подарил этому парню старый тяжелоатлетический ремень, который привез из Ташкента. Ремень мог пригодиться тому парню в его работе, он отлично держал спину. Но Дойч постеснялся лезть с подарками к посторонним людям. Мысль о судьбе того парня с холодильником на спине возвращалась к Мише Дойчу регулярно: как он, как живет, живет ли вообще, и что с ним стало. И если с ним что-то случилось, как он думал, то почему, зачем и за что? Других, что ли, нет? А получается, что нет. Даже рэб Йозлю этих вопросов Дойч не задавал, хотя степень доверительности у них была очень высокой. В эту тему, тему чужой судьбы и чужой жизни, Дойч не входил интуитивно.

Все у него в жизни шло урывками, спокоен он не был. Занятия с рэб Йозлем приносили ему нужный градус и направление. Проза, написанная ночью за столом в углу гостиной, не всегда казалась ему хорошей. Это тревожило его. Дочка Сарра утром радовала его жизнь, приковыляв к нему и улыбаясь отцу, смягчала взгляд и успокаивала. Хава ста-

вила перед ним кружку крепкого чая, уходя с ребенком в садик и на работу, Дойч начинал в десять утра в 10 «б» и мог выехать позже.

Аркашу Циммермана он не встречал и не разговаривал с ним, это мешало Дойчу очень. Этот Циммерман был отменным человеком, замечательным просто, жена его Рая тоже относилась к значительному числу таких людей. Когда он бежал из Ташкента из-за своего характера и непредсказуемой реакции на обиды, Дойч, мы уже писали об этом, нашел пристанище во Львове. Аркаша приютил его, привел в свой клуб, где старший тренер, небольшой собранный мужчина с разбитыми ушами, с короткой челкой, в шароварах с напуском, с умеренным счастьем на лице от жизни, на месте сказал: «Беру тебя, Миша Дойч, не спрашиваю подробностей, они мне не нужны, держи их при себе, дай паспорт — пропишу». Тренер видел его прежде в ринге, рекомендации были ему не нужны. Мнение Циммермана тоже было важным. Да и помочь человеку в беде было неписанным правилом в кругу этих людей. Дойч часто говорил, что самые боязливые люди из всех — это боксеры. «Тени боятся больше жизни». Кажется, он все-таки шутил, понять лучше было его нельзя.

Тренер внимательно оглядел Циммермана веселым украинским взглядом, остался очень доволен увиденным и сказал: «Молодец, Аркадий, я в тебе не ошибся, своим нужно помогать», — и пошел из стучащего кулаками по мешкам зала прочь, оформлять в паспортный стол совершенно не умеющего сдерживать свои реакции Дойча на жизнь во Львове.

То, что он не помог Аркаше и Рае и просто отказал им в помощи, сидело в Дойче тяжелой занозой, которая тревожила его постоянно. Иногда он злился на Аркашу: «Ну, ты же знаешь, что я не могу врать на клятве, зачем ты просил меня сделать это, как ты мог?». И тут же оправдывал его: «Невозможно отказать жене и дочери, вот и пошел к другу в надежде на помощь, кто еще мог кроме меня ему помочь, бедняге». Несколько раз он собирался ехать к Циммерману, собирал пакет с коньяком, пирожными и шоколадом, но останавливался на поло-

вине пути. «Что сказать ему? Как?» — и возвращался домой. Хава ничего не замечала или делала вид, непонятно. Но переживала эту ситуацию, совершенно точно.

К счастью, ежевечерние походы Дойча к рэб Йозлю на занятия при всей их машинальной предопределенности давали ученику замечательное владение правдой или подобием оной. Так или иначе, Дойч не давал комплексам и грусти овладевать собой. Ему было, чем заняться, всегда. Даже высматривая прохудившиеся подошвы или стоптанные каблуки у знакомых, он хищно набрасывался на башмаки и босоножки, подбивая, подшивая, заклеивая и починая обувь. Однажды соседка принесла туфли своей мамы, которые были дороги ей как память, и Дойч, внимательно осмотрев туфли, неодобрительно поджал губы, покачал головой, но промолчал. После этого аккуратно все подшил, сменил подошву и поправил каблуки. Денег не взял, посмотрев на движение — ей они были нужнее — с которым она доставала кошелек из сумки. Слава Богу, деньги есть, чужого не надо. Женщина, прежде с трудом здоровавшаяся с ним и Хавой, теперь стала поклонницей («ах, какой человек!») и, можно сказать, другом. В пятницу принесла им большую тарелку чего-то печеного. «Это спиндж, наше лакомство, не обижайте меня, возьмите». Дойч взял тарелку со спинджем не без раздражения, ну, какой спиндж, кому это надо?! Спиндж оказался чудным сладковатым тестом, его можно было есть всегда. Вот тебе и урок, Дойч, не заносись со своим надменным, абсолютно бесосновательным взглядом на то, что вокруг. Не сам живешь.

Дойч всю жизнь, если по самому верхнему счету смотреть, ничего главного такого не делал. Теперь вот он, как ему верно казалось, наверстывал упущенное в Иерусалиме. Дойч в глубине души не верил в смерть, не верил, что когда-нибудь умрет. У него были грехи перед собой, своей совестью, перед Создателем. Чего стоила, к примеру, та жуткая встреча в автобусе в Ташкенте, после которой он все-таки успел счастливо сбежать во Львов к Циммерману. И другие разы меньшего значения. Но он, человек совестливый, несмотря ни на что,

как-то справлялся со всем этим тяжким грузом. История с Аркашей Циммерманом и его женой Раей подкосила душевное равновесие, ничем не передаваемое чувство свободы, обретенное здесь, псевдогармонию его.

Веня познакомился с девушкой. Это произошло случайно, но он увидел в этом знакомстве некий знак судьбы. Она опрашивала его про отдельные факты биографии, по месту работы, на которую он пытался устроиться. Психологическое собеседование, что ли. Девушка была одета просто, безо всякого вызова, так одеваются женщины на хорошей работе в Иерусалиме. Тогда так одевались в столице, наверное, и сегодня тоже, не знаю. Какая-то кофточка, чуть ли не сарафан с закрытыми плечами, скулы, чистая кожа, зелено-синие разные глаза, она несколько напряженно пыталась быть деловой и собранной. Ей это удавалось с трудом. И Веня с ивритом, который, кажется, у него был, но который был далек от совершенного, такого, скажем, как у Артура или Изи. Но уж что есть. Они понимали друг друга прекрасно, как ни странно.

Она взглядывала на него внимательным изучающим взглядом, тут же отводя глаза на бумаги, лежавшие на столе.

— А вот тут сказано, что вы долго работали администратором в котельной, сутки через трое, что это за работа, Вениамин? Три года жизни, много, нет?

Кажется, она понимала русский язык, иногда у нее прорывались слова тут и там. Веня наслаждался ее голосом и видом, правда. Она была опасна, конечно, но после капитана ленинградской конторы Виктора Сергеевича Андреева, человека с вежливым голосом, университетским значком на лацкане пиджака, светлыми глазами и нейтральным поведением отдыхающего от трудов непризнанного советского драматурга, эта девушка казалась ангелом, спустившимся поболтать за жизнь и отдельные перипетии ее. Она и была ангелом. Виктор Сергеевич Андреев настойчиво желал поговорить с Веней Рокахом («ваша фамилия склоняется вообще, Вениамин?») о его будущем.

— И вас не обижали там злые люди? В комсомоле? В народной дружине? В профсоюзном комитете? — она была участлива и мила.

— Обижали, но не очень сильно. Я совершенно не участвовал в политической жизни, — сказал Веня доброжелательно.

Она кивнула и сделала пометку в своем блокноте с красной коленкоровой обложкой.

— Вы в Израиле больше двух лет, господин Роках. Почему у вас нет заграничного паспорта? — спросила женщина, глядя в свой блокнот. Волосы у нее были сложены на голове, как у какой-нибудь фрейлины двора. Сияющее лицо. Глаза разного цвета, сине-зеленые. Слабые и гибкие руки. С ума сойти.

— Не знаю, не думал об этом. Зачем? — пожал плечами Веня. Ни у кого из его знакомых не было заграничного паспорта, никто на эту тему не думал. У Артура вот был такой паспорт, но это было по работе, а так неизвестно. Он-то как раз, Артур этот, мог сразу побежать заказывать заграничный паспорт, деньги были, в Париж съездить за книжками. Купить комплект «Современных записок» под редакцией несчастного масона Ильи Фондаминского с неполным романом «Дар» и другими русскими повестями и рассказами В. В. Набокова. Артур, надменный сложный человек, был фанатичным поклонником Набокова. Но не будешь же все это объяснять этой чудесной молодой даме, так старающейся быть при деле.

— Почему вы уехали из СССР в Израиль, господин Роках? — спросила девушка. Она таинственным образом напоминала образ женщины, который возник у Вени в юности еще в той жизни. Такая, с ума сойти, израильская Аглая.

— Надоел Союз, можно помереть от скуки, не поверите, и я еврей, ко всему, не желал стесняться имени, внешности, языка, — Веня, вообще человек довольно закрытый, был откровенен с нею. Причины этого были неясны ему.

— У вас были контакты с организацией под названием «кагебе», прямые или косвенные?

— Не знаю наверняка. Кажется, нет. Кому я был нужен, я человек асоциальный, — сказал Веня.

— А у ваших друзей были такие контакты?

— Друзей у меня было немного, думаю, что контакты были косвенные и малообязательные, кому они нужны, мои друзья, все они были совсем неважными для общества, по мнению начальства.

— Что же, вы не думали о карьере совершенно? И ваши друзья тоже не думали о ней?

Веня очень хотел сказать этой милой женщине, что большинство друзей его думало о том, как выпить с утра стакан другой портвейна, погулять по городу, навестить кого-нибудь и так далее. Он не сказал этого, чтобы не пугать даму. Он хотел произвести впечатление на нее.

— А в комсомоле вы состояли?

— Нет, не состоял, о карьере не думал, я не карьерный человек был там и думаю, что остался таким. У меня подавленное эго и желание подъема по карьерной лестнице.

— Вы знаете еврейский язык? — она явно удивлялась его ответам.

«Что она имеет в виду? Надо что-то придумать и пригласить ее погулять вечером», — думал Веня.

— Иврит я только учу, у меня есть друзья преподаватели, и этот язык звучит вокруг, мне нравится родная речь, ее звук. Идиш я знаю неплохо из дома, — сказал Веня.

— Как здорово, — не сдержалась женщина.

Она легко улыбнулась, и Веня сказал:

— Может быть, увидимся вечером? Научите меня новым словам.

— Каким словам?

— Жизнь, любовь, надежда.

— Не получится, я сегодня занята. Но вот если завтра вы можете, то, конечно, с удовольствием.

У них получилось все или почти все. Любовь побеждает всегда, и мы ей покоряемся, как примерно сказал кто-то властный. Это так, и это правда.

Вене еще не исполнилось двадцать шесть лет. Ей было года двадцать два – двадцать три. Потом выяснилось — два-

дцать два. Изя увидел ее, они все вместе случайно встретились на перекрестке Яффо и Кинг Джордж, остановились поговорить, отойдя в сторону. «Вот и судьба твоя, Веня», — сказал он в конце разговора. Изя понравился этой женщине. Ее звали Талья. Она сказала про Изю с удивлением: «Никогда таких не встречала, особенный человек».

Веня вернулся к тренировкам у Дойча, делая это с удвоенной энергией и каким-то остервенелым напором. Он был возбужден, энергия бушевала в нем, что видно было невооруженным взглядом. Дойч, уже потерявший надежду сделать из него настоящего бойца, не переставал удивляться. «Надо же, что случилось, Вениамин? — спросил он его на обратном пути домой. — Никогда таким тебя не видел, в чем дело?». Веня помолчал и ничего не ответил, хотя у него и крутились слова: «Любовь, что же еще». Но он почему-то решил, что говорить этого Дойчу сейчас не надо, не заслужил, наверное. Кто не заслужил точно этого слова сказать или услышать, Веня определить бы не сумел, если бы у него спросили. Никто не спрашивал, и хорошо.

Дойч позволил себе обмануться, очень хотел обмануться в отношении Вени. А ничего по сути дела не изменилось, как человек рождается — так он и умирает, это известно. Дойч поставил его в спарринг с Коби Рабби, который за эти месяцы осень сильно прибавил и работал умно, решительно и жестко. Без особой фантазии, не гений, конечно, но прочный малый, себе на уме. Семнадцать лет. На будущий год идет в армию, а пока вот старается бить и бить.

Веня был на полголовы выше, внушительнее, руки длинные, достать его было тяжело. Он пер вперед как бульдозер, имел явное преимущество, Дойч хотел остановить бой, нечего детей топтать, дорвался, молодой человек. Силы были неравны. Но в боксе все сложнее, чем в настоящей жизни. Коби выбросил левую руку, остановил Веню и нанес поверх защиты прямой болезненный удар правой в лицо ему. Это было то, что надо было сделать ему. Сам решил, сам поступил. Веня остановился, захлебнулся отвратительной сладкой струей крови и

согнулся от боли. Коби смотрел на него торжествующе и жалостливо: вот, справился со здоровенным взрослым парнем, не ему чета. Сам он тоже был здоровым, но до Вени Рокаха ему было далеко во всех смыслах. Коби выиграл честно за полным преимуществом.

Дойч был очень недоволен.

— Просто не верю. Приходит человек с улицы, бьет тебя в лицо — и все кончено, ты что?! Так быть не должно, поди умойся, ленинградский Формен. Должен был посадить его на зад на второй минуте. На, ваткой нос заткни.

Веня кое-как добрался до раздевалки, осторожно умылся холодной водой и присел в углу. Голова у него кружилась, в глазах оранжевые всполохи, боль, тревога. Коби набросил на него мокрое полотенце.

— Не надо мыться, возьми рубаху — и поехали домой, там полежишь, положишь лед, синяк повисит пару дней, смени окраску — все пройдет, — сказал ему Дойч.

Он был спокоен. Видел много, понимал тоже немало, что тут еще говорить. «Не дано парню, ничего не поделать». Высаживая Веню у дома, он поправил у него на плечах мокрое полотенце и добавил хрипло:

— Ты не победитель, Роках. Не всем же быть такими, это часть жизни, можно жить и так.

Веня кивнул, что знает про это, и попытался улыбнуться ему, несмотря на головную боль и синие и оранжевые огни в глазах. Тренер быстро укатил вперед на своей германской колеснице, рванув с места, как на соревнованиях по автогонкам. Может быть, огорченный донельзя Дойч всего этого и не сказал вслух, а только подумал. Но Веня поднялся домой с этими словами в голове и с тем, что это правда.

Талья, увидев его, сказала Вене:

— Бедный мой, бедный, хоть за правое дело получил, — и погладила его по лицу. Все сразу прошло: головокружение, боли, синие круги перед глазами.

Она относилась к нему хорошо, к этому странному парню, непохожему на ее друзей по средней школе в городке разви-

тия, которые стали в результате наивными мачо, неловкими ухажерами, смешными мужчинами с комплексами и молчаливыми солдатами с невыносимыми, охраняемыми клятвой государственными секретами.

Веня не знал, что написала Талья о нем в отчете после их разговора, он предполагал, что отзыв ее был неплохой. Его приняли без испытательного срока. Он начал работать в архивной организации, перекладывал пыльные папки, классифицировал их, наводил порядок там, где его не было. Пол подмел и вымыл. Уборщица ворчала и перемывала все. Никогда такой чистоты в архиве не было со дня его открытия. Вене все это нравилось, он читал министерские отчеты из прошлого, разбирал почерки, резолюции правительственных комиссий, докладные записки и тому подобное. Он был настоящий архивариус, чему там Дойч возмущался? Вот частичное объяснение вам. Иврит Вени прогрессирует, Талья контролировала его работу и повторяла: «Ты на верном пути, мой мальчик». Она заботливо подарила ему семитомный словарь бывшего минчанина Авраама Эвен-Шушана, с трудом донеся такой груз до дома. Веня был тронут этим поступком своей женщины.

Они жили вместе на первом этаже на улице Линкольна с односторонним движением, выходившей к лучшей в столице и самой знаменитой гостинице в ней — «Кинг Дэвид». Веня начинал рабочий день раньше ее и выезжал совсем рано утром, сразу после семи, выходил по холодку мимо вьющихся сиреневых буйных зарослей бугенвиллий в палисадниках невысоких домов до Керен Аесод и садился в автобус на предпоследнее сиденье возле огромного, чистого до радужных отсветов окна.

С Веней в одном автобусе обычно ездил еще один русский новоприбывший, работавший в соседнем с архивом здании, кажется, в охране. Они обменивались немного тревожными и вопросительными взглядами, какими обмениваются русские новоприбывшие при встрече, кивали друг другу, никогда не садились вместе. Немолодой близорукий мужчина с гладкой, волос к волосу, прической, с тучной ше-

ей, одетый в бежевый пиджак с чужого плеча, тоже, вероятно, любил сидеть у окна с другой стороны прохода. Он усаживался, расстегнув пуговицы на пиджаке, и они ехали молча. Да и о чем им было говорить, что обсуждать, какая тема могла их объединять? Об ужасах кровавого режима коммунистов они уже выговорили все и всем, говорить устали. Хотя, справедливости ради, заметим, что Веня не говорил о советской жизни с надрывом. У него жизнь там выглядела обычной и скучноватой, стылой какой-то.

Но некоторые совсем не радостные факты из той жизни напугали и в его память врезались навсегда. Он об этом не рассказывал, потому что это казалось ему лишним, ему было тяжело об этом просто вспоминать, а не то что рассказывать. Наверное, и поэтому он не стал тем победителем в боксе (в жизни?!), которого мечтал и желал сделать из него Дойч. Но точно, конечно, неизвестно.

Дойч набрал силу и популярность в своей прозе, на него обратили внимание. В Париже переводили его роман, в Англии тоже заинтересовались, все было хорошо. Предсказания Давида Яковлевича и его молодых суровых друзей в Ленинграде начали сбываться. Рэб Йоэль тоже одобрительно отзывался о его усилиях в изучении Книги. Что говорить! Иногда он думал о себе хорошо, называя себя возможным наследником писателей, которыми восторгался в молодости. Он запрещал себе даже мысленно называть их (писателей) имена, считая это неприличным и нескромным занятием. Кто я такой?! Права у меня никакого на это нет. Но все-таки, не зря ведь все это я затеял.

Уж скромным его назвать было невозможно, если вспомнить усилия, приложенные им для того, чтобы подняться наверх в таблице о боксерских рангах. Он терпел физическую боль, через не могу гонял вес, старался победить усталость, которая буквально сражала его. И это невесть откуда взявшееся писательство, которое покорило его душу наповал. И потом, эти поездки к рэб Йоэлю за правдой и истиной, за которые он отдавал все, что у него было: терпение, сердце, страсть.

Все равно чего-то ему во всем этом недоставало, чего — было непонятно. Это мешало его уверенности, спокойствию, равновесию.

Дойчу нужно было поехать в Тель-Авив по литературным делам, и он уговорил Веню взять отгул и поехать с ним вместе. «Вдвоем веселее. Может быть, тебе интересно, кто что знает, когда-нибудь пройдешь по чужим следам», — сказал Дойч Вени, сам не очень веря в правдивость своих слов. Ну, какие его следы может повторить этот парень, не могущий справиться с каким-нибудь начинающим хрупким мальчиком. Хотя Дойч поглядывал на этого Рокаха с некоторым интересом — парень был для него все же загадкой. У него была иная лексика, другой язык, как русский, так и иврит, Дойч все это слышал и чувствовал, Вени Роках был человеком другой поэтики, и Дойч это понимал. Но литература была не для него, точно. Бокс нет, литература тоже, конечно, нет, а что же тогда, да?

А вот архив ему наверняка подходит, как лайковая разношенная перчатка на руку. Не больше того. Высеченную из сухой плоти, как бы лепную кисть Вени Рокаха хвалили за необъяснимый великолепный рисунок и молчаливый Изя, и нервный Шауль, даже опасный, всегда трезвый Артур что-то такое бормотал про непонятно откуда взявшееся аристократическое откровение. «Кисть эта и ее форма не значит ничего», — говорил себе Дойч совершенно справедливо. Но когда случайно познакомившаяся с Венией Йохи повторила что-то свое дурацкое про «необычный какой этот юноша, а вроде бы, как все», Дойч что-то сообразил. Как будто совпали и сошлись разные части лего — и выросла фигура из какого-то непонятного материала. Но это все лирическое отступление.

Вени, все понимая, относился к Дойчу хорошо. Как говорится, в одно ухо у него входило, а из другого выходило, не задевая. Он помнил и реагировал спокойно на реакции Дойча. И это тоже задевало того, так же как и все гласные, которые так отчетливо и раздельно выговаривал Вени в русском и в иврите, который у него несказанно прогрессировал из-за отношений с Тальей. Откуда что берется, а?! Иврит же Дойча

выглядел несколько натянуто и даже искусственно, несмотря на все его усилия. В чем-то он не дотягивал, до уверенного и легкого произношения слов и фраз. Речь Вени Рокаха была свежа и весома, и к месту, хотя он часто шутил по поводу и без оного. Иногда он бывал неожиданно бледен, как будто отключался от радости существования. Это происходило, наверное, от усталости или еще от чего, что напрягало Дойча тоже. Дважды Андреев сказал Вене, что ему стоит жить в Хайфе, там много заводов и возможностей трудоустройства. «Много русскоговорящих, они мягче других будут, душевнее, — сказал Андреев и щелкнул дорогой авторучкой, которой гордился, что ли. — И если встретите там человека по фамилии Нежин, то он вам поможет с работой и советом, он там давно живет, умен и скромн, и, кажется, честен, не думайте», — подчеркнул Андреев. Имени Нежина он не назвал, подчеркивая тем самым, что найти его проще простого. Он стоит на площади перед поворотом и кричит во весь голос: «Я — Нежин, вот он я». Веня на месте решил, что в Хайфу не поедет ни за что, что за бред несет этот капитан, послушай от такого совет — и поедешь в тартарары, это он знал хорошо. Ни о каком Нежине он и слышать не хотел, забыл на месте.

Они встретились в 9 утра на площади Сиона под стук отбойных молотков и громыхание грузовиков, съезжавших здесь же вниз на стройку в распахнутые ворота. Такси на Тель-Авив отходило постоянно от площади по мере наполнения пассажирами числом семь. Все машины были марки «Мерседес», были буро-красными, запыленными, и казались обугленными из-за тяжкой дороги, около 70 км пути в одну сторону. Один час 15–20 минут езды, проблемы въезда в Тель-Авив. Все машины были ведомы немолодыми косматыми шоферами с огромным водительским опытом и лужеными глотками. Деньги они брали с пассажиров не считая, взвешивали монетки в ладони и сыпали их в открытую жестянку из-под леденцов с красивым звуком звенящего средиземноморского богатства.

Дойч и Веня сели сзади вместе, рядом с ними поместилась еще худощавая дама с большой сумкой — она ехала на рынок

Кармель, там было дешевле или там был какой-нибудь друг семьи с мясным прилавком, или даже дальний родственник по материнской линии со всем, чего душа желает: фрукты, овощи, персидские плотные хлеба, копченые индюшачьи хвосты, желто-спелые тушки проживших свободной жизнью кур и даже терпкое вино из Гамлы. Все это было и в столице на рынке Махане-Йегуда, но в Тель-Авиве, считалось, согласно устойчивому мифу, что стоило дешевле.

Под ветровым стеклом такси лежали черно-белые фотографии раввинов из Касабланки и Багдада, лидера оппозиции Бегина, польского очкастого джентльмена из Пинска, затем доходяги зэка из сталинского лагеря под Вологдой, а также обязательное цветное изображение плачущего семилетнего мальчика, ронявшего слезу на розовую щеку. Всегда было несколько разного возраста пассажирок, отправлявшихся из дома в столице в неведомые приморские дали. Водила включал магнитола и мчал на скорости 140 км в час на спуске из Иерусалима к Шорешу под сильные звуки кудрявой музыки местных голосистых любимцев.

Женщины тихо охали от скоростных упражнений Цахи или Хези, похожих на борцов сумо, тех из них, кто, оставив свои занятия, так и не сумели похудеть на те обязательные 30–40 кг, или даже все 50. Обычно отставники сумо худеют, выйдя на пенсию, посредством строжайшей диеты на грани голода. Этим шоферам и не надо было худеть, им было и так хорошо со своими животами в своих автомобилях с навсегда отключенными кондиционерами, для экономии или еще почему. «Нету, испорчен», — обычно отвечали они редким любопытствующим. Но кондиционеры на таких скоростях и при открытых окнах, если честно, и не очень нужны, потому что и так прохладно, даже холодно на сквозняках, даже при 32 градусах жары. Ни разу никто не смел пикнуть против скорости и музыки, потому что себе дороже, и потом — страшно. Дойч, понимавший восточную душу, как никто, только усмехался и молчал. Веня заметил, что он похож на этих матерых шоферов, только не обросший диким мясом и без живота, а так — ко-

пия, и все больше молчит. Он благоразумно не сказал об этом Дойчу, он вообще не любил никого обижать без надобности. Проблематичное сравнение — серьезный фундамент для скандала и обиды, он хорошо помнил чьи-то слова.

При въезде в Тель-Авив ждали в пробке девятнадцать минут, но потом потихоньку тронулись — и до автовокзала, в просторечии ЦАС (Центральная автобусная станция), добрались быстро. Оттуда пешком еще минут пятнадцать — и, свернув с главной улицы налево, оказались в тенистом переулке с деревьями, кустами вдоль тротуара. Зашли в палисадник и по разбитым плиткам добрались до парадной. На втором этаже была открыта правая дверь единственной квартиры. На двери изнутри была наклеена надпись, сделанная из вырезанных газетных букв: «Гость, тебе здесь будет хорошо: здесь удовольствие — высшее благо».

Веня запомнил и одобрил. Дойч прочел на ходу и хмыкнул, зайдя в большую комнату, заваленную как попало газетами, журналами, книгами и папками. Все это было навалено друг на друга. Два стола завершали интерьер. За узким столом при входе сидела женщина, укутанная в шаль, с папиросой в руке и пачкой исписанных от руки листов в другой. Пепел папиросы падал в глубокую тарелку. За вторым столом сидел сухопарый мужчина и, подперев рукой подбородок, неподвижно смотрел в окно на куст лавра. У него было скептическое, даже недовольное выражение узкого волевого лица. Он не был внешне похож на эпикурейца совсем, так что появление знаменитой фразы Вергилия на входной двери объяснить любовью этого мужчины к удовольствиям было невозможно.

— А, Миша, здравствуйте, проходите, — показал мужчина рукой Дойчу. Веня, касаясь стен плечами, топтался в прихожей, которая была похожа на закуток в коридоре тюрьмы для того, чтобы прятать друг от друга заключенных. Метр на метр — стой и жди. Дойч не знакомил никогда никого ни с кем: сам живи как знаешь. У него был свой интерес, своя страсть, в которой больше не было места ни для кого.

— С чем пожаловали, господин Дойч? Давно не виделись, — мужчина поднялся на ноги и оказался высокого роста суровым костистым дядей с колючим пугающим взглядом, настоящий литературный редактор. Эти люди всюду остаются похожими на некую давно сработанную модель литературного руководителя, что в Тель-Авиве, что в Москве, что в Ленинграде, что в Париже.

— Привез вам повесть и три рассказа. Все новое, никуда не предлагал, — торопливо сказал Дойч. Он раскрыл свою папку и извлек рукописи, скрепленные каждая отдельной стальной скрепкой, отсвечивавшей от любого источника света.

Поясним, что это была редакция толстого литературного журнала, который выходил в Израиле на русском языке с перерывами уже много лет. Сейчас был назначен новый главный редактор, добавлен бюджет и ставка литсотрудника. Два профессора-советолога числились консультантами. Художник, приехавший из Москвы и уже продававшийся в Париже, нарисовал по просьбе министра репатриации эскиз обложки тремя стремительными движениями угольного карандаша. Все пришли в восторг, обложка напомнила самые смелые и прогрессивные молодежные издания в метрополии. Отправили через сидевшего с ним в лагере человека просьбу к опальному писателю Солженицыну о сотрудничестве. Ждали ответа с оказией через верного человека. Короче, новая жизнь, новые надежды. Дойч, узнавший про перемены и новые веяния в тель-авивской литературной жизни, срочно собрался и поехал наводить мосты, налаживать связи.

— А этот молодой человек тоже писатель? Поэт? Может быть, критик, а? — спросил главный редактор, а костистый человек с суровым взглядом был именно им, новым главным редактором.

Дойч посмотрел на Веню, предоставив отвечать ему самому: «Взрослей уже, пацан».

— Нет, я не имею отношения ко всему этому вами названному, я приехал с Михаилом по-дружески, безо всяких амбиций и каких-либо надежд, — ответил Веня редактору, кото-

рый не представился и не поздоровался, считая это делом второстепенным и ненужным. Дойч поджал губы, считая разговор Вени и редактора законченным. «Действительно, что воду толочь зря».

— Я ведь тоже приехал в вашем возрасте через Польшу лет шестнадцать назад, мой отец был польский подданный. Он бежал от немца в СССР осенью 39-го. Я много здесь чего повидал. Так что подумайте. И смотрите, нам нужны новые молодые силы, свежий взгляд на израильскую жизнь, вот, возьмите мой телефон, кто что знает, все может случиться, — и он протянул Вене картонную карточку со своим именем на двух языках и номером телефона. Его звали Зеев А. Нежин. Он жил здесь давно, чувствовал себя хорошо. Его русский язык был прекрасен, как и иврит, как и его надежды, которые он боялся спугнуть.

Веня начал поворачиваться, чтобы уходить.

— Надпись значительная на дверях у вас, остается только похлопать, — сказал он редактору.

Женщина с папиросой, которая промолчала все время их встречи и намеревалась, судя по ее виду, молчать и дальше, брезгливо перевернула страницу. «Я с такими не разговариваю, не моя аудитория, а текст я читаю нетленный», — говорило ее серьезное лицо.

— Здесь раньше был дом терпимости, но соседям не понравилась вечная толкотня и шум на этаже, они пожаловались, пошли проверки, и хозяин срочно продал квартиру. Мы и использовали этот шанс: чудное место, все довольны и счастливы, — охотно поделился редактор своей радостью.

Женщина в шали с папиросой продолжила курить и читать, все происходившее ее не касалось. Нежин энергичным движением открытого диалогу и взаимопониманию столичного интеллигента пожал по очереди Дойчу и Вене руки своей сухой и сильной рукой разночинца. После этого расстались, кажется, к взаимному удовольствию.

У входа в парадную вдоль стены прохаживались две заросшие пером курицы с мохнатыми ногами и огромный кло-

кочущий петух черно-красного оперения, сгонявший своих подруг в угол, огороженный зеленой сеткой. Курицы ворчали, плохо слушались, но силы были неравны. Петух, глаза которого горели адским пламенем войны, оглядел Дойча и Веню, отряхнул острейшие шпоры, шагнул в их сторону, никаких агрессивных действий не предпринял, но звучал бешено и возмущенно. «Вы кто такие? Вы откуда пришли? Я с вами не знаком. Идите, пока целы». Дойч покачал головой: «Конечно, с тобой, брат, надо ладить», — и вышел на тротуар, за ним поспешил Веня, ссориться с этим петухом выходило себе дороже, да и зачем, когда вокруг его двор, его родные куры, его жилое пространство, его истоптанная сильными ногами земля.

«Все-таки это Тель-Авив, а не Хайфа. И он совершенно не похож на советского агента, никакого напряжения. Сказать Дойчу или нет? Вот приедем домой, и я решу. Докладывать никуда об этом Нежине не буду, что тут докладывать», — судорожно успокаивал себя Веня. Настроение у него резко испортилось, он был растерян. Дома он посмотрел телефонную книгу, и в одном Тель-Авиве было три страницы Нежных. Гитлеров — две страницы, а Ивановых было не счесть. Правда.

На маршрутное такси была очередь, и решили поехать в забегаловке, напротив кинотеатра с порнографическими фильмами. Там тоже была очередь, но она двигалась много быстрее, чем на такси. Салаты можно было брать без ограничений, и народ торжествовал с питами, полными нарезанного мяса и соленых и просто нарезанных овощей. Здесь был для многих завтрак, обед и ужин. Группа парней подозрительного вида крутились рядом со входом день и ночь, но все было под контролем негласной охраны, никто и пикнуть не смел. Всех кормили здесь, в этом месте.

Несколько молодых людей, братьев или просто хозяйских родственников, все время подносили лотки с новыми порциями салатов, держа все на вытянутых голых руках со смуглыми длинными мышцами. Тот, что постарше, нарезал с вертикального вертела мясо гибким ножом и, наполняя хлеба до предела, передавал их страждущим и голодающим, не глядя

в их глаза и лица, чтобы не уставать излишне от посторонних эмоций. Он видел ежедневно сотни и тысячи лиц, жаждущих жареного мяса с перцем, уставал от них всех невероятно. Они пили его энергию стаканами. Даже картина очень больших денег, которые другие братья приносили в конце рабочего дня в ведре для подсчета, не снимала с него усталости.

Рядом, за углом на Неве-Шаанан, была турецкая забега-ловка, в которую Дойч не шел из соображений кашрута. Но посмотреть там тоже было на что. Все здесь происходило на глазах у зрителей-покупателей, подогревало аппетит. Рыжебородый лысый ясноглазый улыбающийся турок театральными движениями крошил сверкающим лезвием, не глядя вниз, лук, зелень, помидоры и стручки перца. Сначала он это резал-крошил в одну сторону, затем в другую. Получалось кашеобразное крошево. Потом он лихим броском добавлял к получившемуся крошеву куски мяса, с которым он разбирался другим ножом, большим, похожим на пилу с двумя ручками — только красные клочки летали по сторонам как погибшие маленькие птицы колибри. Зрелище, конечно, было завораживающее, попробуй не зайди и не поешь. А нет, нельзя. Не всем можно.

— Так ты что, Вениамин, действительно ничего не пишешь? Не может быть, впечатление создается, что сочиняешь ночами чего-то, да? — спросил Веню Дойч уже в дороге.

— Нет, конечно, ты что, мне есть чем заниматься, я — начинающий архивариус средних лет, — отвечал Веня легкомысленно. И Дойч, как казалось Вене Рокаху, вздыхал с облегчением и отворачивался к открытому окну за освежающим глотком воздуха. Потом говорил:

— Удачно съездили, да, Веня?! — Дойчу всегда нужно было подтверждение того, что все сделано им верно. — У тебя все зажило, никаких синяков не осталось на лице, молодец, я же говорил.

Ничего он не говорил такого особенного, просто захотел сделать приятное нерадивому ученичку. Подъезжали к Кастелю.

Такси сбавляло скорость, мощи его не всегда хватало на крутые подъемы. Шофер Хези приоткрывал свою дверцу, высовывал наружу ногу с могучими мышцами и, как на самокате, отталкивался от раскаленного асфальта ступней сорок седьмого размера в разношенном незашнурованном кроссовке, сработанном сапожниками в болгарской мастерской возле блошиного рынка в Яффо. Но даже нога Хези не всегда помогла в наборе мощи маршрутного такси на подъеме к Иерусалиму, потому что есть вещи непреодолимые. Такие вот сцены можно наблюдать на запруженном первом шоссе после обеда в июне месяце, господа.

Дойч, которого трудно было назвать полиглотом или культуртрегером, неожиданно вспомнил, как бы осененный, что в кармане у того грузчика с псковским лицом, который так удивил его и окружавших его людей, была книжка в мягком переплете. Все сошлось у Дойча с этим таинственным парнем. Латинскими буквами на книжке было написано имя автора — Уильям Йетс. Дойч не знал, кто это. Он посмотрел энциклопедию, которую ему принесла Хава из университета, и прочитал об Уильяме Йетсе следующее: ирландский англоязычный писатель, поэт, драматург, выдающийся деятель западноевропейской литературы XX века. Лауреат нобелевской премии по литературе 1923 года.

Он рассказал об этом Вене. Тот ничему не удивлялся. У него в Ленинграде тоже были знакомые кандидаты точных и других разных наук, которые подрабатывали работой грузчика. Да и сам он, не будучи никем и ничем, работал последние полтора года до отъезда грузчиком, никто этому не удивлялся. Наоборот, всякий труд в Стране Советов поощрялся и не считался позорным. Но в Иерусалиме, столице евреев, Дойч своими косными застывшими мозгами уроженца Средней Азии не мог представить армейского полковника (подполковника?), страстного любителя поэзии («наверное, и сам стихи пишет, подражает какому-нибудь Паунду»), в качестве переносчика холодильников на спине. Почему-то это его потрясло. «Это невозможно ведь, а, Веня?!» — спрашивал Дойч.

Веня ему не отвечал, удивлялся его вопросу молча. Этот Дойч был ему не всегда понятен со всеми своими нереализованными страстями и нерешенными вопросами существования. Веня ему в конце концов ничего про Нежина не сказал. «Дойч не полицейский, а я не сплетник. Ну, не бежать же с доносом», — думал Веня. Что делать дальше с этим Нежиным, он не знал.

У него и Тальи все складывалось совсем неплохо, серьезно. Они совпали во многом. Девушка спросила его о свадьбе, что вызвало реакцию у Вени Рокаха. А что? Что ждать-то? Они с Тальей, все больше совпадавшей с тем женским образом, даже обсуждали даты и даже пришли к подходящему числу в начале октября этого года. Раньше не получалось. Вене пришла повестка на призыв в армию, на осмотр и собеседование. На повестке было вписано: «20 июля, 10 часов утра, улица Раши» — напротив рынка через дорогу. В пятницу, в очередной сбор на рынке в их личном месте «На троих», выявились разногласия. Все неожиданно заговорили о планах на лето и осень. Даже хозяин, подносящий свои супы лично всем, никому не мог этого доверить, поучаствовал в разговоре скромными фразами.

— У меня мальчик окончил первый курс десанта и сейчас уходит в полугодовую школу командиров отделений. 202 полк, не просто так, круче Оксфорда будет, — сказал он с неподдельной гордостью.

Мальчика его все видали и были знакомы с ним, он иногда помогал отцу в пятницу. «Скромный парень, которому палец в рот не клади», — так про него сказал Изя. Сын хозяина, похожий статью на кудрявого принца, принес ему порцию риса с мясом и почтительно и молча поставил на стол. Вене этот парень тоже понравился. Дойч сказал, что «пацан очень похож на Коби Рабби, ты, Веня, с ним знаком хорошо, хе-хе, только тот боксер, а этот не боксер». Он взглянул на Веню, подняв бровь с некоторой усмешкой, не мог себе отказать. В Иерусалиме много таких сокрушительного типа юношей, как сын хозяина. Они рождены уже в столице, упрямые, с нежными чертами лица, с черными внимательными глазами и крепкими суставами плеч и локтей молодые люди.

— У меня тоже месяц службы в сентябре, на самые праздники, на канале должен быть, вот уж не повезло, — сказал Дойч, не любивший жаловаться, но вот пришлось.

Артур слетал в Париж по работе и привез оттуда все номера «Современных записок», все семьдесят номеров, вышедших в свет за двадцать лет издания.

— Тяжелый случай, — пробормотал Шауль, услышав, что за журналы Артур заплатил полторы тысячи долларов.

— Надо иметь деньги, чтобы платить. Свой человек заплатил, уважаю, — похвалил Дойч, как будто Артур ждал чьего-то одобрения. Никто ему был не нужен, ничье доброе слово, таким он себе казался, он был сам по себе: супермен, мужчина, холодный блистательный умник, интеллектуал из кино о физиках и лириках, очень модное направление в те годы в советском искусстве. Никто другой у него журнала просить почитать не смел, это было бы верхом нахальства, а из них никто нахалом не был. Дойч, возможно, мог бы спросить Артура, но он журналов уже не читал никаких, он сам был журнал.

Шауль привычно страшными словами выматерил пожилую, с распухшими ступнями, вдетыми в туфли без каблуков, даму во власти, которая, на его взгляд, не дотягивала до нужного уровня руководства независимой страной. Он был несправедлив и необъективен, но говорил, как думал, как по писаному.

— Что она со своей бражкой там думает, а?! — многие съезжались после его речей, очень многие. Шауль тоже считал, что октябрь слишком близок:

— Повремени, мой дорогой, ничего от тебя не убежит.

В житейских делах он полагался на мнение своих друзей. У Изи тоже что-то не сходилось с октябрём, Веня наблюдал за выражением его лица с интересом.

— Позволь дать тебе рекомендацию, Веня, — попросил он. Октябрь всем не подходил, месяц неопределенный.

— Совершенно нетипичная девушка досталась Вене, держись за нее, все при ней, давай, Веня, погоди немного, — Ша-

уль сделал резкое, почти музыкальное ударение на втором слоге слова — погóди, он одобрял выбор Вени, хотя его никто не спрашивал ни о чем. Он просто обязан был вставить свое слово, не мог без этого. Дойч сморщился и отвернулся, он не выносил таких тем для разговора. Не ваше дело. Остальные наблюдали эту сцену с интересом.

— Не торопись с датами, Веня, отложи на пару месяцев свадьбу, даже на три еще лучше, это так, рекомендация в сторону успеха и удачи, — как будто они все сговорились, что-то все это значило, конечно. Веня не задумывался над этим. Изя же был вял, чего-то не договаривал, но что и в чем дело с его рекомендациями, было непонятно. Он никогда ничего не объяснял, это было его главный недостаток. Догадывайся, мол, сам. А как?

Артур с умеренно впалыми щеками, с полуприкрытыми глазами казался посторонним, это было не так. Всех слышал и слушал, и внимательно. Но его голова, сходная по устройству с вычислительной машиной, была на самом деле занята совсем другими мыслями. Как и всегда. Казалось, никто бы не удивился, если бы Артур завтракал в это утро, не снимая перчаток. Просто перчаток у него не было в этот день. Но впечатление, что у него перчатки на руках, оставалось у всех, кто наблюдал его привычки за столом.

— А вот, Артур, здесь играет джазовый состав, потрясающие ребята, стоит тебе сходить, ты же любишь, нет? — сказал Шауль, который знал все и всех. Он интересовался, потому что.

— Кто такие? — все равно Артур звучал надменно, но Шауль на все наплевал. Артур был поклонником Шуберта.

— Я тебе скажу имена, настоящие виртуозы. Ребята из Союза, самые лучшие: Периферкович, Фонарев, Кунцман — он там тон задает, классно свингует, джазмены в восторге, он альт-саксофонист, приехал из Питера, ударник у них местный, хороший, звать Ареле — короли, просто короли, но я съезжу в Тель-Авиве, узнаю все и расскажу...

— Обязательно поеду, ты скажи только, когда и где, Шауль, спасибо тебе, — Артур звучал чуть ли не растроганно, он обожал джаз.

— Да что ты, я всегда рад, они стоят того, эти парни, они и в Вудстоке были, с лучшими играли, их признали...

— Теперь осталось только Артуру их признать — и тогда все, станут великими, — серьезно сказал Артур.

— Каких людей Союз потерял, пробросается в конце концов, — несколько фальшиво сказал Шауль.

— Да им наплевать, они ведь надеются жить столетия, они думают о вечности, освобождаются от балласта, ничего не замечают. Вон у них музыканты, певцы, писатели выехали и что? У кого-нибудь из начальников есть сомнения?

— Вот если Гершкович уедет, то заметят, — заметил Шауль.

— Кто такой Гершкович?

— Нельзя не знать, кто такой Гершкович. Это нападающий «Торпедо», «Динамо» и сборной Союза Мойша Гершкович, большой футбольный талант, сам Стрелец его любил, — объяснил Шауль возбужденно.

— Ну, если в «Динамо» бегал, то тогда, конечно, Советы все заметят, — Артур стал ироничен опять.

Шауль несколько перебрал в этот день, хотя его состояние можно было назвать перманентным и без выпивки.

— А в Израиль социалисты битлов не пустили, не хотели разлагать поколение, ну, скажите, битлов не пустили, — за Шаулем было уследить трудно.

Дойч пожал плечами, он не удивлялся, мол, зачем, этих битлов впускать. Он, кажется, не знал, кто такие эти битлы, жил без этого знания.

— Как зачем пускать в Израиль? Свобода слова, демократия, волеизъявление, социалисты, их мать, как же так, — Шауль заводился сразу. Жизнь была к нему милостива.

— В Союз их тоже не пустили. Раз в Москву не пустили, то здесь обязательно повторили за ними, как можно, — Дойч рассуждал вслух, Артур наблюдал за ним со вниманием. Изя помалкивал со своим драгоценным мнением. Все были немного выпившими, такое чудное время, время опьянения.

— Леннон был очень недоволен отказом, — сообщил упавшим голосом Шауль.

«Ну, если уж сам Леннон был недоволен», — Дойч этого не сказал, но явно подразумевал. Артур с полужакрытыми глазами был явно очень доволен этим диалогом.

— Да они уже распались, эти битлы наши, — сказал Шауль, обращаясь к Дойчу, — и нечего иронизировать.

Дойч промолчал, потому что музыкальная тема была исчерпана. Добавлять было нечего. Никто ничего не знал и знать не мог. Это было хорошо, потому что иначе было бы сложно существовать в жизни.

— А Дюка они пустили, как их понять, Шауль? — спросил Артур.

Вене все было важно, он, как и всегда, собирал детали, считая каждый звук и междометие несущими нечто существенное. Никакой неловкости оттого, что вот все кому не лень обсуждают его жизнь, он не ощущал. Он всегда всех слушал, всегда поступал по-своему. У него была собственная мысль, к которой он прислушивался внимательно и поступал согласно ее направлению и указанию. Как ни странно говорить про такого молодого человека, приближающегося к двадцати пяти годам от роду, он руководствовался во многих своих решениях памятью о том, что было. Проецировал ситуации. Все образы из своего прошлого у него всегда были на заднем плане. Обычно, как он считал, память его не подводила. Веня находился перед важным шагом в жизни, решить что-либо было трудно. Все было очень сложно, и никак ситуацию нельзя было назвать черной или белой, она была разного цвета, всему этому различению цветов нужно было Вене еще научиться.

Но что-то с октябрём в том году, конечно, было не то. Они все пятеро были обычные рядовые люди и ничего не знали, у них не было никакой информации, они все были здесь новыми людьми. Они все пытались зайти в необычно яркую, чарующую картину израильской жизни как свои, с почти естественным языком иврит, тянули лямку с энергией, свойственной только наивным, радостно приземлившимся на новое место выпускникам советского заповедника. Они ничего не понимали и не догадывались ни о чем, как и все остальные. Но

остальные здешние и обвыкшиеся как-то были привычнее, что ли, к этой жизни в одном из районов Средиземноморья. Как выяснилось, скажем без лишней скромности, важным, но не центральным районом. Поговорить о том, что ему делать с Нежиным, Вене было не с кем. И что тут можно сказать. Веня с некоторой горечью, раздражением и щемящей тяжестью на душе решил оставить все как есть, уговаривая себя, что все само уладится. Как будто что-то могло уладиться само по себе. Но с Дойчем тоже говорить на эту тему было невозможно, это Веня знал твердо. Что и как с ним будет, он не знал и раздраженно и категорически отказывался думать об этом. Веня думал о себе с удивлением и досадой. Он не знал, что может оказаться в такой ситуации.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Перед лавкой зеркал
я вдруг удивился,
так вот я какой,
обтрепанный, бледный.

Дойч, скрестив руки на груди, откинувшись назад на спинку стула, прикрыл глаза, отдыхая от обильной еды и алкоголя. На самом деле он, всю жизнь ограничивавший себя в питании, с удовольствием отдавался трапезам, которые поглощал быстро, не скрывая ни от кого радости от процесса. Алкоголь привычно украшал еду. Нынешние мысли его об армии напрягали, потому что тридцать два дня, которые нужно было отдать именно на праздники ради скучной военной службы на канале, не радовали. Всегда он шел на сборы как на чудесную заслуженную обязанность. Сейчас вдруг Дойчу это не нравилось, тяготило, раздражало. «Старею, наверное, нево-время как», — почему-то думал он. Выражение лица его выдавало чувства, которые он старался не выдавать никогда. Он был противоречив.

Шауль смотрел на всех людей за столом с непонятным выражением лица. У него неожиданно закончились слова. Мысли были, и их было много, а вот слов совсем не было. Изя

сидел как сфинкс: шея надута, лицо набрякло, пить надо меньше, он молчал, говорить просто не хотел. Веня все ждал чего-то от них. Хозяин стучал ложками и тарелками за стойкой. Что-то мешало созданию обычной радостной атмосферы. Наверное, не допили, что же еще. Солнце проникало в это помещение каким-то мутным желтым заревом, на которое смотреть было невозможно. Но изредка серые непонятные полосы, так сказать, под звон посуды и ножей с ложками, вкрадывались в желтый поток солнца, и глаза могли отдохнуть от непрерывного праздника света и с облегчением расслабиться. Жалюзи хозяин никогда на окна не опускал, было неясно, есть ли они вообще здесь. Зачем вообще жалюзи? Да от сглаза, от бездельников, от зевак с раскрытыми глазами и истекающим слюной ртом, и завистников из соседних улиц и домов, да мало ли от чего еще. Но хозяин во все эти глупости не верил: будет то, что должно быть, и ничего иначе.

Этот рядовой пятничный сходняк на рынке оставил много неожиданных и неразрешенных вопросов. У всех участников, включая всезнающего подвыпившего Изю, ставшего еще более молчаливым человеком, чем всегда, осталось чувство недоговоренности и незавершенности. Изя даже круглые очки а-ля Джон Леннон для чтения нацепил, став еще более таинственным джентльменом. Купил он эти очки в Москве, не думая ни о каком Ленноне и, кажется, не зная, кто он такой, этот Леннон. Да, были люди в СССР, которые не знали о Ленноне, и ничего, жили. В оправдание им, этим людям, скажем, что и Леннон Джон тоже ничего не знал о них, и тоже как-то жил, пока его не убил злодей.

Уже торжествовал запах лета вокруг, потому что первая неделя июня. Весна в Ханаане, в протяженной столице его, меняется почти незаметно примерно в апреле. Воздух вдоль улиц и над домами становится нежно-голубым, температура подскакивает вверх на пять-семь градусов в Иерусалиме, где ночной холод пробирает насквозь, а днем тяжело жить. И это на Иерусалимском среднегорье, а в центре страны ситуация с разницей температур не столь контрастна, и жара

там устойчива, и, возможно, не столь ощутима, как и ночной холод. Но в Иерусалиме воздух ночью свистит от чистоты и живительной силы темнеющих палисадников. Некоторые приобщенные, проживающие здесь, утверждают, что один глоток этого воздуха у мокрых от росы газонов равен приему неведомого, очень мощного лекарства ото всех буквально болезней.

Скажем, что и в других местах есть освежающий, чистейший холодный воздух гор — Кавказ, Альпы, Пиренеи. Конечно. Не будем спорить, мы и не спорим, потому что мы не там сейчас. Здесь речь идет о городе Иерусалиме и только о нем.

Веня никуда не пошел и никому не сказал о Зееве Нежинне, о котором ему говорил в Ленинграде капитан Андреев. Он не хотел быть болтуном и тем самым человеком, которых в его прежнем городе называли стукачилами. Один из его приятелей рассказывал ему, имея на то некоторые основания, что в каждой компании и в каждом застолье («ну, почти в каждой компании, в нашей, может, и нет, не думай про всех») «всегда есть человек, стучащий в контору, запомни, Веня». Может быть, он зря это говорил, потому что был разговорчив от природы, но Веня эти слова запомнил. Этот приятель тоже был из окружения Давида Яковлевича, чистого человека, как и другие друзья Вени, которых подозревать в подлых играх с конторой было невозможно. Потом этот приятель подумал и задумчиво сказал: «У нас тоже кто-нибудь есть, самый неожиданный, Веня». Он был нетрезв, этим Веня и объяснял его красноречие, но сомнения в душу заложил.

Короче, Веня не сказал ничего и никуда не пошел докладывать, остался жить с этой занозой в сердце, как будто так и надо.

— Меня пригласили тренировать нашу сборную к Маккабиаде, — сообщил Дойч Вене на обратном пути в машине домой с рынка, глядя перед собой на дорогу, он был напряжен. Он не пил, а только пригублял на встрече, но вот все равно. — Я-то думал, что ты подойдешь, но ошибся, ты сыроват, парень, не обижайся на меня.

— Я и не претендую и не претендовал, что ты, Миша. И в мыслях не было. А Циммерман с тобой будет? — Веня терял представления о такте, выпив вина чуть больше меры. Меру свою он не знал, иногда чувствовал ее приближение, но неточно.

Дойч свернул влево на Элени Амалка, поднялся к русской церкви, в Иерусалиме была еще и другая русская церковь, красная, советская, но Дойч не знал, где она расположена. Потом он обогнул автостоянку и мимо проволочного забора СИ-30, доехав до Навиим, спустился вниз.

— Я очень хотел, чтобы он работал со мной, предлагал ему, приехал просить, уговаривал, но Аркаша отказался, и Рая, жена его, и это главное, была против. Сам он, думаю, был бы счастлив вернуться к работе, он и боксер, и тренер отличный. И мы друзья с ним, близкие люди, но не судьба, — последние слова Дойч произнес не совсем уверенным тоном. Да почти отчаянным тоном, нечего скрывать.

— А когда Маккабиада? — поинтересовался Веня, чтобы проговорить неловкую ситуацию. Он обругал себя, назвав «толстокожим тюленем», каковым он не был ни в коем случае. Веня был суров по отношению к себе.

— В начале июля, времени мало, месяц, меньше, что там можно успеть сделать, есть хорошие ребята, один легковес просто тигр, рассудочный, мягкий, взрывной, почти убийца, только молод, семнадцать с половиной лет. Я еще пригласил Коби Рабби, пусть привыкает, у него призыв в конце августа, пусть посидит на сборах, наберется опыта. Он любознательный и хочет учиться, — рассказал Дойч. Он вывернул руль, и машина покатила вниз к перекрестку на Французскую горку. — Не то, что некоторые.

Дойч скосил глаза на Веню, тот сидел неподвижно и смотрел перед собой, как ни в чем не бывало. «М-да, — пожаловался Дойч про себя, — не пронять тебя никак, Роках, мог бы толк из тебя выйти, бестолочь помешала, легкомысленный ты, что ли?!». Он был взрывной человек, это мешало ему в жизни. Веня молчал, как юный герой-подпольщик в гестапо: «Что ты

меня учишь все время? Думай о себе, Дойч. Что тебе за дело?». Но все равно в нем жило чувство почти нежной благодарности к этому непонятному человеку, полному противоречий и необъяснимых страстей.

На заднем сидении у Дойча лежал его старый баул со всем, что ему было нужно для тренировки. В воскресенье он должен был утром прибыть в физкультурный институт возле Нетаньи. Там, на тренировочной базе: бассейн, кроссы, зал и прочее — готовилась сборная страны. Он все сложил заранее, чтобы ничего не забыть. Намеревался выехать часов в шесть утра, чтобы успеть приехать до пробок на прибрежном шоссе. Он был большой педант, и всегда приезжал, приходил на место заранее: осмотреться, оглядеться, привыкнуть.

Был вариант уехать на базу сборной на исходе субботы, но это было слишком для Дойча. Он хотел поиграть с Саррой, покормить ее, поговорить с ней, посмотреть на нее в кровати, сопящей во сне и улыбающейся, как беззубая розовая рыбка. И потом Хава тоже была очень важна в этом прощании, он уделял ей свое время. Дойч уезжал на пару недель и не знал, сможет ли приехать на выходные, работы было очень много, ребята нуждались в нем. Он должен был уехать уверенным в себе, у громоздкого, могучего, жесткого бойца Миши Дойча были свои страхи, застарелые комплексы, возвращенные в ночной тишине, пугающие картины. И, конечно, важный момент для Дойча состоял во встрече царицы Субботы именно дома. Где же еще?!

Подъехав к дому Вени на Линкольна, Дойч прижал машину к тротуару и, неожиданно легко для его громоздкой фигуры сложившись напололам, как перочинный нож, вылез наружу. Он изъял из баула кожаные блины, надел их на руки и сказал Вене, хлопнув ими и щурясь на солнце:

— Давай-ка побей мне, поддержку тебя на лапах, парень, поглядим, как твой запал, не пропал, или ты еще ничего себе.

Веня повиновался, в очередной раз удивившись этому человеку и его решениям. Дойч выставил руки с блинами перед собой, и Веня, испугав прохожего человека в белой рубашке с

длинными рукавами, с кипой на голове, нанес пару-тройку гулких ударов: раз-два, раз-два-три. Два сумасшедших русских, полупьяных от солнца и вина, в середине дня били посредине улицы друг друга по рукам в черных кожаных перчатках, от них всего можно было ожидать. Прохожий спрыгнул с тротуара и не оглядываясь, быстрым шагом перешел на другую сторону улицы. Прошли, не оглядываясь, непонятно откуда появившиеся еще два джентльмена, которые прибавили шагу, засмеялись увиденному и отвернули головы в сторону от странной пары боксеров, чтобы не видеть их больше и забыть.

Дойч прихлопывал кожаными блинами с сырым звуком по голым кулакам Вени и кивал со словами:

— Да, да, ничего, двойку, еще раз, а теперь троечку, и не забывай никогда про удар Енгибаряна, очень важно. Давай, заряди-ка мне сбоку слева, свинг, помнишь, раз и два, и еще, ну, ничего, свинг запомни, очень важно, я тебе говорил, — он все хотел впахнуть за эти пятничные послеобеденные минуты в боксерское умение Вени.

Потом Дойч с довольным видом, как могло показаться со стороны, стянул блины с опущенных рук, зашвырнул лапы обратно в баул и сказал:

— Ну, ладно, давай, хватит, хорошего помаленьку, — пожал правую руку Вени и, стукнув дверь машины, уехал во свояси к Саре и Хаве, без которых он не мог жить. Невозможно было понять, доволен он остался или нет, у Дойча трудно было определить, что и как, когда это касалось способностей и бойцовских перспектив воспитанника. Но Веня отправился домой удивленный и озадаченный, с этим Дойчем соскучиться было невозможно. Прозрачные небеса пятничного дня медленно уплывали от Вениного взгляда, не оставляя следов, в направлении очередной столичной субботы. Веня захотел посмотреть пятничный египетский фильм по ТВ. Всегда крутили перед наступлением субботы тогда египетские фильмы с роскошными дамами, героями-любовниками и несчастной любовью под музыку выдающейся певицы Умм Культум, незабвенной, с соловьиным голосом медлительной дамы.

На Маккабиаде боксерские бои проходили в Холоне, в раскаленном зале с крышей из жести, ребята Дойча выступили хорошо. Напомним, июль 1973 года — все впереди, кое-что позади. Не середина пути. Два брата, приехавшие тоже из Ташкента, Яша и Гриша, уверенно выиграли золото за подавляющим преимуществом в среднем и полутяжелом весе, еще один юноша в 60 кг выиграл серебро, но он был откуда-то с Украины. Этому мальчику помогал в школьном кружке Циммерман, который здоровался на турнире с Дойчем и даже хвалил чужого полутяжа за упрямство, стойкость и изощренность. «Наша школа», — сказал Аркадий, было непонятно, что он имеет в виду под словами «наша школа». «Малоподвижен паренек», — добавил Циммерман свой ковшик дегтя, как будто Дойч этого сам не знал. Потом Аркаша жарким голосом сказал, что уровень бокса вполне приличный здесь, и Дойч согласился с ним, но без лишних восторгов. Он был суровее собеседника. Они оба, и Дойч, и Циммерман, смущались при разговоре, будто застали друг друга за каким-то малоприличным занятием. Так или иначе, опять друзьями они не стали, это было невозможно. Да и жена Циммермана Рая прощать Дойча не собиралась, повторяя фразу: «Никогда не прощу, не заслужил прощения». Ей надо было подождать какое-то время, чтобы попытаться простить, но это время явно не пришло еще.

Но зато стоило просто посмотреть на смущенного и не знающего, как поступить с собой после побед в финале своих ребят Дойча, чтобы понять, что такое абсолютное, чистое счастье. Кажется, он даже прослезился или был очень близок к этому, когда во время церемонии награждения играли гимн, звучащий в динамиках не плавно и не совсем похоже, но все равно демонстрировавший сияющую вершину совершенного, блистающего и законченного человеческого счастья. Он, суровый, скептический, мрачноватый дядя средних лет, что-то бормотал непонятное, молился, отворачивался, закрывал глаза, крепко вытирал лицо ладонями, да что говорить... И вроде, он мелко сплевывал в сторону, в каменную урну, вероятно, от слеза.

Веня и Талья перенесли свадьбу на январь, они решили, что так будет удобнее. Начальник Вене сказал на работе, что место ему будут держать в любом случае: «Не волнуйся, служи спокойно, ты же наш защитник». Веня призвался в августе на полтора года из-за возраста, ему уже исполнилось двадцать пять шел двадцать шестой. «Старичок ты», — как сказал ему Шауль. Вместе с ним в один армейский автобус во время призыва залезло еще несколько человек, призванных из Иерусалима. Веня до этого хотел пойти к Йоэлю Мордуховичу, посоветоваться, но у него не сложилось. «Потом пойду», — решил он, как всегда, откладывая поступки. Артур получил повышение по службе, что не отразилось на его взгляде на окружающую действительность и на мир. Сам он не изменился, что меняться, когда каким ты родился, таким ты и умрешь. Эта мысль сопровождала его много лет. У него стало больше денег на банковском счету. Артур относился к этому спокойно. Он посмотрел местный фильм «Глаза завидующие» — и неожиданно ему понравилась эта лента. «Надо же, — сказал он негромко, обращаясь к самому себе, — ты смотри, как наострились ребята».

Шауль тоже не изменился, продолжая ругать матом власть и людей во власти. «Смерть социалистам, вешать всех», — кричал он, не стесняясь. Изя смотрел на него не морщась, но ему все это явно не нравилось. Он молчал, как всегда. Что-то ему мешало улыбаться, как прежде, а ведь улыбался, хохотал даже. Что-то с ним произошло, или что-то он узнал, подробнее было не узнать. Шауль, начав ругаться, остановиться не мог, хотя Изю любил, да и остальных тоже. Никаких тормозов у него не было. «Когда-нибудь доиграешься, ругатель», — думали все мрачно про будущее Шауля, но никто ему ничего не говорил, никто не лез к нему с разговорами, стеснялись.

Сентябрь был очень жаркий в Израиле. Как и июль с августом, как и всегда здесь. Вене пришлось тяжело на курсе молодого бойца. Он высох и иногда наблюдал себя в зеркало, входя в солдатскую столовую, с удивлением. Кто это такой ходит? Что за скелет такой ходит, остриженный наголо, в великоватой удобной и выцветшей гимнастерке, а?

Изя, служивший в артиллерии, был ранен в живот на большой войне, неожиданно начавшейся в первую неделю октября. Он два месяца пролежал в больнице, перенес операции, его выносили, он медленно отходил от пережитого. Веня с его батальоном был отослан на иорданскую границу, где война не шла. Там и просидел весь октябрь. Артур по ночам работал в пекарне в Рамле с Королем и другими подобными ему под руководством опытного темнолицего пекаря Али. Артур и Король, и другие призваны не были и старались помочь, как могли. Король говорил Артуру, что думается здесь и сейчас ему на удивление хорошо. «Есть объяснение этому у тебя?». Объяснения у Артура не было, откуда. Тогда же прошел чемпионат Европы по баскетболу, которого так ждали в Израиле. Состав у евреев был перспективный: Мики, Моти, Итамар, Боаз, Ноймарк. Отличное сочетание молодости и опыта. Но все пошло не так из-за войны, ребятам было не до игры и мяча, все скомкалось и было отложено на неопределенный срок в непонятное будущее.

Шауль охранял поселение неподалеку от Рамаллы. Он перестал ругаться матом и кричать, был напряжен и, кажется, начал понимать, что игры закончились и что ругать-то уже и некого. Все изругано и без него. Жизнь победила его злость и раздражение. Пару раз он съездил в больницу к Изе, тихо говорил с ним, рассказывая про Москву и события в ней. Он не ругался и никого не ругал, был подавлен и даже тих, насколько Шауль мог быть тих. В Москве тоже было мало радостного в то лето и осень: аресты, раскаяния, срока, но при всем перманентном русском ужасе все-таки это была не большая война с ранеными, искалеченными, сошедшими с ума и погибшими знакомыми и друзьями. Всему свое время, разве вы не знаете этого? Он очень хотел спросить у Изи, знал ли тот, что будет, или нет. Но все-таки не спросил и, конечно, правильно сделал. Если знал все, то не лежал бы здесь получеловеком, правда?! Все знать нельзя, все знает известно кто.

Потом этот полутяж Гриша, малоподвижный и суровый боец, написал песню о войне в октябре 73 года. Там были та-

кие слова: «...и пепел сожженной пехоты хоронит осенний туман, Голанские злые высоты — лишь камни, война да бурьян». На мелодию вальса. Остановилась там бесконечная сирийская танковая колонна с советскими танками, катившимися к Кинерету, и высунувшимися из башни сожженными командирами. Этот пейзаж с обгорелыми танкистами мог свести с ума наблюдателя, и сводил, конечно. Потом аукнулось всем. Гриша этот, крепкий парень, не склонный к компромиссу, там был, все видел, пережил, выжил.

Дойч служил со своей бригадой с конца сентября на Суэцком канале, домой он не вернулся. Ему не повезло, как и многим другим, не вернувшимся. Слезы и молитвы Хавы, рэб Йозля, Вени, Йохи и других любивших его людей на судьбу Дойча не повлияли и не спасли. Вот вам бокс, вот неповторимая, страстная жизнь его, яркой падающей молнией промелькнувшая над нами всеми в прозрачном бесконечном небе, вот этот невероятный характер, вот эти его книги, написанные на другом, не местном языке, также как и эта повесть про Мишу Дойча и его судьбу, написанная тоже здесь и потом. Очень похоже все это на игры еврейских беженцев, собравшихся отсидеться в тихом средиземноморском углу и попавших, как куры в ошип, в страшный замес, и пользующихся русским устойчивым и неискоренимым языком, «единственным своим богатством», как говаривал когда-то наш незабвенный боксер второго среднего веса.

И потом, в самом конце этой старой полувековой истории, стоит обязательно спросить, что с дочкой Дойча, что с годовалой розовой девочкой Саррой, улыбающейся во весь рот отцу и бормочущей навстречу ему звуки, очень напоминающие мелодию колыбельной, которую она запомнила от мамы. «Шейн ви ди ливоне, та-ра ри-ра... ра». Что сказать ей, этой девочке, а?

2023

КУТЮРЬЕ

«Дайте вашу левую руку мне, Леон», — сказал Кравецу апрельским холодным прозрачным утром высоким голосом Ашот Давтян, много лет успешно занимавшийся ювелирным трудом. Он работал в Москве и по всей территории Кавказа, Прибалтики и других мест проживания советских людей. Напомню, что это самое начало 70-х годов 20-го века, еще все есть, все запрещено, все почти тихо, кроме того, что громко и что пробуждается непонятно, для радости или для горя. Искрометный и мудрый Ашот напялил на безымянный палец Леона золотой перстень, похлопал его по кисти и сказал: «Это из уважения к твоему таланту. Знай, Леон, что львы — символ Иерусалима». Кравец этого не знал прежде. Теперь узнал. «Это не имеет значения, Леон, не благодари, это пустяк, совсем пустяк», — сказал Ашот небрежно, любуясь на свое произведение со всех сторон, поднося руку Леона с перстнем к окну на апрельский свет. «Неплохо, совсем неплохо, правда, Леон, ты этого заслуживаешь».

Теперь на безымянном пальце Леона красовался перстень с двумя львятами на печатке. Перстень был из чистого золота, московский ювелир Давтян сделал его своему кутюрье в знак благодарности и признательности за выходной костюм, построенный Леоном для его не совсем стандартной большеголовой фигуры, с чем не мог справиться прежде ни один местный портной. А тут костюм, сделавший ювелира подтянутым, стройным, элегантным мужчиной в расцвете сил и лет. Давтян таким себя видел в воображении, просыпаясь по утрам, и теперь таким стал. Кравец принял перстень из чистого золота 96-й пробы как что-то обычное, происходящее с ним постоянно. Но это было совсем не так.

Он был убежден, что сила человека не в деньгах и драгоценностях, а в таланте как скрытом, так и внешнем. Хотя

деньги он любил и уважал их значение в жизни. Но лишней увлеченности этой любовью у него не было, что очень важно. Он не делал из денег ни центра жизни, не обожествлял их, не копил их, оставляя им вспомогательную функцию.

Теперь же он на красного цвета фургоне, вместе с еще одной семьей быстро ехал в синей ночной тьме по рассветному холоду в Иерусалим, в царство петунии и лагунарии, царство кипариса и миндаля, лавра и розмарина, да что говорить, когда просто царство. Изредка у него в голове всплывало имя милой дамы, встретившей его и разговаривавшей с ним в аэропорту, и он повторял, как заклинание: «Нонна, Нонна, ах, Нонна... Хочу ее обшивать всю, с головы до ног», — говорил Леон себе тихо, но возбужденно.

В середине пути они притормозили, и шофер, аккуратно подвинув руль влево, обогнул дорожные работы, дымившиеся в свете прожектора. Леон взгляделся в лица рабочих людей, разбрасывавших дымящийся асфальт в зыбком свете дорожных огней, ничего знакомого для себя он в их лицах не нашел. Лица были усталые от тяжелого ночного труда, дымился асфальт, который они разбрасывали перед катком, оставлявшим после себя черную жирную полосу на дороге. Машина, в которой ехал Леон, проехала дальше мимо стройки на дороге и сразу увеличила скорость. Шоссе дальше было пустым и достаточным для фургона, мрачный шофер гнал как безумный.

В конце концов, через пятнадцать минут после двойного подъема стали видны справа на холме огни домов, они въехали в этот город, подаренный ему судьбой уж неизвестно за что. Уже начинался рассвет. Впереди выше горизонта светила неясная звезда. Леон, как он сам, не стесняясь, говорил о себе направо и налево: «Я кутюрье от бога», — глубоко вдохнул, посмотрел на глухой черный гудящий обрыв слева от себя, на непроходимую отвесную скалу справа, и не зная, что сказать, пробормотал себе стандартное: «Спасибо, Творец», — на счастье сказал, чтобы было. Шофер, который имел уже почти пожилое костистое лицо, глянул на него мельком, кажется, кивнул, но ничего не сказал. Возможно, он одобрил этого парня в

черного цвета рубашке и в пиджаке из грубого холста, с простроченными отворотами, но знать наверняка было нельзя. Бледное лицо шофера обросло черно-сивого цвета суровой щетиной, он зло и с треском растирал щеки и скулы ладонью, ему, казалось, было ни до чего, кроме дороги, но он был устроен так, что замечал все и по сторонам.

Кравец не переучивался из учителя английского в портного. Он был портным от рождения: бывают такие люди, с профессией, полученной от рождения и при рождении. Он с малых лет знал, как нарисовать идеальную выкройку, где прострочить, как подшить и так далее. Иголлка с ниткой в его руках были мгновеннодвигающимися стрелками, за которыми невозможно было уследить. Однажды во втором классе, в возрасте семи с половиной лет, Леон на перемене зашил девочке из его класса парадную форму, безобразно разорванную при падении с лестницы. Никто ее не толкал, сама упала, она была не слишком ловкой, даже неуклюжей. Но красивой, Леону нравилась.

Девочка навзрыд обливалась слезами, терла ушибленную ногу в надежном шерстяном коричневом чулке, была безутешна и повторяла: «Что теперь будет? Что с моей формой? Я должна выступать на линейке перед всей дружиной, что-о-о?», — вой ее был истеричен, очень неприятен и даже ужасен. Все сопровождалось потоками слез и слюны из ее совершенно взрослых алых губ. Леон подошел к ней, окруженной сочувственно качающимися головами и сопящими в унисон одноклассницами, и сказал: «Люда, ты мне дай платье, я все исправлю, минут двенадцать займет». В руках у него была иголлка и клубок бежевой нитки. «Чего ты, Кравец, болтаешь», — хрипло сквозь слезы сказала ему Люда. «Ты дурачок, Кравец, да?» — спросила ее лучшая подружка. Потом уже, после всего, они его отчаянно любили все годы. Но это было потом. Почему-то Люда, вытерев красное лицо ладошками, сказала ему: «Сейчас, Леон, сейчас, отвернись к доске». Девочки ей, дрожащей от огорчения и детского страха, помогли раздеться. Леон, собрав лицо и напрягши худые детские пле-

чи, сел за учительский стол и мгновенными мелкими краткими стежками залатал длинную зигзагообразную прореху на подоле Людиного платья. «Вот, Люда, никто ничего не заметит», — сказал он с некоторым торжеством в высоком мальчиговом голосе. Он уложился минут в 6–7, и ни секунды больше. Перекусил нитку и протянул зашитое платье Люде. Девочки числом пять смотрели за всеми этими действиями знакомого мальчишка, как замороженные. Потом все рассматривали швы Леона. Люда сказала: «Как же так, швов же нету, их совсем не видно, ты что, Кравец?!».

Леон вышел из класса, вернув иголку и нитки в незаметные тайники на своей одежде, оставив всех ребят в недоумении и хмурым восхищении: «Ну, не может такого быть, не Кравец это, откуда Кравец?». В нем осталось таинственное чувство торжества и превосходства, которое сохранилось надолго. Над кем Леон торжествовал, он определять не мог и не стал, это было не так важно ему. В этом мальчишке, стеснительном до дерзости, ни тогда, ни потом невозможно было разглядеть его талант: обычный ребенок с горящими глазами, длиннорукый, неловкий, светлицый, склонный к громким шалостям. Так все дети шалят, ну, или почти все дети шалят.

И вообще, ничего нельзя узнать, что с кем случится и кто кем будет. Та угрюмая всегда девочка Люда, например, у которой порвалось тогда на перемене платье, выросла и стала прокурором. Она сама и не представляла даже, не думала. А уж тем более окружающие ее дети. А Леон? С Леоном все-таки было проще, знал про себя все. Одноклассники помнили этот зашитый им за минуты подол с неразличимым швом все годы. Но от знаменитого шва на школьном платье до кутюрье в Москве и потом в Иерусалиме было расстояние, разве нет?

За день до отлета к Леону заявился еще один клиент, которому он шил шелковые рубахи, твидовые пиджаки и свободные бостоновые в полоску брюки с высокой талией. Это был непонятный человек, который жил непонятно чем и непонятно с чего. Но жил он хорошо, широко. Леон никогда никого ни о чем личном не спрашивал, его это не интересовало.

Этого необъяснимого человека, который выглядел американским щеголем в своем прикиде и пристальным серьезным взглядом прошивал собеседника, казалось, насквозь, выставить, сказавшись занятым делами выше крыши, было невозможно, да и нельзя. Суета и возбуждение, владевшие Леоном перед отъездом навсегда из СССР, не заставили изменить его отношения к этому человеку со светлыми, прозрачными, пугающими людей глазами.

Мужчину этого звали Тимур, он, по слухам, крутил большие дела, был очень жестким человеком, человеком слова. Он был невысок, складен, искрометен и необъяснимо опасен, нельзя было это как-либо объяснить. Фамилия его, на которую он отзывался в данный момент, зависела от времени суток и общего настроения, иногда он ее не называл. Просто смотрел, изредка говорил как бы нехотя, но приглядывался, приглядывался. «Зачем? Обойдемся без фамилии, кому надо, тот ее знает наизусть», — он совсем не шутил. Шутки его были, если были, не слишком смешными.

— Разговор будет недолгим: да-да, нет-нет — вот и все, — сказал Тимур Леону. Этот Тимур знал три языка и вдобавок язык эсперанто, что было не совсем обычно для человека его биографии. Он отсидел за незаконные операции с валютой, на зоне пользовался авторитетом, решал спорные вопросы со своей статьей. Человек он был необычный, ходивший по краю обрыва постоянно и получавший, кажется, от этого удовольствие.

В коридоре квартиры Кравеца играл невыключенный приемник, который Леон хотел оставить приятельнице, та еще его забрать не успела, известная копуша. «Тебя за смертью посылать только, и то два раза, чтобы наверняка», — говорила этой девушке подруга ворчливо. «Эти глаза напротив, калейдоскоп огней», — произносил исполнитель высоким голосом.

— Смотри, вот в чем дело, — сказал Тимур и извлек из кармашка пиджака батистовый мешочек, затянутый бечевкой. На ладони его лежал теперь сверкающий драгоценный камешек. — Полтора карата, неграненый, неотшлифованный, но, кажется, чистый, — Тимур говорил не совсем понятно,

кратко, убедительно. — Зашей его куда-нибудь, как ты умеешь, вывези и передай в Иерусалиме одному человеку. Сможешь у него и пожить. Он мне должен. Уехал три года назад, хорошо поднялся. Как только он камень продаст, 20–25 штук зелени отдаст тебе. Так что?!

По его речи человека дела можно было бы решить, что на него оказал влияние писатель Э. Хемингуэй, отец сдержанных диалогов, популярнейший в те годы в Союзе и не только там человек. Или его советский апологет Ю. Семенов. Но нет, Тимур не поддавался влияниям, он был сам по себе, сам себя, как говорят социологи, создал.

Леон ответил ему, что «да, я возьмусь за это дело, камень спрячу и привезу в целостности и сохранности». Он не сомневался ни в чем, человек интуитивных поступков.

— Не спрашиваю тебя, куда ты его спрячешь, не мое дело, уверен в тебе на сто процентов. Вот тебе бонус за волнение и за все остальное, — Тимур достал все из того же наружного кармашка пиджака пять зеленого цвета ассигнаций, сложенных фантиками. — Положи их на самое видное место, в карман пиджака, скажем. Самый толстый долларовый фантик воздержись и не разворачивай, отдай его моему человеку в Иерусалиме, получишь за него вдвойне или даже втрое. Со мной выгодно иметь дело. Я позвоню в Иерусалим сегодня вечером, скажу, чтобы тебя ждали и приняли, как короля в изгнании.

Никакого торжества в его голосе не было.

— Почему в изгнании? — спросил Леон.

— Это так, для рифмы и лучшего звучания, до свидания. Лети с приветом, Леон Вениаминович, — они простились без намека на объятия и поцелуи (не принято), пожали друг другу руки, Тимур заглянул Леону в лицо с некоторой вопросительной интонацией, после чего этот коренастый и волевой человек, спина и шея которого казались избыточными, ушел быстрым шагом крепкими ногами восояси для продолжения своей насыщенной жизни, как будто взятой из отечественного приключенческого с романа, написанного в промежутке оттепельного времени в советской уютной стране бойким провинциалом не без способностей и большой дерзкой воли.

Самое интересное, что Тимур мог появиться в этом многослойном, как говорят филологи, романе и положительным, и отрицательным героем. Такой это был человек, такой это был роман. Леон слышал о Тимуре много разного и довольно неприятного. Леон был устроен так, что все слухи и сплетни проходили мимо него, не задевая и не касаясь. Он знал, что люди любят судачить, судить и болтать неизвестно что. Ему это не мешало, подробности жизни и сути живых людей были Леону неинтересны, только своя жизнь была ему важна, только своя.

Теперь ему нужно было выехать из Москвы с перстнем из чистого золота на безымянном пальце левой руки и бриллиантом Тимура, который он вшил в угол лацкана пиджака. Сделал он это идеально, догадаться или углядеть что-либо в лацкане пиджака самым опытным людям было невозможно. Таможню в Шереметьево Леон, как можно понять, прошел уверенно и без каких-либо проблем. Он не волновался и не переживал, во многом потому, что не все понимал до конца, не хватало ему осторожности, опыта и житейской сообразительности. Но уж, что есть. Даже перстень на пальце он не перевернул, пусть светит, а что?! Он был склонен по своей внутренней структуре к некоей разновидности аутизма. Оставим эти окончательные выводы врачам, в частности, незабвенному и великому АБД.

Фантики из долларов остались в наружном кармане пиджака Леона nepотревоженные. Милая двадцатитрехлетняя девушка, офицер таможенной службы (или еще какой, точнее неизвестно) в фиалкового цвета мундире и юбке выше изящных бежевых русских колен, поглядывала на него с интересом, который можно было бы объяснить двояко. Женщины — очень сложны, они могут совмещать полезное с необходимым, работу и удовольствие, если говорить иначе.

Леон обогнул это препятствие и шагнул к пограничнику. Тот осмотрел Леона, как быка перед убоем, не моргнув голубым поморским глазом-стилетом, и, не шевельнув бровью, поставил черный штамп на заветной розовой бумаге парня. Выезжающий, всем ставший чужим Кравец, протиснулся между

перилами и стенкой, шагнул к выходу на летное поле через тугую вымытую стеклянную дверь и пошел по бетону к самолету на Вену, все остальное осталось позади. Было майское утро, солнце светило, освещая ему надежную дорогу. Все хорошее в жизни случается по утрам, разве вы не знали? Или по вечерам, точнее не определить. Вслед Леону играла из таинственного здания аэропорта красивая советская песня, большой современный хит «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз». Леон не подпевал музыке, но кивал ей с удовольствием, как могло показаться со стороны несведущему человеку. Он как бы даже пританцовывал под музыку, как умел, неся чемодан и сумку в руках. Девушка в фиолетовом мундире, который был ей к лицу, вздохнула. Ее коллега по смене, подойдя неслышно сбоку, поглядела вслед Леону и сказала негромко и внятно: «Эх, Нинка, ты только погляди, какие кадры уезжают». Никакого торжества или грусти Леон от всего, что происходило с ним, не испытывал. Ничей торжественный низкий баритон не шептал ему в ухо: «Запоминай, Кравец, запоминай, парень». Он и так все запомнил без чьих-либо подсказок.

Кравец нащупал в кармане пачку сигарет, но не закурил: правая рука была занята чемоданом и сумкой, да и курить не хотелось, он уже накурился за утро. Через три дня после этого майского утра Кравец подъехал на машине, предоставленной ему государством Израиль в рамках первой помощи новопривывшим, к двенадцатиэтажному дому по правой стороне улицы Шимони. Никто его не встречал в рассветной столичной дымке, он на это и не рассчитывал. Леон сверился с бумажкой, на которой Тимур написал в Москве адрес приятеля, который ему был по жизни обязан. Леон расписался на мятой квитанции, что да, он это, он, и адрес его, это адрес его. Шофер сказал ему время, поддернув рукав вытертой на плечах джинсовой куртки, вытащил чемодан и сумку и, резко пожав руку, как будто проверял его на прочность, уехал, только его и видели. У него была своя сложная жизнь, у Леона Кравца эта жизнь начиналась, хотя и не с белого листа.

В самолете на Вену рядом с Леоном оказался инженер, поджарый человек с седыми висками. Он назвался Шварцем.

«Я Томас Шварц, швейцарский гражданин, инженер, консультировал в Ленинграде ваших конструкторов. Моя мама русская, а папа из Женевы». Инженер был очень спокоен, уверен, великолепно одет, вел себя и смотрел на мир без вызова и агрессии. У него было лицо спокойное, лицо не спорщика, не скандалиста, но знающего себе цену человека. «Не спрашиваю вас ни о чем, Леон, — сказал он Кравецу неожиданно, — у нас это не принято». Кравец поглядел на него с любопытством. «У кого это, у нас?», — весело подумал Леон. «Я никого ни о чем не спрашивал в Ленинграде, люди мне понравились, русскому меня научила моя мама. Мои собеседники считают, что мой русский язык вполне приличный, вы тоже так считаете, Леон?». — «Конечно, ваш русский почти совершенный, господин Шварц», — без колебаний ответил Леон. Он был восхищен вопросом своего соседа.

Тот откинулся в кресле очень довольный и, подумав, спросил: «Вы, кажется, эмигрируете из СССР, я правильно вас понимаю, господин Кравец?». — «Все верно понимаете, кто у нас еще летает в Вену, хе-хе? Иностранцы, спортсмены и люди моей веры, Моисеевой». Откуда, Кравец совершенно неожиданно для себя, из каких недр памяти, извлек Моисееву веру, он не знал, просто появилась эта вера в нем, как важное и даже важнейшее приложение к его жизни, и все.

— Можно говорить свободно, правда? Мы на нейтральной территории, нас никто не слушает, нам ничего за это не будет, это впервые со мной случается за последние три месяца, такое неожиданное и сладкое чувство, могу говорить совершенно свободно с незнакомым человеком, — Шварц с широкой улыбкой взглянул на Леона, показав совершенный ряд белоснежных зубов.

«Удивительный человек, ведь взрослый, образованный, умный, прожил жизнь в Женеве — и на тебе. Ко всему, и мама у него русская, непонятно...» — подумал Кравец, улыбаясь швейцарцу как родному брату. Он кивнул ему и тихо произнес: «Конечно, конечно, какое сладкое чувство говорить, что и как хочешь, после столь долгого молчания, я так вас понимаю. А когда и как ваша матушка уехала отсюда?».

Шварц посмотрел на Леона с интересом: «Вы очень быстро понимаете ситуацию, вы молоды и решительны, я ценю ваш взгляд на жизнь, господин Кравец. Возможно, сейчас вы узнаете что-то новое. Моя мама выехала из Советской России в 1922 году на «философском пароходе», вместе со своим отцом, профессором античной литературы. Ей было 19 лет, в Берлине она тут же познакомилась и вышла замуж по любви за швейцарского инженера Геральда Шварца. Они уехали в страну Швейцарию, где я родился, и живут до сих пор в согласии в городе Женева».

Шварц облегченно вздохнул и откинулся на спинку кресла с видом человека, выполнившего свой долг. Его бордовый галстук был безукоризненно вывязан, синего цвета рубашка из батиста идеально подходила его подстриженным серым усам пятидесятилетнего здорового, не обремененного жизнью человека, с усердием выполнившего свой гражданский долг. Шварц был похож на западного киноартиста, а может быть, он им и был, кто знает, кто там разбирается в подробностях этой развитой индустрии.

— Томас Геральдович, давайте выпьем за вашу маму и за вас, за вашу невероятную судьбу, — Леон достал из своей сумки, хранившейся в ногах, бутылку армянского коньяка, — вез в Иерусалим, но ради вас нарушим ее целостность...

Мысль молодого человека была не новая, заскорузлая, но все равно важная.

Шварц покосился на бутылку, что-то понял и решил, потом сказал медленно проходившей стюардессе: «Подождите. Принесите нам два двойных виски, пожалуйста, у вас же есть виски для пассажиров, я не ошибаюсь? У вас в «Аэрофлоте» все есть, конечно, я уверен в этом». Девушка покосилась на Шварца, который был похож на важного иностранца, и был им, наверное, несмотря на русский язык безо всякого акцента в устах, и ответила без колебаний: «Да, конечно, уже несу».

Через несколько мгновений она вернулась быстрым шагом, покачивая подвижными значительными бедрами в сдержанного объема форменной юбке. В руках ее был заставлен-

ный стаканами и блюдцами наивного вида поднос из лакированной черной фанеры. «Пожалуйста», — она хотела сказать «господа», но удержалась, так как господ здесь нет, а товарищи остались там, в Шереметьево. Эти мужчины были симпатичны, трезвы, непонятны. Шварц взял два стакана со стукнувшими о стенки кубиками льда. «Чтобы все у вас было хорошо, Леон, я вам этого желаю, ваше решение достойно уважения», — и выпил свои щедрые бесплатные грамм восемьдесят янтарно-бурого цвета совершенно по-русски одним глотком. А чего здесь выжидать, думать, взвешивать, раз — и все. И не думая о впечатлении, кто там чего подумает или скажет. Раз — и все, так и надо. Леон, покрытый странной и необычной одеждой, сделанной им самим для себя, сделал то же самое одним веселым глотком. Мужчины в креслах через проход, летевшие с ними в одно европейское место, нагладевшись на чужую радость, позавидовали, оживились, расслабились и заказали стоявшей поодаль стюардессе, негромко и уверенно, и себе такого: «Два двойных, как и им, нам». Девушка постояла мгновение, как бы задумалась и побежала исполнять.

Стюардесса ходила за новыми порциями для Шварца и Леона еще раза три или четыре. Не удивлялась. Старшая смены делала ей страшные глаза, но беспрекословно выдавала бутылки: «Перерасход, Люда. Откуда они узнали, ты сказала? Только об одном и думаешь, давай беги, заждались алкаши наши», — и бутерброды с копченой колбасой, шоколадки, орешки, минеральную воду, выхода у нее не было, швейцарец был ей подозрителен, явно имел связи. «Неси, Людка, и улыбайся там», — говорила старшая вдогонку смеющейся и бодрой от внимания мужчин в салоне горячей и легкой полнокровной девушке с тяжкими такими дамскими чреслами. «Перерасход у тебя, Людмила», — говорила ей старшая в минуты отдыха поощрительно. «Что есть, то есть, все наше, пылающее, отечественное».

Кравец на самом деле твердо знал, кого любит, а кого не любит. Больше всего он любил рисовать эскизы одежды, в основном, для мужчин. Иногда он чертил одежду и для женщин,

делая это в полную свою силу, но он всегда боялся слишком увлечься, была за ним такая слабость. Он не мог победить себя и свое нутро, свой серьезный недостаток, хотя честно старался.

— Как же вы решились, такой поступок, а вы так молоды, Леон? — спрашивал Шварц, косясь на соседа блеклым русско-швейцарским глазом. — Если у вас есть проблемы с объяснениями, то не надо, я не настаиваю, я кое в чем разобрался за эти месяцы в Ленинграде. Просто вопрос.

Кравец подавлял чувство голода в отношении всех тех дорогостоящих продуктов, который приносила быстрым шагом стюардесса Людмила, Шварц же не жаловался на аппетит. Ему нравилось просто находиться в советском, задевающим его нежную душу самолете, который гнал в Вену на высоте 9000 метров с неопишуемой скоростью, летя выше белых кучных облаков. Он был расслаблен и смотрел вокруг себя с поощрительной довольной улыбкой. Он считал, что многое понимает в этой жизни в свои сорок девять с половиной тихих лет. Он никогда не плакал большими слезами ни о чем. Кравец был ему интересен своей необъяснимой юношеской независимостью. Россия не была родиной Шварца и не могла ею быть. Мать его и невероятный русский язык, которым он владел не с удовольствием, не продвинули Шварца в любви к этой стране. В глубине души он называл ее чужой и даже враждебной себе страной.

Но мама, обожаемая им мама не разрешала ему произносить эти слова. «И даже думать об этом не смей. У меня больше оснований их ненавидеть, а вот поди ж ты, что может сделать с нами время», — так не совсем понятно она говорила ему в Женеве, задумчиво глядя на знаменитое озеро и поправляя на плечах шерстяной плед, сотканный где-то в окрестностях нереального города Аппенцель. Она переворачивала страницу книги воспоминаний своей давней знакомой еще по Петербургу, иногда протирая платком нечаянно набежавшую слезу, и затем говорила сыну: «Вези меня домой, мой мальчик». Томас послушно брался за ручки ее инвалидного кресла-каталки, осторожно разворачивал его и бесшумно катил по

краю выметенного тротуара домой метров 600–650 примерно. Ему это было не тяжело физически, хотя он всегда бывал опустошен после этих прогулок в психологическом плане. Спокойнее он не становился, общаясь с матерью, вот такой вот серьезный пробел и даже недостаток.

— Точно я не могу вам сказать, Томас Геральдович, — улышав «Геральдович», Шварц сморщился, напрягши шею и левую часть лица. Был бы он трезвым, он, конечно бы, сумел скрыть недовольство, но он не был трезвым. 400 примерно грамм выпитого им виски при всей его привычной альпийской крепости не могли не отразиться на его поведении, произносимых словах и отношениях с окружающими его людьми.

— Скажу, что вспомнив все про то, что было со мной, происходило со мной за эти месяцы, не могу ответить вам на этот вопрос, как говорит наш важный начальник, всеобъемлюще, — продолжил Леон. Он не иронизировал совсем, он легкий человек и даже на первый взгляд вполне легкомысленный. Потому, вероятно, он и выжил без преград в этой жизни и этой стране, в которой далеко не все люди выживали, это знают все.

— Да, я догадываюсь, что все так и есть, как вы говорите. Ни секунды не сомневаюсь. И потом, скажу вам честно, все же есть еще один мотив вашего поступка, мистический, наверное, вы уже догадались, — Шварц, рациональный и все запоминавший, почти посторонний России человек, весьма эгоистичный и самовлюбленный, вернулся к действительности. — Вы же понимаете мою мысль, вижу по глазам, что эта стыдная тема важна для вас — и она является определяющей в вашем поступке.

«Никак не может успокоиться, да я и сам виноват, конечно», — с досадой подумал Леон. Выпивка его не слишком разобрала, сказалось возбуждение и общее состояние тела и души, состояние веселого молодого ожидания. Горячее тепло жизни и счастливого ожидания неизвестного будущего не давало ничему нарушить приподнятого настроения Леона. Он понимал и знал, что именно хочет услышать от него Шварц, но говорить ничего ему не хотел, потому что это не его равно-

душное дело. Да и невозможно ведь делиться потайными местами сознания с посторонними иностранцами, и не с иностранцами тоже нельзя. Свое надо хранить при себе, это Леон знал твердо. Его выдвинутое вперед, как в бою, правое плечо и сжатые губы выражали недовольство. «Кто ты такой, чтобы я с тобой говорил на все твои отвратительные темы?» — так выглядел Леон Кравец, протрезвевший молодой человек без какого-либо гражданства и особой привязанности к земле.

Шварц отнесся к молчанию собутельника с уважением, кажется. Подавил в себе возникшее раздражение и сказал примирительно:

— Не обижайтесь на меня, Леон, мое любопытство объяснимо. Я не хочу ничего из вас вытянуть предосудительного или стыдного, я просто здесь, на нейтральной воздушной территории за облаками, на уютной скорости в 900 км в час хочу кое-что понять для себя, это ведь так просто, — как маленькому мальчику объяснял Шварц Леону.

Леон отвернулся от него, подумал, пожевал затвердевший кусочек булки от бывшего бутерброда и стал думать. Сердце у него к такому разговору не лежало, да еще с таким иностранным любопытным человеком, но что поделать. Нечего было расслабляться, нечего было виски хлестать с кем не попадя, давай теперь. Его тело ослабело от алкоголя, выпитого с незнакомым инженером из Швейцарии, у которого была мама русская, что совершенно не сближало их. Разница между ними была огромная, Кравец оказался скромнее и жестче Шварца, который, выпив лишнего, посчитал, что можно интересоваться и спрашивать со звериным любопытством про потаенные мысли и их происхождение. Кравец оказался человеком с сильным характером взрослого упряма. Он сказал Шварцу, посчитав такую фразу смягченной и понимаемой даже вот таким чуждым и мало чего понимающим в русской жизни человеком:

— Это все от усталости. Я уехал, устав скрывать, кто я и что я. Стесняться своего отчества, умения и слова в графе национальность. Понимаете?! Я не хочу притворяться своим, как

остальные, вздрагивать от звучания имени моего отца и определяться со своим именем, которое было иным, — Леон говорил быстро и высоким голосом, но без алкогольного запала, он держал себя в руках почти всегда.

— А каковым было ваше имя от родителей? — поинтересовался Шварц, не повернув к Леону головы.

— Элизер было мое имя. Но нельзя в этой стране без большого напряжения нервов и мышц, и большого неудобства, и жуткой неловкости прожить жизнь с таким именем, это невозможно...

Уж на что умный, почти русский по происхождению и опытейший Шварц с многомесячной работой в конструкторском бюро на огромном советском заводе, с обязательной выпивкой в день полочки и в другие дни тоже, с безупречным русским языком, почти родным, насколько он в русской жизни разбирался, имея над собой уютного дядьку в ковбойке с галстуком, Семена Абрамыча, в качестве соображающего начальника, а здесь и он удивился, покачал аккуратной головой с седым пробором, сказал с сожалением: не знаю, мол, и не знал.

Кравец поглядел на него не без плохо скрытого раздражения и ничего больше не сказал. Он высказал все, что хотел, теперь пришло время молчать.

— Не нервничайте так, Леон, не надо. Я спросил, точнее, намеревался спросить обо всем этом не специально. Меня это занимает, я не все понимаю: в Союзе, со всеми сложностями, так уютно жить, так удобно. Разве нет? Почему надо уезжать за тридевять земель в жаркие края, в пустыню, где стрельба, наличие многих злодеев, невыносимая, непривычная погода, полная неизвестность, почему?! Скажу вам по секрету: я полная психологическая и физиономическая копия своего отца, ничего от мамы, понимаете? Ха-ха, — Шварц был в хорошем расположении, несмотря на неразрешенные вопросы, которые терзали его. Выпить он любил, как всякий русский.

Кравец на это извлек свою бутылку коньяка, потому что заказывать еще виски было уже неудобно ему. Шварц покивал на эти действия понимающе, со сдержанным одобрением.

Люда принесла им закуску: орешки там, минералку и несколько бутербродов с костромским сыром, другого ничего не осталось. Сыр был хороший, даже по мнению Шварца, понимавшего в сырах очень неплохо благодаря стране происхождения и места проживания.

— Ситуация с самим собой в конце концов уничтожает тебя, ты превращаешься в нервного, вздорного, трусливого человека, который боится собственной тени, усмешки незнакомого человека, нейтрального взгляда соседа из соседней парадной, да мало ли чего еще. Ты подстраиваешься под этот вал презрительного отрицания и... — тут Леон осекся в своих речах, кажется, смутился, потому что искренне не любил пламенных монологов в пустоту.

В окошке с открытой шторкой пейзаж с клубящимися облаками не менялся. Складывалось полное ощущение того, что самолет не двигался, а висел над этим пухлым покрывалом. Только мерцали красные огоньки на крыльях, создавая иллюзию жизни этого огромного металлического предмета, пролетавшего над Венгрией уже. Вылетели рано утром, прошло с тех пор время.

— Вы, кажется, не договорили, Леон, — напомнил Шварц тусклым голосом. Он не устал, но как-то потускнел, потерял свой швейцарский лоск, потух, иначе говоря.

— Нет хватит, слишком много всего, тут старый психиатр нужен, он все вам объяснит про нашего брата эмигранта, — Леон поднял свой стакан навстречу Шварцу, тот без прежнего энтузиазма, но повторил за ним. Они выпили так, как никто из опытных знатоков не советует пить коньяк, иначе говоря, подикарски, залпом. Но уже и некому было их поправить и определить необходимый вектор.

— У нас Леон в этом вопросе, эмиграции во Второй мировой войне, есть плохая память и живой кризис. У нас большая общая граница с Германией. Мы не впустили беглецов-беженцев из Германии к нам во время войны с нацизмом, мы были нейтральны, но границы перекрыли наглухо, отчаявшиеся люди возвращались обратно в Германию на смерть.

Ваши люди, вы меня понимаете какие, да, стучались к нам за помощью — и им дали от ворот поворот, здесь вас не ждут. Эта вина за жизнь тысяч невинных, которых можно было спасти, давит на нас и грызет и гложет нашу национальную совесть до сего дня. Мама моя пыталась тогда что-то сделать, помочь, обогреть, накормить. Это была капля в море, она корит себя до сегодня за то время, — этот Шварц оправдывался, как будто искал прощения. Кравец вряд ли был правильным адресом для него, для его откровений. Кравец сказал:

— Слушайте, Томас, я ничего этого не знал про вашу страну, у нас ничего про это не писали и не говорили. Довольно жуткий рассказ ваш. Я не знаю, что такое национальная совесть, я догадываюсь об этом и не уверен, что мои догадки правильны. Я сейчас слишком возбужден, чтобы все понимать верно. Но, конечно, ваш рассказ невероятен, я ничего не знал, ничего. В моей удобной розовой бывшей стране об этом чужом постороннем прошлом не говорят много, и немного тоже не говорят. Так удобно устроена советская жизнь: раз я не знаю, то этого и нет.

Кравец был против откровений с собеседниками категорически. Юношей ему сказал отец, когда Леон еще жил с родителями в их малюсеньком, по русским масштабам, городке, а он слушал его и почитал тогда: «Не откровенничай ни с кем, никто никому не интересен, а если интересен, то значит у него есть задание. Не хвастай, будь скромн, не болтай лишнего и вообще не болтай, да? Ты понял меня?!» — отец Леона был осторожный, даже кроткий человек, как и отец этого отца. Все они в семье были таковыми, только вот Леон выбился из ряда и изредка бывал совсем другим, только изредка.

Соседи их по самолету, средних лет итээры, летевшие в командировку в дружескую Югославию почему-то через Вену, следовавшие заразительному примеру Кравца и Шварца и выпившие все, что не допили иностранец и человек без гражданства известной всем веры, шумно равнодушно спали, разувшись, разбросав башмаки между кресел, распустив узлы галстуков, расстегнув верхние пуговицы на рубашках и на-

блюдая за своими плотно сжатыми веками яркие сны со сценами суровой любви, откинув крепкие головы с голыми светлыми затылками, стриженными под бокс, на белые накрахмаленные накидки, венчавшие кресла. Эти люди надеялись на будущее, часто дышали, жадно насыщая свои тела кислородом и отчаянно и тщетно призывая себе, своим телам и душам, счастье и молодость.

Отвернув лицо от созерцания этих джентльменов, Шварц сказал Леону без особого любопытства:

— Разве в вас нет сейчас в этом неподвижном на первый взгляд самолете чувства злорадства? Мол, я ушел от вас и вашей нелюбви, от черни и брезгливого презрения, в другое место, для вас недоступное, а?!

Кравец, очнувшийся от приступа пьяного откровения, подтянулся, сжался и после некоторой паузы сказал:

— Ничего подобного не испытываю, я вышел из этого состояния и вижу жизнь без лишних чувств, каковыми считаю злорадство, ненависть и что там еще можно испытывать, презрение, да?! Я сбросил со своей спины большой вес, мне легче дышать и с интересом смотреть вокруг себя.

Шварц смотрел на него удивленным взглядом, человек преобразился на глазах, действительно как бы выпрямился, он не пытался произвести впечатление, выглядеть значительнее и лучше. Кравец стал самим собой, это нравилось.

Людмила, воодушевленная вниманием и интересом мужчин, и просто молодостью своих лет, разбрасывая туфлями на ходу салфетки на ковровом полу советского борта, подлетела к ним, держа склоненную послушную спину, со стаканами воды в руках и сказав: «Это боржоми, попейте, обновитесь», — с ходу предложила Шварцу и Леону попить. От летучего слова «мальчики» в своей фразе она в последний момент удержалась и верно сделала. Она бы не была понята. Она покосилась на Леона, который ей пришелся. Заметим здесь на всякий случай, что эта Люда была не та девочка Люда, которой в школе Кравец зашил порванное платье. У них с этой Людой было много общего, но судьбы были другие, разные судьбы. Эта

Люда в синем форменном костюмчике из самолета, наверное, не отказалась бы и от солидного Шварца, он был представительный и аккуратный, и говорил по-русски без акцента. Оба они выпили жадно минеральной воды, Шварц отослал девушку обратно, у него остались недосказанности и недоговоренности, которые было необходимо обязательно прояснить с этим парнем. Вот прост и лукав, казалось, ан нет. «Нельзя недооценивать людей заранее, Том», — говорила ему его сентиментальная, очень честная мама, не плакавшая почти никогда. А отец его вообще был кремень, как ему и полагалось быть. А сам Томас, как можно было уже понять раньше, был пунктуален, дотошен, даже въедлив, прежде всего другого.

Но Кравец не стал больше ничего Томасу объяснять, проехали мимо. Шварц тоже не полез со своими историческими рассказами про чью-то вину перед евреями, мало ли у кого вина перед другими людьми, и ничего, живут... До самой Вены они промолчали, думая свои мысли о своем. Перед посадкой в аэропорту Шварц вручил Леону свою визитную карточку, достав ее длинными пальцами пианиста-любителя из нагрудного кармана пиджака песчаного цвета. На визитке, заказанной им перед командировкой в СССР, готическим белым шрифтом по-русски были написаны его имя, фамилия, профессия и два телефона, рабочий и домашний. На обороте Томас написал еще один номер:

— Это мамин, она всегда дома, сможет тебе рассказать, где меня найти. Ее звать Варвара Георгиевна, она говорит по-русски с удовольствием. Прощайте, Леон Кравец.

Шварц вышел из самолета чуть ли не первым, устал находиться в закрытом пространстве и не хотел больше видеть ни Леона, ни соседей, судорожно приводивших себя в порядок. Он очень устал от этого русского вольного необъяснимого напряжения. Только Людмила в синем форменном красивом костюмчике проводила его улыбкой, в которой не хотела скрыть ничего, а наоборот. Он стукнул каблуками кожаных штучных башмаков, обрамленных стальными под-

ковками, о железные ступени трапа, и спустился вниз на бетонную полосу аэродрома, облитую послеобеденным венским ласковым солнцем.

А Кравец вышел из чрева самолета, из шалого сиреневого взгляда Людмилы, наоборот, полный надежд, сил и понятного молодого любопытства дикого зверя, необъезженного строптивного животного, вырвавшегося из вольера на головокружительную сверкающую свободу. У Леона был неустоявшийся голос юноши, еще не определившегося в жизни. Это было обманчивое впечатление, потому что этот человек твердо знал, чего хочет от жизни, от себя и в жизни, как в течении прожитых лет. Сейчас ситуация с Леоном Кравцом была иной. Он растерялся на трапе, простившись с самолетом и ослабевшей во внезапно осевшей и оплывшей внешности Людмилой, потерявшей за несколько мгновений двух близких ее сердцу мужчин, исчезнувших в чреве нарядного лакированного автобуса. Пышущий аэродромный воздух не остудил Леона, он никого не остудил и остудить не мог. Никакого излишка кислорода не было в нем. Но все-таки некоторый привкус чего-то свежего ощущался. Уже сходя с трапа на бетон, Леон зацепился за металлический выступ сбоку от столбика с перилами и порвал ладонь от большого пальца правой ведущей руки до мизинца. Он перевязал носовым платком рану, остановил кровь, затянув узел зубами, и шагнул в автобус, на ступенях которого стоял невысокий, в плохо сидящем пиджаке на согнутых плечах, человек. Он громко повторял одну и ту же фразу, произнося ее с чуть заметным акцентом: «Господа, кто в Израиль, прошу сюда».

Местный полицейский, полный человек в светлой рубашке, в берете и с короткоствольным автоматом наперевес, поглядел на Леона с известным недоверием, так Кравцу показалось в горячке перевязки раны и изменения курса. Все пассажиры шли в здание аэропорта, а будущих израильтян хотели везти на автобусе в сверкающую и пылающую в восторге и надежде неизвестность. Всего тех, кто в Израиль, набралось четырнадцать человек из самолета. Интересно, что среди них

оказался и соседний итэээр, определить которого евреем было очень трудно. Он протрезвел, причесался, успел умыться, увидев Леона, кивнул и, скривив мятое лицо, улыбнулся ему как старому знакомому. Не все пассажиры летели с пересадкой в Югославию, как выяснилось.

Мужчина, приглашавший в Израиль со ступенек автобуса, брезгливо посторонился, пропуская Леона в салон. «Проходите скорее и садитесь, я вам дам пластырь для раны, чтобы вы ничего не испачкали внутри имущества, не дай бог. Имущество это не наше, а Австрия — страна аккуратная и чистая, не то, что наша, хоче плоц», — поучительным и одновременно недовольным тоном сказал он Кравцу в спину.

В Израиль прилетели в три часа утра. Из самолета вышли большой группой, с авоськами, чемоданами, зимними пальто и картонками с посудой. Странные советские люди Моисеевой веры.

Девушка в военной форме с расстегнутым воротом гимнастерки провела их в ангар, где все расселись перед столами метрах в 10–15 от них. По одному люди подходили к дамам за столами, получая у них паспорта, какие-то деньги, направления с адресом и билеты на заказанные такси.

Женщина за шатким столиком отпустила пожилого дядьку, тучного москвича в шляпе, из категории тех людей, про которых наблюдательная, едкая на язык, с высокими скулами глазастая знакомая Леона, жившая на Пионерской улице, небрежно говорила: «Ну, это крепкий хозяйственник или завхоз, член профкома», — на что Леон всегда раздражался и бурчал ей: «Чего ты всех судишь, проживи его жизнь и тогда говори». Мужчина отошел в сторону, неся чемодан и сетку с чем-то важным для него, держа одновременно в руке несколько листов бумаги.

Женщина за столом кивнула Леону, устало вздохнув и откинувшись на спинку стула, вид у нее был бледный и утомленный. Поток людей с венского самолета был, казалось, нескончаемым, а их тут на приеме и выдаче документов было всего ничего, четыре человека, Алка, хитрюга, на смену не вышла, опять сказавшись больной.

Леон поднялся и пошел к ней широким шагом, во всей своей красе, высокий, с широкой грудной клеткой, с расстегнутой у высокой шеи рубашкой, сшитой им самим. При нем был подержанный портфель на старомодных застежках из буйволиной кожи, в котором находились драгоценные для Леона эскизы костюмов, которые он сам придумал и дорожил ими. Выглядел он победно, несмотря на усталость и час. На безымянном пальце левой руки сверкал червонный перстень с печаткой, в лацкане пиджака был спрятан чужой бриллиант, он был готов к новой жизни на новом месте. На углах острого воротника рубашки были вышиты золотой ниткой буквы Л. К. Вот так он себя ценил, этот Кравец. Еще на нем были брезентовые брюки, также пошитые почти перед самым отъездом, и пиджак, переброшенный через локоть. Пиджак Леон также сшил себе сам, никому он не доверял в этом деле, ценил только себя и никого больше. Он был портной от рождения. Все у него в семье были портными: дед, отец и даже покойный дядька из Липецка — все портные.

— Так, — сказала женщина, рассматривая розовую бумажку, с которой Леон выехал из Союза, — так. Кравец Леон Вениаминович, так. Вы кто по профессии, господин Кравец?

Она глядела на него внимательно и пристально, собрав лицо в единое женское целое, изучая его тело, походку, одежду и готовность к будущему. Ее русский язык звучал очень похоже на те классические советские каноны, которые успешно слушал и не менее успешно изучал Леон в своем пединституте.

— У меня диплом преподавателя английского языка, — сказал Леон с тайным значением и взрослой важностью, — могу работать в средней школе согласно своему диплому. Но подчеркну, что по профессии и призванию я кутюрье, ко мне очередь была в Москве надолго вперед, я сам из глубокой провинции, переехал в столицу три года назад, был тут же признан тамошними знатоками моды, теперь вот приехал в Израиль жить и трудиться, вот мои эскизы, я привез их с собой. Не хотели пропускать глупые люди, но я сумел это сделать.

И он широким движением опытного фокусника, бросая резкие молодые блики от золотого перстня на безымянном

пальце левой руки перед собой, извлек перед всех и вся перевидавшей на этом рабочем месте по оформлению новоприбывших молодой чиновницы из все того же пиджака свернутый рулон с ватманскими плотными листами. Свежее молодое семитское лицо его выражало готовность, надежду и свет победы. Над кем и чем победы — было неясно здесь, в огромном свежем ночном пространстве авиационного ангара, в котором был устроен зал для приема новых граждан, но победы. Он сидел, вместе с тем, на самом краю стула, и чиновница, смущенная этим двадцатичетырехлетним парнем, модно и красиво одетым, в отличие от абсолютного большинства новоприбывших, обратила на это внимание как бы между прочим, поставив галочку для себя, исключительно для себя, в его личном деле, заполнявшемся ею. Никому это дело Леона, сына Вениаминова Кравеца, как потом выяснилось, было не нужно. Но дама эта в кофточке без рукавов с открытыми сливочными плечами, накрытыми фиговым цветным шарфиком, старательно заполняла странички, ставила галочки тут и там, привычно и аккуратно, так ее учили и так от нее требовали. Она знала, что все это бюрократическая проформа, и ни на что ничего не влияет, но это была ее работа — и она ее делала.

Она сама приехала сюда жить из городка в юго-западной Украине лишь четыре насыщенных года назад, поднялась и прошла, раскачивая спиной плечи и ягодицы, в дверь позади себя, показав себя Леону во всей значительной спелой красе. В зале пахло кошеной, умерщвленной людьми травой с территории вокруг ангара, жженым бензином и свежайшей ночной прохладой — и эти запахи добавляли в жизнь Леона необходимое праздничное возбуждение. Вскоре женщина вернулась, неся в руках поднос с обжаренными булочками. «Угощайтесь Кравец, это бурекасы, пирожки с сыром, турецкая выпечка, очень вкусно, не стесняйтесь», — сказала дама. Это было очень вкусно, правда-правда, женщина не лгала. Кравец был голоден, ничего не ел с утра, быстро проглотил два пирожка, смутился и резко вытер руки о салфетку. «Хватит, ты что, не позорься, Леон», — сказал он себе.

Дама внимательно переворачивала листы Леона, развернув их перед собой и отодвинув от подноса с едой, о который можно было испачкать нарисованное. Эскизы этого парня показались ей необычными и странными. Что-то она понимала в этом, о чем-то догадывалась. Мужская мода была близка ее сердцу и коже. Прямые линии, какие-то треугольники вместо плеч, обтянутые сильные бедра, накладные карманы, яркие апельсиновые и хвойные цвета, и все такое, тому подобное. Она пожала плечами и сказала Леону, чуть подумав и вздохнув, значительным с хрипотцой голосом, но без наставления: «У нас такое не носят, здесь одеваются просто: сандалии на босу ногу, потертые джинсы, рубашки с короткими рукавами, документы в заднем кармане брюк — и это все, просто и конструктивно. Я ничего не знаю и не предсказываю. Вам будет здесь трудно реализоваться, но мне кажется, у вас есть шанс, надо надеяться, вы такой энергичный, сильный, господин Кравец, не расстраивайтесь».

Кравец и не думал расстраиваться. «С чего вдруг расстраиваться, что вы, я изменю здесь взгляд на моду, я верю в это, это для меня очевидно, не сомневайтесь», — сказал он и от возбуждения придвинулся к столу и взял себе еще пирожок: «Очень вкусно, и вы тоже верьте». Дама улыбнулась ему, он ей определенно нравился, этот парень, полный планов и надежд на новую жизнь. «Упрямец, на упрямстве все держится в характере», — это она уже поняла и догадалась за все недолгое время здесь. Она тоже взяла пирожок с подноса, и они поели, не стесняясь аппетита, в четыре руки, насыщая молодые тела и еще больше разгоняя токи жизни в них. Было без десяти пять утра, самое время для раннего завтрака, нет? «Кутюрье — это модельер, иначе говоря, да?» — не то спрашивала дама, не отвечала сама себе. Леон не реагировал, что говорить, когда она сама все понимает прекрасно. «Мне нравится черный цвет с малых лет, не поверите», — сказала она вдруг. Потом подумала, что «какой откровенный, его ведь девушки любят наверняка, одиноким этот парень точно не будет», — то ли с сожалением подумала об этом государственная чиновни-

ца, то ли с удовольствием — было не все ясно с нею, женское начало часто брало у нее верх над рабочими обязанностями. Этими качествами, живой ревностью и государственной необходимостью, она одобряла свое существование, подчеркивала его необходимость в жизни людей вокруг.

Кравец не приехал куда попало, он твердо знал, где хотел поселиться в стране Израиля. Он откуда-то знал, считал, был убежден, что есть сияющий град на холме — и он будет жить там. Чиновница после некоторых сомнений, против рабочих инструкций, отправила Леона вместе с его эскизами, чемоданом, рюкзаком и чужим бриллиантом в Иерусалим, как он просил. Человек просит, значит надо уважить его желания, разве нет?! Так рассуждала дама, резонно и рассудительно, с некоторым нарушением приказов старшего начальства, но на то они и приказы, чтобы их нарушать. Дама была сама по себе, способная на своеволие, как можно было уже понять.

Большое рабочее сердце Леона билось в его груди радостно и сильно в ожидании новой жизни на новом месте проживания. Он думал о Иерусалиме, считая этот город самым подходящим для его обширных планов большой будущей жизни. «Основа всех основ для нас, этот город», — решил он для себя навсегда.

Подъезд дома на улице Шимони был не заперт. Леон пересек в четыре широких быстрых шага желтоватый газон, не наступая почему-то на плитки дорожки, залез в узкую кабину лифта прямо напротив входа и поднялся на седьмой этаж, с трудом изогнувшись под тяжестью вещей и нажав непонятно как необходимую кнопку. Он выбрался из лязгнувшего лифта в наружное пространство со всем своим не таким и многочисленным, но неудобным для переноса личным скарбом и нажал кнопку звонка на прочной входной двери. После паузы, заполненной странной музыкой и стуком упавшего металлического предмета, ему открыл высокий малый с длинными по плечи волосами. Он был в распахнутом халате по колено. Его внешность, обильная растительность на груди, белоснежная кожа лица, высокий лоб, не оставляли сомнений в его происхождении.

— Это ты, Леон Кравец? Заходи, располагайся, вещи оставь здесь, проходи в салон, не стесняйся, — малый был громкоголос, доброжелателен, чтобы не сказать весел. Для столь раннего часа в столице, в почти просветлевшем свежем воздухе, он располагал к себе сразу.

— Мне Тимурчик звонил позавчера, я тебя ждал вчера, погоди, нам сейчас сделают завтрак, чай там, кофе, бутербродики, огурчики, яишенку, колбаску, что душа твоя мятущаяся пожелает, все тебе, могу и налить, конечно, у меня «Курвуазье» есть, виски «Белая лошадь» по кличке «Черный конь», хехе, все есть, давай, располагайся, Леон Вениаминович, — он казалось все про гостя знал, так должно было быть. — Дани, — сказал он негромко, — выходи, покажись народу по утру, давай, девочка моя.

Рукопожатие его было энергичным и не очень мощным. Он был пухловат, неширок в плечах, но компенсировал все эти явные физические недостатки большой энергией, читаемой в глазах, любопытством и быстрой сообразительностью, о которой можно было догадаться, только взглянув на него. За ним, за его силуэтом раскрылась дверь — и в пространство гостиной вышла девушка чуть выше хозяина ростом, который и сам был не мал.

Она прошла три шага, спина прямая, лицо спокойное и усталое, издали поздоровалась с Леоном, не улыбаясь, не говоря ни слова, но склоняя голову вперед в знак приветствия. «Вот это да», — только и подумал Леон, это был его час восхищения.

— Ее звать Дана, она умеет разговаривать, просто этот час еще не настал для нее, — объяснил хозяин. — Меня, как вы, наверное, знаете, господин Леон Кравец, зовут Костей, при рождении был назван Шмерой, но там, где я жил и вырос, и провел благие юношеские годы, меня переназвали снова в Костю для моего же блага, и они были правы, эти люди, хаха, — сказал хозяин.

Он повернулся всем корпусом, рыхлый и энергичный, к девушке и сказал ей:

— Приготовь нам завтрак, Данале, человек с дороги, видишь, поздоровайся с ним.

Дана пожала руку Леону, посмотрела ему в лицо и сказала хрипловатым со сна голосом по-русски:

— Мне приятно познакомиться с вами, Леон.

Акцента у нее не было, но мгновенный, пристальный взгляд на нее сразу давал понять, что эта девушка была местная, ничего советского, ничего ни от той Люды из школы, ни от Людмилы из самолета, в ней нету, это другой женский человек. Тоже замечательный, но другой.

Дана вышла из гостиной, кивнув Косте, что поняла и сейчас сделает завтрак для общего утреннего насыщения и укрепления тел и душ. Костя уселся напротив Леона и быстро сказал:

— Там мне посылочка была от моего товарища, да!

Фраза эта не звучала вопросом. У Леона не было времени и настроения обдумывать чужие слова и делать выводы. Он кивнул, что «да, Тимур прислал вам, Константин Шмерович, кое-что».

— Давайте я скажу вам, где что лежит, Леон, — воспламенился хозяин. Кравец снял пиджак и повесил его на спинку стула, как лишний здесь предмет одежды.

— Сейчас скажу, — продолжил Костя, он был не в меру азартен. У него были еще недостатки, этот был из самых серьезных. На стене за Костей висел фотографический портрет бородатого человека в черном с огромной бородой, в шляпе и сюртуке. Без галстука и без намека на уступки жизни в глазах.

— Это мой прадед, Гирш-Нохум, большой человек был, наставник поколения, почитаемый в народе, люди к нему за советом и просьбами приходили. Толпами ждали слова его. Не слышали про него, Леон Вениаминович? — между прочим спросил Костя гостя. Тот разглядывал свой пиджак, решая задачу с двумя неизвестными. Извлекать бриллиант здесь и отдавать, или подумать и отложить? Если пригладеться к Косте, то можно было найти при усилении некоторое сходство с прадедом, но нужно было для этого сравнения время, желание и усилие.

—Посылка Тимура у вас спрятана в пиджаке, думаю, — победоносно сообщил Костя. Леон одновременно решил для себя свою задачу и быстрыми движениями, незаметными для постороннего взгляда, но не для Кости, конечно, который видел все, извлек из угла лацкана бриллиант и протянул его на ладони. Камешек блеснул пронзительным ночным светом и исчез в быстрых и почти неуловимых руках хозяина.

«Слава богу, что соседей нет, хорошо это», — подумал Леон.

— Через пару дней все решится, не стоит волноваться, Леон. Вы, в любом случае, при своих. Можете остановиться здесь у меня, место есть, я вас приглашаю. Тимур просил. Его просьба значит для меня очень много, почти все, будьте здесь как дома, Леон. Не тревожьтесь, вы все сделали идеально. Через два-три дня получите обещанное, — он был обаятелен и вел себя очень широко, гостеприимно. Он поглядел на него мельком, явно хотел что-то спросить еще, но не спросил. Леон ни в чем его и не думал подозревать, его наивность помогала ему в жизни часто, в этот раз тоже. Про вторую просьбу Тимура с долларовым фантиком он просто забыл, как это ни странно, но это чистая правда.

Он вышел на балкон и посмотрел на пейзаж, открывшийся перед ним. Картина была резкая и головокружительная. Ледяной вид зеленой впадины с деревьями и темным от росы зеленым газоном разил смотревшего на все это почти наповал. Леон подумал, что здесь с ним, его надеждами может произойти все что угодно. Безмолвно появился Костя и встал рядом с Леоном, облокотился о металлический поручень балкона и медленно сказал:

— Мне Тимур сообщил, что ты большой мастер пошива, кутюрье, можно сказать. Хочу заказать у тебя костюм для себя, первая работа в Иерусалиме. У меня фигура сложная, я и сам человек сложный, как ты мог понять. Заказ выгодный во всех смыслах, возьмешься?

— Да, с удовольствием, только у меня инструмента нет, эскизы с собой я привез, материала нет, хотя и есть важные, необходимые мелочи для работы...

— Вот-вот. Я швейную машинку тебе приготовил, случайно вспомнил, что есть, стоит три года без дела, вон, гляди, на столе в салоне, «Паннония» называется, и материал имеется, за два дня сделаешь? Очень важно, не пожалеешь.

Отказать ему было невозможно. Энергия и напор у этого человека были невероятные. Он пригладил вороные волосы назад, поправил положение плеч и вернулся в салон, не ожидая Леона. Швейная машинка, изготовленная в Венгрии, была совершенно новая, ее еще не включали даже. Кравец, вернувшийся вслед за Костей, еще не давший ни на что согласия, осмотрел ее, погладил лакированные бока и спросил, подняв лицо:

— А материал ваш где?

И тут осторожно, мелко ступая, с подносом на вытянутых длинных и нежных руках, зашла из кухни Дана. Ее завтрак был очень красив, разнообразен и непривычно вкусен. Так решил Леон, который никогда вообще не завтракал ни в Москве, ни в далеком от магистралей современной прогрессивной советской жизни городке своего детства и юности. Он просто не мог и не желал есть до двенадцати часов дня, а если что-то и ел утром, то какую-нибудь корку хлеба, стакан чая без сахара — и все, больше его тело не принимало. А здесь было не до воздержания. Леон смотрел на стол со столичными яствами Средиземноморья потрясенным взглядом. Обжаренный хлеб, помидоры и огурцы, апельсиновый сок, моченые перцы, сыр, творог, масло, зелень, красная рыба — и чего только нет... Голова шла кругом от всего этого разного вида, Леон присел напротив Кости, оценивая его сложение, которое не было идеальным, атлетическим, а совсем даже наоборот.

Плечи разной высоты, толстые щеки, кривой нос, толстые красные губы, пухлая грудь, выпирающий из халата живот, ноги, расходящиеся иксом от колен — человек из журнала «Крокодил» времен не столь далеких, но отчетливых и памятных. Купец-капиталист, человек Уолл-стрита, поклонник золотого тельца и пособник Вашингтона, не хватало только цилиндра, туфель черно-белого цвета и золотой цепочки на животе. Но глаза у Кости были пронзительные, желто-карие и

какие-то очень сильные, острые, сверкающие почти до неприличия. Очки к этим глазам подобрать было бы сложно, но очков Костя не носил, до очков дожить еще было надо. С ним не все было ясно Леону, но уже что и как делать с будущим костюмом для Кости, он знал. Как его кроить и строить, как шить, какого типа оформлять материал в широкую полоску. Двубортный, классический, солидный, в которых дела делают и закрывают такие люди как Костя. «Решено», — подумал быстро Леон и сказал:

— За два дня сделаю.

Костя вскинул брови, но промолчал, кашлянул и начал широко мазать на хлеб масло.

— Без примерки? — поинтересовался Костя.

— Надеюсь, ну, может быть, разок прикинем. Есть вопросы по брюкам, а так все нормально.

— Тогда то, что вопрос к брюкам, это хорошо сказано, — хохотнул Костя. На Леона он не обращал внимания, забыв, кажется, кто он такой вообще и почему здесь.

Дана выглядела сейчас иначе. Она переделалась в другой вид, причесалась, намазала красной помадой губы, тени на овальном чудесном лице остались, усталость спрятать не удалось. «Этот фавн ее замотал и вымотал ночью, кто же еще», — с неприязнью подумал Кравец верную мысль. Она, эта мысль, была ему почему-то отвратительна, хотя Костя был ему симпатичен и даже приятен. Костя с вопросительным видом смотрел на стол, что-то напряженно обдумывая, синие искры летали от его огромного ума в большой голове в разные стороны. В нем постоянно происходили процессы разной умственной мощи и энергетического заряда. Он все время что-то как будто взвешивал, соотносил, просчитывал и отгадывал в свою пользу и не в свою пользу тоже, отбрасывая свою гриву волос назад. Он, и это было очевидно, не мог смотреть просто так, бесцельно в пустое, холодное, сизое от тумана утро на геометрические пространства Иерусалима. Ему нужен был смысл и загадка для дальнейшего необходимого и нескучного существования в пространстве этой жизни.

Женщина, цвет глаз которой был изменчив, сейчас он был цвета густого дыма разжигаемого костра, положила Леону на тарелку разной еды, украсив все сверху ломтями красной, чуть соленой северной рыбы лосося из Атлантического океана. Это был так называемый дикий экземпляр, тогда еще не разводили эту чудную рыбу в огромных морских садках в невероятных количествах у берегов Норвегии и близлежащих к ней стран. Все было тогда в природе, как было прежде, все менялось медленнее, чем, скажем, летящая деловая мысль Кости Сироты. Фамилия Кости-Шмеры была Сирота, с ударением на втором слоге.

Леон ел чуть-чуть, это не ушло от внимания Даны и, конечно же, Кости.

— Что, не кажется тебе с непривычки вкусно все это? — спросил он, тон его речи был мягкий, участливый, даже душевный. Конечно же, у него была душа, у Кости Сироты.

— Нет, что вы, я просто с утра не могу есть: и там не мог, и здесь еще не приучился, — сказал Леон. Он почувствовал тонкий запах духов Даны и с наслаждением кивнул головой и закрыл глаза.

— Это «Шанель 19», я моей девочке подарил к празднику, она любит этот запах.

— Да, замечательно, — подтвердил Леон. Он действительно так считал про эти духи.

Костя разлил всем сока, а Дана, не опираясь руками, подняла стан, принесла из кухни фаянсовый высокий чайник с дымящимся кофе, источавшим запах, напомнивший Леону живительный напиток, который готовили в кафе «Амра» на набережной в Сухуми, где он отдыхал в октябре прошлого года. Тогда в Израиле шла война, и посетители живо обсуждали ее перипетии и возможное развитие. Потом Леон вернулся в Москву, та война еще не кончилась, и новые душевные знакомые его Марлен, Игорь и другие остались в «Амре» в волнении и тревоге. Кажется, специалиста по приготовлению кофе звали Ашот, но Леон не запомнил наверняка. А Марлена, динамовца, стрелка, хирурга, Игоря — писателя, физика и друга

Марлена и, конечно, художника Женю, крупного мужчину с большим лицом и даром изображения предметов в цвете, запомнил надолго, такие люди не забываются в юности.

— Замечательный кофе, Дана, почти как в Сухуми у Ашота, он готовил кофе на песке, там многие армяне так делают, — сказал Леон, — я восхищен, Дана.

Костя подвигал своими темно-желтыми с коричневым оттенком большими глазами ночного хищника вправо и влево, задержался на Леоне, потом посмотрел на Дану, взял чашку с кофе, поднес ко рту и отпил большой глоток, выдохнув «ах» и качнувшись скорее по привычке, он не чувствовал вкуса еды и питья в некоторые моменты. Сейчас был как раз такой момент, чего-то он там прокручивал в обе стороны, не до вкуса кофе ему было. Он не был семейным человеком в распространенном смысле этого слова, хотя относился к близким людям, и женщинам в особенности, очень хорошо.

— Меня уже пару лет все зовут, так я прошу себя называть, Дани. Я вас прошу, Леон, называйте меня Дани. Это в честь моего друга из школы, он в прошлом году погиб на Синае, не знаю, где точно, кажется, у канала, так с тех пор Дани, да! Меня звать Дани, — небольшой монолог женщины звучал хоть и негромко, но серьезно и звонко. Она все никак не могла успокоиться почему-то с историей своей любви, хотела сказать этому парню, что любовь не проходит и не забывается женщинами. Или она хотела это сказать себе. Наверное. Леон кивнул ей, что понял ее и будет теперь называть ее только так, как звали ее парня из школы, Дани. Ради бога, дорогая.

Костя услышал ее слова тоже и скривил лицо в сторону Леона, как бы говоря: «Да, Кравец, ты попал в такое место, наполненное не только запахами цветов, оранжевых и желтых цитрусовых фруктов, но и телами погибших, чьи кости находятся в земле на всей этой бесспорной территории. Привыкай. Но ты умный и терпеливый, спасибо за участие тебе». Леон ел осторожно и очень медленно, думая свои отдельные мысли о Косте, о его предстоящем в будущем костюме, о Дани, ее постоянно меняющих цвет глазах и ее истории, и решая для себя вопросы, которые сейчас были для него безответными.

— Он был старше меня почти на три года, нас в школе так все и звали: Дана и Дани, — смущенно и почти отстраненно от ситуации сказала Дани. Костя сидел в нейтральной позе завтракающего сибарита, расслабленно набирая в ложку еду со стола, и кивал своим мыслям, не пропуская мимо себя и рассказа Дани. Ничего Костя не пропускал, просеивая все через свое личное сознание по степени необходимости. Он щедро мазал масло на хлеб, набирал суповой ложкой овощной салат, смыкая густые, длинные, девичьи ресницы и отпивая мелкими осторожными глотками кофе из чашки, которую держал невероятными пальцами от «до» до «си» в следующей октаве, что было невероятно для рядового человека. Но разве Костя был рядовым человеком? Даже на первый взгляд нет, он таковым не был. Не рядовой.

Можно было сказать, что он преступно пропустил большую судьбу великого пианиста. Конечно, уместно поставить знак вопроса, ну, какого пианиста? Максимум профессионального картежника. Только без параллелей. В тот момент, когда Дани взглядывала на Костю, совершенно случайно, то заметны были сразу в ее потемневшем взгляде незамаскированные следы обожания, что Леон немедленно заметил, еще стоя во входных дверях. Это никак не отразилось на ее быстром и поверхностном рассказе о погибшем школьном друге.

— Мы же приехали в Израиль всем известным путем, через Польшу в 57 году. Тогда Советы разрешили польским гражданам вернуться на родину из Союза. А поляки пускали или, точнее, избавлялись от этого племени по всем известным причинам, по своим соображениям, от безусловно лишних в их пространстве иудеев. Мы жили на Урале, в городке, папа был польским гражданином, мама была местная, работала библиотекарем, как-то они сошлись, он ей понравился, галантный такой, вежливый, в галстуке и шляпе, и пил мало по тем меркам. Они поженились, и я родилась. 52-й год, тяжелое время, там всегда было тяжелое время, сколько я помню. Мне было пять лет, когда мы оказались в Израиле, жили в Иерусалиме. Мама и папа работали в национальной библиотеке, отец

еще подрабатывал переводами, он знал языки, точно я не знаю сколько, но много. Мы жили в Нахлаот, это в районе рынка, здесь не так далеко, но район совсем другой, — эта женщина, было очень заметно, давно не говорила так откровенно по-русски и наговаривала свою историю, как на магнитофонную запись. Костя, не переставая думать свои тайные мысли и не забывая улавливать рассказ Дани, с удовольствием закурил, отбросив спичку в пепельницу, французскую сигарету без фильтра из мягкой синей пачки. Леон не удивился тому, что у Кости не нашлось зажигалки.

— Не знаю, куда она запропастилась, потом найду, — махнул рукой Костя. Леон подумал, что он похож на Фальстафа, только в его ином варианте, восточноевропейском. Образ от этого географического сдвига не изменялся слишком. И он, конечно же, совсем не был трусом, так определил Костю Леон.

— Что-то дует, Дана, прости меня, Дани, может, закроем балкон, что-то прохладно, нет? Продрог весь, — пожаловался Костя в своей нейтральной интонации. Дани смолчала, но прошла к балконным дверям и закрыла их, поправив прозрачную занавесь. Добродушие Кости было наигранным, или точнее, кажущимся.

— У меня есть знакомый, он директор универмага в центре города, говорит по-русски, приехал в то же время, что и Дани, из Польши. И видишь, выбился в люди, стал директором, хм, большой лавки. Но вообще, он геройский мужик, дрался с немцами и их друзьями-пособниками в Варшаве во время восстания в гетто весной 43 года, ему было 19 лет тогда, один остался живым из всех дравшихся, есть еще два человека из их группы, как он говорит, но они живут в Польше. Их дело. Все они были смертники, но вот выжили. Наши близкие сикарии, наивные коммуяги. Никогда на эту тему он не говорит, но человек очень хороший, ты приглядишься к нему, должен помочь, пан Влодек звать, ты ешь, попытайся хотя бы, видишь, как Дани старалась для тебя, дорогой Леон, — без твни усмешки сказал Костя.

Он продолжал что-то обдумывать совершенно далекое от этих слов и этого места. Леон поднялся и кивнув Косте, и из-

винившись на ходу, растопыренными большим пальцем и мизинцем правой руки измерил у него расстояние от шеи до плеча. Личное познание интересующегося портного. Костя скосил глаза на это, но ничего не сказал и не шевельнулся. Леон ничего не записывал, да и нечем было писать, только кивнул себе и своей памяти, запоминая цифру. У них получался славный дуэт весьма странных и неординарных, скажем сложно, людей «русской диаспоры». Но, кажется, в этом городском пейзаже такие человеческие сочетания были не в диковину. Леона научили в школе цифрам и буквам, которые, так казалось теперь, не были ему необходимы в жизни и работе. Все он делал на безупречный точнейший лихой глаз, или почти все, он пользовался изученными знаниями не так часто и только по крайней необходимости. Костя, казалось, стеснялся на него смотреть, но нет, он просто был сфокусирован совсем на другом. Ни о каких других посылках Тимура он не вспоминал, приглядывал за Леоном, думал о нем свои сложные и непонятные мысли.

— Мне скоро на службу, а ты оставайся, помойся, отдохни и езжай в город с Дани. Она все тебе покажет, разъяснит, что может, купите все необходимое, я дам вам денег. У тебя больше нет ничего для меня, Леон? — спросил Костя нейтральным тоном, как бы между прочим.

Леона как молния пронзила, он похолодел, затем покраснел и начал судорожно искать пиджак, который мирно лежал на спинке стула за его спиной. Бормоча что-то несуразное, стыдясь и чуть ли не плача, он достал из кармашка, в котором содержались долларовые фантики Тимура, и со словами: «Совершенно выскочило из головы, вы не думайте, столько волнений, Костя, за эти дни», — передал ему пять зеленых квадратиков. Дани в комнате не было, она вынесла в кухню посуду, где шумела струя воды и глухо стучали тарелки друг о друга вместе с ножами и вилками.

Костя неторопливо забрал фантики, ничем не высказав недовольства, он знал все про Леона, и начал аккуратно и чутко разворачивать их на столе. Пальцы его были очень силь-

ные, но не слишком чуткие, не пальцы карманного воришки, но пальцы исполнителя самых суровых заданий. Леон наблюдал за ним, замерев на полуслове. Уже в третьем бумажном квадратике Костя нашел искомое. Это была бумажка, испи-санная Тимуром (Тимуром?) сверху донизу. Леон не мог разоб-рать, что там было, да ему было вовсе не до этого, «не мое дело, слава богу, что так получилось», стыд его не прошел, не проходил и все. Костя сгреб все ассигнации и бумажку с тек-стом (текстом? Тимура?) в небольшую полную ладонь с неве-роятными своими пальцами и вышел, шлепая босыми ступ-нями по полу в другую комнату. Потом он вернулся и положил перед Леоном пачечку местных денег:

— Вот, Кравец, это 1000 лир, на первое время должно те-бе хватить. Потом дам еще денег. За все тебе спасибо, не пере-живай, не стыдись, всяко бывает. Я знаю, что ты чист передо мной и Тимуром. Сменил родину и место проживания, ничего себе событие, четыре тысячи километров отделяют города и страны друг от друга, можно понять твое состояние, и даже посольства отсутствуют, можно позабыть, как маму звать.

Леон занялся собой, преодолев смущение и стыд.

— Там твоя комната, крайняя дверь, — сказал ему Костя, наводивший на себя последний рабочий штрих. Волосы его ниспадали красивыми волнами до плеч, напоминали львиную иссиня-черную гриву, очень впечатляло его лицо и все, что было на нем и рядом с изображением его. На нем была рубаха с распахнутым воротом, широкие легкие брюки, он был чисто выбрит, щекаст, энергичен, привлекателен.

— Я готов, буду вечером. Позвоню днем. Не скучать, ду-мать только о себе, — в приказном тоне быстрым голосом сказал он, обращаясь ко всем сразу и ни к кому лично, легко и необязательно. — Бай, дети мои, будьте бдительны. И помни-те, что Иерусалим — это наше все, без него мы ничто.

И ушел, закрыв за собой входную дверь малообязатель-ным небрежным движением, есть кому следить за всем, слава богу, есть. При всем своем позерстве Костя, надо сказать, не производил впечатления этакого пшика или газводы, как на-

зывали пустых пижонистых молодых людей в Москве или Ленинграде в то время. Возможно, и сейчас их так или примерно так называют. В нем явственно ощущался смысл и весомость человека, который знает, для чего существует, в какое время, в каком измерении и как живет. Хотя покрасоваться он явно любил и показать себя во всей красе. Но одно другому не мешает.

Он вернулся со своих дел, со своей работы поздно вечером. Открыл дверь своим ключом, тут же вымыл руки в ванной, у него был этот пункт — мытых чистых рук, и сел в гостиной за стол, устало откинувшись на спинку дивана. Уже спала дневная жара, стало холодно, иерусалимское среднегогорье уместно давало о себе знать, и Дани закрыла балконные двери и окна в гостиной. Она включила телевизор, показывающий черно-белое изображение.

— Смирился с отсутствием цвета в аппарате, Леон? Как прошло все в городе? — Костя не ждал немедленного ответа, казалось, он знал все ответы заранее. Наверное, так все и было, он знал заранее все или почти все. В нем было много от беса по мнению знавших его с малолетства людей. Их было несколько, и в Иерусалиме тоже, хотя предположить такое и было очень трудно. С бесами лично растут в человеческом смысле и вырастают как личности немногие. Правда-правда. Эти бесы подавляют, с этим ничего нельзя поделать.

Леон рассказал, что поход в город прошел успешно.

— Все посмотрели, все купили, Дани мне помогла во всем, добивалась скидки для новоприбывшего, больше всего мне нравится набор ножниц и цветные мелки, потрясающе все, — Леон и правда был очень доволен и переполнен впечатлениями.

— Ты, главное, не сгори раньше времени, еще тебе предстоит удивляться здесь многому, — рассудил Костя. Посмотрели телевизор в деревянном обрамлении, Костя кивал услышанному и увиденному, изредка осуждал говорящего и спрашивал Леона:

— Ты слышал, что он сказал, вот ведь какой человек, а вчера говорил совсем другое, ну, как такому верить, не надо такому верить.

Потом показали кадры военные, из недавнего прошлого. Появилась, выйдя из широкого стеклянного подъезда, морщинистая старая женщина в платье ниже колена, в туфлях на низком каблуке на распухших ногах и с ожерельем на шее. Какая-то неуверенная. Зрелище было не самое лучшее. Самое время для комментариев.

— Ты ведь знаешь, кто это, Леон. Да, она. Это моя начальница до недавнего времени. Ее звать Года. Она меня принимала на работу через полгода по приезду, — пояснил Костя, не отрываясь от экрана. — Была главным человеком в этой стране, но месяц назад ушла в отставку, были протесты, она не выдержала и все взяла на себя, наверное, правильно. Здесь война была тяжелая полтора года назад, неожиданная, много крови, люди решили, что она виновата во всем, вместе со вторым оборонцем, героем-инвалидом, яани, генералом. Они сохранили места в политике после выборов, и все-таки она ушла. На ее место пришел другой герой. Я лично жалею, переживаю, она была сильным человеком, хорошо ко мне относилась, рекомендовала меня на место. Жизнь в ней была, она была сентиментальна, сурова, наивна, очень любопытна. Я же был новенький в стране, знал язык из дома, уверенный, наглый, сионист от рождения, вся семья здесь, мама, папа, братья, сестры, и так далее, но таких много здесь. Но вот она выбрала меня, я работал не покладая рук. Теперь она ушла, на ее место пришел Изя, который говорит медленно и густо, но не впечатляет. Не знаю, у меня сомнения. Я вообще думал представить тебя начальникам, чтобы ты их поразил нарядами, но сейчас не время, Леон. Еще это твое время придет, я убежден. Ты не думай, Леон, я не хочу всего и сразу, нет. Не думай, я здесь уже три с половиной года, я с этой работы не живу, у меня, Леон, свой прибыльный бизнес, думаю вообще от зарплат отказаться, но не поймут.

Днем Дани рассказала, когда они пили кофе возле перекрестка Кинг Джордж и Яффо, что «Костя работает на государственной службе, успешен. Кроме этого, у него хороший собственный бизнес, экспорт-импорт, крутит дела, дружит со

многими, энергия у него и силы, как у атакующего танка, прости, у меня все сравнения уже месяцы связаны с обгорелыми дочерна танками», — Дани отвернулась от него и промокнула глаза салфеткой, не думая о крашенных веках.

— Я его очень люблю, этого Костю, чтобы ему пусто было. Он странный, широкий, не жадный, никогда ничего с ним нельзя понять. Дани я помню очень хорошо, как мое прошлое, но уже далекое. Мама мне говорит, что это жизнь, — она тяжело вздохнула и посмотрела в сторону на дорогу Кинг Джордж с шумящими машинами и на торопливо шагающих людей на переходе на зеленый свет.

Леон многое узнал за этот день про Костю, ничего не было для него ошеломляющей неожиданностью.

— Бизнес у него, импорт-экспорт, большой размах, большие деньги, как-то он мне сказал, что вывез деньги оттуда не сам, что ему помогли. Кто помог, не сказал, да мне все равно плевать, — рассказала Леону Дани, глядя рядом с ним, задумчиво подперев щеку и широкую русскую скулу ладошкой. — Действительно, мне все равно, знаю, что он лучший и сильный, верю только ему, Косте Сироте, — добавила Дани с пылом и искренне.

— А что он импортирует, что экспортирует? — спросил Леон. Он был безумно любопытен, ничего специального, он даже не был сплетником, просто хотел все знать.

— Все, — выпалила Дани, — экспортирует все, импортирует тоже все, Сирота Костя.

Автобус номер 4, отправлявшийся по ближней к ним полосе в сторону подъема на улице Штраус, кашлянул белесым густым облаком дыма и поехал на зеленый дальше в свою сторону.

— А там, на другой стороне, что за место такое уютное, свет днем горит? — спросил Леон.

— А-а, это йеменский ресторанчик, очень вкусно, религиозные хозяева, обязательно надо сходить будет. Костя обожает их кухню: просто, вкусно, остро, необычно, — охотно объяснила Дани, мечтательно качнув головой: — Очень Костя обожает.

Когда разговор касался Кости, выражение ее лица сразу менялось, становилось мечтательным, это было заметно посторонним людям.

— А как называется место? — Леон все время хотел все знать. Дани сощурила близорукие, и все-таки семитские глаза на своем славянского вида и оттенка скуластом чудесном лице и сказала:

— «Марвад ксамим», «Волшебный ковер» значит.

Леон ответил, что «понял, запомнил, спасибо». Он все впитывал как губка, безупречный одаренный ученик. Весь этот день прошел очень быстро, прекрасно, очень полезно и познавательно. Леон расстроился, когда они поехали к вечеру домой на такси, которое Лани остановила, вскинув гибкую руку. Утром они ехали на автобусе номер 15.

— Отец меня учил ивриту, он его знал из хедера, зацепил этот кусок советского времени. У меня способности к языкам, я знаю их несколько, и иврит тоже. Я, если ты еще не заметил, Леон, сионист. Мне помогло знание иврита очень здесь, — признался Костя. Он, кажется, совсем не расслаблялся, жизнь его была наполнена разными мыслями и энергией, жизнь его была совсем не проста. Его манера разговаривать и думать о другом одновременно раздражала Леона. Костя постукивал пальцами в так песне, звучащей по телевизору. Леон не мог ухватить мелодии, но запомнил фразу, не совсем понимая ее смысл: «Од тире од тире кама тов ихие, бе шана бе шана абаа». Он подпевал исполнительнице, считая дуэт с Костей душевным и легким. Так и получилось: свежо, душевно и легко, Костя поглядел на Леона весело и с новым интересом.

— Прохладно, нет? — спросил Костя.

— Да, не жарко, совсем нет, — сказал Леон.

— Благословенный Иерусалим, — отозвался Костя. Он не звучал фальшиво. Даже когда Костя говорил выпренно и напыщенно, как в нормальной жизни никто не разговаривает, то даже тогда он не вызывал раздражения и неприятия. «Все-таки незаурядный какой человек: бизнес, карьера, идеология, и потом языки — можно уважать. Иностранные

языки и у Тимура тоже в почете были, сходная черта, хотя люди очень разные», — думал Леон, глядя в черное, ледяное и бесконечное иерусалимское небо. Костя закурил свою французскую сигарету, выпустив струю табачного дыма, излишне насыщенную и ядреную.

— Все-таки Иерусалим до октябрьской войны прошлого года и Иерусалим нынешний очень разнятся, — высказался Костя, не обращаясь к Леону. Это обращение к нему подразумевалось само собой, так он разговаривал.

Леон закурил свою сигаретку из красно-белой, почти родной пачки, на которой было написано, что они «Столичные». Ничего сигареты, крепкие, советские, привычные, другие. Леон больше всего любил архангельскую «Приму», но купил ее в дорогу немного. Сигареты эти были в чемодане, и доставать их оттуда было Леону неловко, и надо было беречь их, кто бы подумал, «Приму», а вот поди ж ты. Десяток буро-красных пачек архангельской «Примы», сурово начиненной махрой, вызвали удивленно вскинутые брови у той милой дамы-таможенницы в форменном, не прикрывавшем объемные чресла лиловом кительке в аэропорту.

Дама повертела в руках пакет в коричневой оберточной бумаге и вернула его на место с тем самым выражением лица, «что, мол, с этих людей возьмешь, давно известно, каждый сходит с ума по-своему, а вы, гражданин Кравец, ступайте дальше со своим горлодером». И отвернулась, скривив пригрознее лицо в знак того, что ни в коем случае не понимает и не принимает всего этого еврейского маразма.

— У меня Дана, буду ее называть так, пока она не слышит, мне так сподручнее, сразу на трех должностях. Все свои обязанности она выполняет безукоризненно. Я говорю, что эта девушка и домом правит, и убирает, и готовит, и ублажает, королева. Зарплата, соответственно, у нее тоже тройная, она, кажется, довольна. Я тоже доволен. Где еще такую найдешь? Хороша собой, воспитана, знает свое место, готовит идеально, в постели — королева Марго, даже еще лучше, давай выпьем за ее здоровье, Леон.

Они выпили молодого красного вина.

— «Божоле» 73 года, я привез из Парижа в том памятном для всех нас ноябре, — сказал Костя. — Хорошее, да?!

Дани принесла из кухни еду, преданно глядя на хозяина. Он ей кивнул, что «спасибо, девочка, отдыхай». Женщина присела на край дивана, показав идеальной формы колени и ноги выше. Поерзав по сторонам, она поправила юбку и тоже выпила, приподняв бокал до уровня глаз. Дани смотрела в лицо Кости чуть дольше обычного взгляда рядовой стряпухи, Леону было неловко наблюдать. Костя погладил ее по голове, и она прильнула к его опущенному вниз кривому плечу, это ей не мешало ничуть. Потому что не в плечах счастье, это все знают.

— Икру мажь на хлеб, полезно и вкусно. Сегодня взял в Тель-Авиве в одном месте. С виду — полуразвалины древнего гаража, пройдешь мимо и головы не повернешь, а внутри за железными дверями — белоснежный холодильный рай: рыба, копчености, икра, мясо, колбасы, сыры, бери не хочу, только плати. Дамы в белом, фартуки с надписью «Бон аппетит», губы покрашены, глаза блестят, руки в прозрачных перчатках, улыбки шире щек, все как в Париже: «Берите, дорогой друг, все, что душе угодно». Вот я и набрал полные руки побаловать любимую женщину и важного гостя. Как там мой костюмчик, Леон, а? — Костя набрал деликатесов в три слоя на один кусок хлеба и откусил, аппетит у него был хороший, всегда очень хороший.

— Еще два дня, — негромко сказал Леон. Он разглядывал стол, не в силах решить, чего набрать для насыщения и удовольствия вкуса.

— Все ли необходимое есть у тебя для работы? Скажи.

— Благодаря Дани купили все, всего достаточно.

— Питайся, не стесняйся нисколько. Глаза разбегаются, я понимаю тебя, Леон. Завтра утром идем к пану Влодеку, устраивать тебе место и зарплату. Я договорился, он нас ждет, — Костя медленно, как бы вытягиваясь из свободного покроя рубахи, в которую он переоделся по приходу домой, поднес ко рту невообразимый по объему и составу бутерброд с преобла-

дающим бежевым, буро-красным, кремовым и зеленым цветом и откусил от него с напряженным чувством счастья, ярко и отчетливо выраженном на его полном, живом, неуловимо разным лице. Лице, имевшем странную привычку изменяться почти каждое мгновение, и сейчас ставшим счастливо-умиротворенным, почти сатанински-веселым, управляемым и дерзким. Ему, конечно, не стоило все это так откровенно демонстрировать при посторонних, но были вещи явно сильнее его, да и потом, он не считал нужным что-то скрывать, кроме уж совсем потайных извилин своей объемной и сложно устроенной души. Он не боялся ничего и никого, кроме каких-то никому не известных тайных, только ему и нескольким другим знакомым руководителям, о которых даже думать было ему не с руки сейчас.

Напольные часы в углу гостиной гулко пробили три раза, большая стрелка на циферблате сдвинулась вправо.

— Ровно девять вечера, видишь, как все по ранжиру получается, как в дворянской доме, лет примерно семьдесят назад, — почти разборчиво провозгласил Костя. Он не сказал: «Налетайте, братцы, отведайте, что бог послал», — но так бесспорно можно было его понять. Он сделал большой глоток вина из бокала, кивнув при этом Дани и Леону — он был компанейский и доброжелательный человек, как уже можно было понять. О чем он при этом думал, было неясно.

— Как костюмчик-то, получается? Как тебе «бостон» моего папы? Привез отрез для меня через все границы и препоны, оценим поступок родителя, тяжелая шерстяная ткань в этом климате, ха-ха, поэтому ты обязан сделать мне лучший свой костюм, я поставил на тебя, — Костя не боялся выглядеть так, как выглядел сейчас, не стеснялся и не боялся, как уже было сказано выше. Не робел вовсе Костя. Он мог позволить себе роскошь верить каждому человеку и в каждого человека. С оговорками, которые он не оглашал вслух и прилюдно.

Леон показал Косте эскиз его костюма, необходимо было показать заказчику будущую работу, набросок ее. Костя, обтерев руки салфеткой, взял бумажный лист с рисунком и внимательно его изучил вверх, вниз и с боков.

— Выглядит красиво, Леон, это будет один к одному с тем, что ты строишь? В полоску, голливудский стиль, конец 40-х, шляпа на глаза, человек без возраста, седые виски, блеск, молодец, теперь остается, собственно, костюм, Леон Кравец, — Костя взял за бутылку и налил всем в бокалы вино молодой силы.

— Дани за все платила сама сегодня, не давала мне даже вытащить деньги, говорила, что указание свыше, то есть Кости Сироты, это неправильно, мне это не нравится, я привык платить за себя сам и всегда платил не торгуясь, — сообщил Леон, глянув в окно на слабо освещенный силуэт дома на вершине недалеко от них находящегося, за черной лощиной парка, холма. Часто Леон бывал многословен не к месту и не по делу. Как, например, сейчас.

— Сочтемся, не волнуйся, ты мой гость сейчас, — сказал Костя расслабленным тоном. — Ну, что ты нервничаешь, разбирайся с моим костюмом, все у тебя впереди, все будет нормально у тебя, товарищ Кравец. Я с тобой и за тебя.

Фразу Кости можно было понять по-разному. Ее можно было и не понять совсем. Леон ее не понял, как надо.

А Косте нравилось волнение Леона, нравилась его искренность, щепетильность, его тревожное юношеское сердцебиение.

— А мы ведь уехали в Израиль 28 июля 57 года, в мой день рождения. По радио сказали, что в этот день в Москве начался Всемирный фестиваль молодежи и студентов, я все запомнила хорошо, мне было уже 5 лет, не маленькая. Никого у нас здесь не было, мы были одни, но было хорошо, спокойно, тихо, отец устроился на работу, мама тоже. Я пошла в детский сад к Лее, она была веселой, радостной какой-то дамой, мы, дети, тоже были веселы, танцевали и пели, — рассказ Дани, казалось бы, изложенный невовремя, оказался кстати. Обстановка этого вечера, благодаря жизненному опыту Кости, не пытавшемуся быть правым в разговорах с людьми, его умиротворенному характеру, благодаря столичному холодку и устойчивому городскому рельефу, благодаря рассказу Дани и, конечно же, ее

внешнему виду, благодаря надеждам на будущее у всех присутствующих, была оптимистичной и хорошей. Косте, казалось, было все равно, что думают о нем люди, и даже, что говорят. Он был таким вариантом иерусалимского супермена с плечами разной высоты, дорого одетым, псевдо-рассеянным, с изменчивыми глазами и с волнистыми волосами цвета воронова крыла, сине-черными, как говорят в народе. К вечеру его заряд энергии не уменьшался нисколько, было не совсем ясно, чем и каким образом он подпитывал свои мощные батареи.

Костя развел руками и провозгласил:

— Ну, вот, убрали премьершу, убрали генерала, убрали начальника генштаба, и что, с кем остались? Недалекие люди, без взгляда вперед. Но ты уже понял, что для того, чтобы править такой страной, нужна выносливость, нервы как канаты, воля, самостоятельность. Обязательно долголетие. Запоминай, Леон, запоминай. Не говорю, что премьерша не наделала ошибок, женщина — ей можно спотыкнуться, но все на нее сваливать тоже нельзя, я это знаю, и все это знают, но система всем правит, против системы не попрешь. Народ бузит, требует и добивается, народ, по-ихнему, всегда прав, не попрешь против народа. И у нее было право на свою ошибку, согласишься, Леон, — он посмотрел на Леона в своей манере, как бы между прочим. Но продолжал наблюдать за ним, как охотник в густом лесу за пугливой дичью.

— Не знаю, что сказать, Костя, я не разобрался и я мало что знаю. Языка я не понимаю. У меня нет мнения на этот счет, — с покаянным видом ответил Косте Леон. Костя уже позабыл о том, что спрашивал, такой у него был вид. Он погладил рукой себе грудь под свободной рубашкой, продолжая думать о чем-то другом совсем. «Похож на бескрайнего беса этот Костя, как я раньше не понял, — вдруг догадался Леон, глядя на хозяина этого дома, расслабленно поглядывавшего в телевизор. — Точно он», — сказал Леон себе.

Этот человек стал для Леона тем пропуском в другую новую жизнь, который был так ему необходим. Перед отъездом Леон думал, что всего добьется сам, сейчас он стал вдруг сомневаться в себе.

— Давай заведем кошку, что ли, а, Дани? — сказал Костя, отняв голову от диванной подушки, — а то дом полупустой, так бы ходила бы тут, мурлыкала, хорошо, а!

Сильный столичный ветер с шумом метался в парковой лощине, сгибая деревья и пригибая гибкие кусты к земле. А дождя не было, время дождей прошло давно.

— Хорошая мысль, я тоже так считала, но стеснялась сказать тебе, вдруг не понравится, — Дани была серьезна и наполнена тяжелой любовью к Косте. Она пыталась скрыть свою любовь, но это получалось у нее плохо. Иногда это постоянно жившее чувство мешало ей жить, спать и даже ходить по полу из каменной плитки и заасфальтированному тротуару улицы Шимони.

Сидели долго. После еще одной бутылки вина, выпитой дружно и охотно, съели еще по порции овощей, рыбы и сыра, о котором Костя сказал:

— Обрати внимание, Леон, на вкус, это из Парижа, здесь такого нет, не делают, по причине религиозного диктата, и просто не умеют. Выбери сам почему.

Сыр был острым и горьким. Все Леону нравилось с непривычки, особенно хлеб и масло, к которым у него с малых лет было пристрастие. Разговор между ними всеми был разбросанный и необязательный, Костя думал свои мысли, недоступные посторонним, глаза его сверкали, как всегда, и косили.

— Жалко эту даму очень, сильно сдала за эти недели. Вот она была главной и недоступной, уверенной, напористой, нагловатой, а вот уже все прошло, — пояснил в сторону, как большинство своих выражений, когда опять на экране появилась бывшая главная дама в этой стране. Леон знал очень мало об истории с отставкой Г.М., премьер-министра, которая произошла в прошлом месяце. Ну да, тяжелая война была, много погибших, профукали, и так далее, но ведь победили, что рвать все вокруг? Это было непонятно ему, нужно было еще здесь пожить, пожевать и подышать, пошить и исправить, отслужить и потянуть эту жизнь в насыщенном городе, и тогда, может быть, что-то понять. А пока слушать и смотреть только.

— Ты бокс любишь, Леон? Неважно. Я обожаю бокс. Есть такой Мухаммед Али, великий тяжеловес. Так вот, 30 октября он дерется в Киншасе, в Заире, у ихнего начальника Мобуту, слышал, конечно, о нем, с Джорджем Форманом. Великий бокс будет, думаю, может быть, полечу, погляжу вблизи на все. Этот Мобуту говорит так: «Если ты крадешь, кради немного», — такое у него мнение. Я с ним немного знаком, разговаривал, обсуждал кое-что по бизнесу. Может, и слетаю на бокс. Совмещу приятное с полезным, — Костя не объяснил, что он обсуждал и что решал с Мобуту, что было не менее интересно, чем бой в Киншасе в октябре. Но Леон не спрашивал его, поддавлял в себе любопытство. И правильно делал. Ему было что спросить, и вопросы оставались в нем грузом.

— Ты хоть сыт, Леон? Ел мало. Я считаю, что ты должен еще поесть и пожевать, видишь, как все здесь красиво и соблазнительно, набирайся сил, набирайся, друг кутюрье, — в голосе Кости звучали ночные интонации, возникающие от усталости перед сном после долгого утомительного, насыщенного мыслями и работой дня. Леон отчетливо понял, что Костя человек, у которого есть цель в жизни, ведущая его и направляющая его.

— Я в армию здесь, ты не поверишь, тоже хотел идти, но не взяли меня из-за здоровья: зрение там, кровяное давление и еще кое-что по мелочи. Я расстроился. Во время войны было вообще неловко, глаз не мог поднять. Премьерша мне говорила: «Костикл, — она меня называла Костикл, — все знают, что ты честный человек, за Израиль переживаешь, что поделаться, когда бог тебе не дал, не додал. Зато додал в другом, с избытком». Что бог мне не додал, она не говорила, а я не переспрашивал. Но боль ее слова не снимали. Всех парней, с которыми я жил в общежитии после приезда на Шмуэль Анави, мобилизовали тогда в первую ночь, довольно тревожную. Да-а. Все, слава богу, вернулись здоровыми. Одного парня, моего хорошего знакомого, контузило, другого пробил осколком возле сердца. Но ведь живы остались, это главное. Мы закончили с воспоминаниями на сегодня, завтра новый день. Идем к пану

Влодеку, ты помнишь, Леон? Ложись здесь на диване, белье на стуле, свет выключи, не забудь. И вот тебе конвертик на телевизоре, все твое, как я обещал, пошли, Даничка моя, поспим.

Костя с трудом поднялся с дивана во весь рост, опираясь о стол и обняв женщину за вздрогнувшую от прикосновения спину своей необъятной, длинной, всепроникающей ладонью. Парочка, тесно сдвинувшись, ушла в спальню. В коричневом конверте были две пачки стодолларовых новеньких купюр в банковской упаковке и еще несколько бумажек по отдельности. Всего было 32 тысячи 750 долларов наличными. Леон, пересчитав все два раза, сложил деньги обратно в конверт и, недоверчиво покачав головой и сказав вслух: «Невероятно, просто безумная жизнь», — постелил себе на диване, выключил свет и лег спать. Заснуть долго не мог, смотрел перед собой в потолок, отсвечивающий уличными огнями, думал возбужденную мысль о том, как все складывается необычно в Иерусалиме у него и как сложится дальше. Он почувствовал сильный голод, сходил босым осторожным гимнастическим шагом на кухню, где взял со стола кусок хлеба с острым сыром и, хладнокровно и мощно двигая челюстями, съел все за раз одним куском, как черная пума. «Все может случиться со мной здесь, абсолютно все», — с этой мыслью он заснул без снов и цветных долларовых надежд. Он, молодой, не наивный, но простодушный, еще не знал тогда провидческой фразы «Никогда и ни в чем нельзя быть уверенным в завтрашнем дне».

Утро для всех выдалось сложным. Уже было совсем светло и свежо. Умывались по очереди, смыв сны и ночное возбуждение холодной и горячей водой поочередно. Завтракать не стали, потому что это было невозможно. Костя выпил ледяного сока оранжевого цвета, а Леон употребил треть стакана сильного рассола из жестяной банки с маринованными перцами Шипка из киббуца Бейт-ха-Шита. Костя наблюдал за этим подвигом молча и, как всегда, как бы необязательно, но потом сказал:

— Это ты молодец, но очень всем этим не увлекайся, здесь тебе не Архангельск.

Что он имел в виду, осталось не ясно, его сознание было многопланово. Чем не увлекаться, что Архангельск? Но в голосе этого человека прозвучала нотка уважения, что стоит отметить. Дани подошла к нему сбоку и, не стесняясь ничего, укусила Костю в шею, закрасив синяк губами и языком. На заспанном юношеском лице ее было отражено все, что необходимо человеку для жизни — покой и счастье.

— Со сна девочка гуляет, не отошла, — пояснил молчавшему Леону, поджав толстые губы, Костя Сирóта.

Костя, при всем своем расхлябанном и несобранном образе, был серьезен, когда речь шла об организации рабочего плана и образа жизни. Усаживаясь в машину, которая была отлакирована и оглажена до режущего глаз блеска, мотор работал мощно, размеренно и негромко, как сердце атлетастайера на отдыхе, он нетерпеливо сказал удивленному и сраженному внешним видом шведского автомобиля Кости:

— Мы опаздываем, Леон, неизвестно, где будут пробки и что будет со стоянкой, на Кинг Джордж машину ставить негде, давай шевелись, не люблю опаздывать, деньги взял?

Леон кивнул ему, что взял, конечно, что за вопрос, и сел со своим надежным, полученным еще от отца на день рождения номер 18 потертым желтоватым портфелем из буйволиной кожи, в котором, кроме эскизов и набросков костюмов, лежал конверт с деньгами. Замки его щелкали почти в такт чудным украинским ритмам и радовали сердце хозяина уже много лет, больше шести, если говорить точнее.

Костя тронул с места, резко вывернув руль влево, пуганув встречные машины незыблемой уверенностью в своей уличной правоте, и пошел на спуск к светофору, на котором повернул направо на улицу Газа. Ехали против солнца, было не очень жарко, и свет был еще не такой резкий и насыщенный, как в 11 или 12 часов дня.

— Здесь нужно носить темные очки всегда, солнце в Иерусалиме опасно и колюче, если можно так сказать.

У того самого большого магазина свернули на улицу Гиляля, затем без проблем добрались до огороженной камен-

ными столбиками стоянки на Шамай повыше пассажа, и Костя заехал внутрь, кивнув рыжему сторожу с худыми щетинистыми щеками. Сторож опустил перед машиной хилую старую веревку, Костя вложил ему в ладонь ассигнацию со словами: «Два-три часа, дорогой», — и припарковался, покрутив рулем вправо-влево для умелого маневра, неподалеку от входа-выхода. Он эгоистически перекрыл выезд наружу двум посторонним машинам на стоянке. Костя оставил ключи в зажигании, сказал об этом сторожу, и после этого они с Леоном двинулись на рабочую встречу с паном Влодеком.

— Это вот место под названием «Тами», здесь едят хумус столичные люди, запомни, Кравец, потом расскажу тебе, что такое хумус, — на ходу сказал Костя. — А вот там, в переулке налево, серьезные тяжелейшие двери из ливанского вечного кедра, там находится «Финк», туда ходят пообедать и укрепить силу духа другие столичные люди, там чудный идентичный гуляш, рекомендую. Третьего дня там обедали Мойша и Эйзер, любят хорошо поесть эти джентльмены, сам видел. Ты ведь понял, конечно, кто они такие, эти Мойша и Эйзер, Леон? — все это Костя проговаривал легко на ходу, показывая кивком гривастой головы на вывески и входные двери лавок.

Ничего Леон не понял, потому что ничего не знал. Смолчал. Людей было на улице мало, жарко еще не было. 9 часов 24 минуты. Утро. Прохладно. Чисто. Не пыльно. Во всем этом переходе по улицам города был особый смысл, заключающийся в трудоустройстве Леона Кравца на первую работу в Иерусалиме, столице возобновившейся еврейской страны.

— Повторю тебе, что глаза твои нуждаются в защите от солнца, запомни, Леон, и не волнуйся так, — обронил Костя, вбивая в голову гостя нужные слова перед хлипкой фанерной дверью заведующего всей этой машиной.

Леон переживал. Сердце Леона забилося сильно, совсем рядом с предстоящим разговором о его судьбе. Он надеялся на Костю, который был для него сейчас всем: организатором, рекомендуемым лицом, переводчиком, богатырем духа.

— Соберись, будь мужчиной, Леон, — сказал Костя, не глядя на него.

— Я и есть мужчина, — разозлился Кравец. Они прошли мимо группы с зависимыми от настроения мужскими лицами занятых делом людей.

Пан Влодек занимал небольшой кабинет в полуподвальном этаже огромного надежного здания универсама. Перед магазином была площадь, выложенная каменными светло-серыми плитами. Плиты эти нагревались в течение дня на солнце, передавая тепло в построенное вверх помещение, но здесь, под слоем камня, было прохладно всегда.

Сновали взад-вперед по коридору девушки в халатиках продавщиц с личными именами, вписанными на бумажные значки под прозрачным пластиком. Девушки с любопытством поглядывали на Костю и Леона, на что Леон реагировал почти болезненно, а Костя находился в своем постоянном существовании одновременной жизни в нескольких измерениях и замечал все боковым зрением, таким же мощным, как и все остальные направления его офтальмологического внимания.

Влодек был поджарым, выше среднего роста, сдержанным мужчиной с пепельного цвета волосами, аккуратно одетым в клетчатую рубашку с темным галстуком. На мир он смотрел близко сидящими, прикрытыми веками глазами неопределенного цвета, без жадного любопытства, но пытливо и внимательно. Руки он держал на столе перед собой, как бы отстраняясь от них. Как бы не имея к ним никакого отношения.

— У нас есть портной, но он не на ставке, потому что возраст, ему за восемьдесят пять, тяжело ему. Исаак Львович его звать. Он приходит на пару часов, чего-то исправляет, поправляет, а потом уходит домой на обед. Большой специалист. Живет он в Нахлаот неподалеку отсюда, напротив Народного дома, — сказал Влодек, не обращаясь ни к кому лично.

— В Народном доме судили Эйхмана, — объяснил Костя Леону, вопросительно посмотрев на него: — Знаешь кто это, этот Эйхман, парень?

Леон не помнил (не знал?), кто такой этот Эйхман и за что его судили в Народном доме, хотел спросить, но постеснялся, к счастью для себя. Все это он понял потом, все разузнав и разобравшись. А сейчас, что он мог помнить или знать, сутки человек в стране, какой там Эйхман, чтобы он сгорел в аду.

— Вот эскизы работ нашего советского кутюрье, пан Влодек, — Костя протянул через стол стопку листов из тяжелого портфеля Леона.

— Я понимаю в моде совсем немного, но это все меня впечатлило, — сказал Влодек, проглядев листы, держа их на весу. Костя улыбнулся и с победным видом посмотрел на Леона, вот, мол, как все складывается прекрасно, друг.

Влодеку было в районе пятидесяти лет от часа и дня рождения. Леон подсчитал, что если в 43-м ему было девятнадцать, то сейчас, значит, сорок девять, не старь, в полной силе. Хорошо сложен, без излишеств. У него был очень милый легкий польский акцент, прекрасно звучали у него буквы «чэ» и «щэ», он как бы все время спрашивал у собеседника: «А для чэго?». Сбоку от него на стене висел в простой рамке портрет молодого мужчины с внешностью актера из довоенного европейского кинематографа.

Для Леона все, что было связано с Польшей и ее новой историей, было полностью неизвестно и непонятно. Он просто ничего не знал об этой Польше и о том, что с ней случилось за хотя бы 50–70 последних лет. История не была частью его жизни, он интересовался ею постольку поскольку, перед выпускными экзаменами, перед сессией в институте. Газеты читать он не любил, ничего особенного, просто не любил. Он вообще был достаточно дик и несведущ, он был белым советским листом ватмана, на котором, как говорили прежде, хороший художник черным жирным грифелем нарисует художественный образ неизвестно кого.

Внезапно Леон почувствовал холод усталости. Он захотел заснуть, зевнул, прикрыв рот ладонью и склонив голову. Влодек смотрел в сторону, не замечая и не реагируя. Он ориентировался в любой самой сложной ситуации уверенно, и глаза

его не были никогда печальными. Влодек замер и застыл в этом мире, он, единственный из всех, выбрался наружу, на свежий сочный и веселый майский воздух 43 года, из сточного варшавского канала и не остался в нем жить. Второй парень, оставшийся в живых тогда, остался жить в Польше навсегда. Збышеку, его все друзья и знакомые звали Збышек, Израиль не понравился, несмотря на удобство проживания, особенно по сравнению с советской Варшавой, климат и присутствие большого количества представителей народа, к которому он имел личную честь принадлежать. Збышека раздражала организация всего еврейского государства, законы, расхлябанность людей на улицах, полицейские... да вообще все. А в Польше не раздражало это, он привык ко всему.

Он, надменный скептик и никому не доверяющий мужчина с одутловатым навсегда семитским лицом, знал и предвидел очень многое, но не все, конечно. Он не менял свои взгляды, ничто не могло на него повлиять. Только, как говорится, неизбежная смерть. Даже эта история с обреченными, безнадежными и страшными боями в канализационных каналах Варшавы с кошмарными суперменами-злодеями, из которой он выбрался живым чудом, не повлияла на него. Он продолжил любить и не любить то же, что и раньше он любил и не любил. Они остались с Влодеком вдвоем в этой послевоенной жизни, и у каждого, по его словам, был свой путь, намеченный их жизнью, характером и судьбой. Збышек наблюдал за жизнью Влодека издали, из города Варшава, с позиции старшего и опытного товарища, свысока, с надменной уверенностью в своей правоте. Это было странно, потому что никто его не уполномочивал ни быть старшим, ни быть правым, ни быть надменным.

Кабинет пана Влодека было сложно осветить из-за его месторасположения: никакого наружного света — и потому две сильные лампочки в люстре под потолком успешно дополняла настольная горящая лампа под зеленым колпаком. Непонятные тени гуляли независимо по полу и стенам этого кабинета. В другой ситуации Леон здесь бы не находился, сра-

зу бы ушел. Но сейчас нет, Костю тоже нельзя было подводить, он старался для Леона, хотя был очень занят своими экспортно-импортными делами и еще чем-то столь же невозможным и невероятным для Кравеца. Не уйдешь. Судьба и обстоятельства всегда сильнее. И работа Кравецу была нужна. Как же без работы и заказов молодому кутюрье жить?

Влодек, у которого смуглое лицо не было пожилым, не смотря на глубокие морщины на щеках и на лбу, подвинул бумаги на столе к себе, аккуратным движением положил на них дешевую авторучку, коротким росчерком расписался, поставил свою весомую точку и сказал:

— Мне нравятся ваши эскизы, я удивлен и рад. Если вы желаете у нас работать, то я предлагаю вам две недели испытательного срока. Примите дела, зарплата у вас поначалу будет среднестатистическая, поговорите позже с Исааком Львовичем — он говорит на русском языке неплохо, он объяснит вам и ответит на вопросы, работы у вас будет много, сможете работать сколько хотите частным образом, был рад познакомиться, господин Кравец.

Вместо справки. Мужчина, изображение которого висело на стене в кабинете Влодека, носил имя Ян Карский. В детстве мама не пускала его в школу, и он получил домашнее образование: гувернантки, частные учителя... Он служил в уланском полку. Был в советском и германском плену, судьба его была сложной. Он был бойцом Армии Крайовой, была еще Армия Людова, подпольные польские организации, боровшиеся с нацистами и враждовавшие друг с другом. В Польше все было сложно всегда. Карский был его псевдоним, настоящая фамилия его была Козелевский. Один еврейский человек из Бунда рассказал Карскому про ситуацию с евреями, которых уничтожают ежедневно.

Этот бундовец жил под вымышленным именем Миколай (Майкл) Березовский. Он был юристом, одним из руководителей «Жеготы», Комитета помощи евреям Польши, существовавшего с декабря 42 года до мая 45 года. Его имя было Леон Файнер. Он все рассказал Карскому про гетто, про быт, про

жизнь, про смерть. Карский смог пробраться в гетто, а оттуда проник в лагерь уничтожения Белжец и Собибор. Вернувшись из этой поездки, Карский поехал по приказу руководства Армии Крайовой в Лондон и Вашингтон, где прорвался (был принят?) к лидерам этих стран. Они его слушали, мотали на ус, как говорят, верили с трудом, как кажется. Не во всем можно верить людям. В июле 1943 года умолял президента США Франклина Рузвельта как-либо помочь гибнущим людям, исчезающему в печах народу. Президент США отнесся к его словам недоверчиво и вполне равнодушно.

Костя потом уже, когда они говорили среди прочего и на эту тему, рассказал Леону, что разведка Советов все это узнала, и результаты были изложены в докладе и переданы на Запад. Никто советским не поверил. «Это понятно тебе, почему не поверили советским?» — спросил Костя Леона. Тому было непонятно почему, и он сказал об этом Косте. Тот посмотрел на него своим скользким взглядом и отвернулся со знакомым выражением разочарованного лица: чего с тобой говорить-то, парень. Потом он сказал, что при освобождении Освенцима погибло меньше трехсот, но больше двухсот солдат 107-й дивизии Василия Яковлевича Петренко.

Карский все изложил в своем подробном рапорте, объясняя, что можно сделать в этом тревожном вопросе, например, разбомбить подъездные железнодорожные пути к лагерям, провести наземную армейскую операцию. Он доказал, что от пяти до десяти эшелонов с евреями в день привозят немцы в лагерь, где всех прибывших умерщвляют. Никто ничего не сделал для Карского и евреев. Это не историческое исследование здесь. Это напоминание. Карский, конечно, Праведник. Необъяснимо захотелось отчего-то, чтобы кутюрье Кравец, его коллеги, заказчики, да и оставшиеся жить после всего этого безобразного необъяснимого действия во славу смерти люди знали про все это с некоторыми малыми подробностями. Карский написал и издал книгу в 1944 году в США, которая называлась «Курьер из Польши: История тайного государства». Тираж этой книги 360 тысяч. Для сведения читателей.

— Сейчас идем в банк, откроем тебе счет, но прежде скажи, сколько меняем тебе на лиры? Мы же не кладем все яйца в одну корзину, мы же умные, да, Леон? — азартно сказал Костя, выйдя из кабинета пана Влодека. Леон, не спрашивая ничего, поспевал за ним, сложенным странно и не спортивно, но шаг его был разбросан, энергичен и даже мощен, неостановим. Мысль же Кости параллельно шагам его работала безостановочно, что было очевидно даже для людей совершенно посторонних и абсолютно незнакомых с этим человеком.

Вышли на площадь перед универмагом и спустились вниз по Кинг Джорд к Яффо. Леон успел даже узнать места, где вчера проходил и сидел за кофе с Дани. Прошли «Марвад ксамим», Леон хотел заглянуть в стеклянную закрытую дверь, но из-за скорости хода это оказалось невозможно.

— Вот здесь шаварма, семья держит, некрасивая дама нарезает, просто и вкусно, популярно и дешево, я, когда приехал, здесь всегда ел, — показал рукой на небольшое со сквозным входом помещение, где женщина в платочке протирала прилавок мокрой тряпкой. На прилавке лежал нож с длинным гибким лезвием, выбрасывавшим навстречу прохожим резкие отраженные блики солнца. У перекрестка перешли на другую сторону и пошли, шагая в ногу, как на армейском параде, по Яффо.

Обе стороны улицы Яффо были солнечными в этот час, это Леон заметил и не удивился. Но спрятаться от набравшего силу и высоту в небе солнца было сложно. Костя шел очень быстро, казалось, он опаздывал на важную встречу. Специально своей мыслью он не занимался, но сказать, что эта его мысль была не организована, было нельзя. Он начинал о чем-то думать и обязательно доводил свою мысль до завершения. Параллельно Костя мог разговаривать с кем-либо о важной проблеме, договариваться о встрече, решать проблему, массировать спину Дани, да все что угодно он мог делать. Ненавязчивое наблюдение за ним, за его мимикой, за его глазами, за руками могло показаться чем-то неприличным, будто бы ты подглядывал за интимными событиями, которые случайно

вышли на первый план, на главный экран. Но и остановиться от этих картин было невозможно. Это притягивало, как могут нас притягивать грешные поступки взрослых людей в полутьме, с белыми от напряжения лицами, с дурацкими ухмылками, с дрожащими грудными мышцами, с разбухшими шеями, с нервным потиранием носа и ушей, и так далее.

У большой витрины с лежащими и стоящими бутылками вина Костя, протянув в эту сторону правую руку на ходу, сказал, продолжая торопливо перебирать ногами по тротуару:

— Вот здесь продаются любимые блюда, хорошая еврейская кухня по пятницам, все на вынос. Наш восточноевропейский стандарт, объединение, все знакомо и понятно, и премьерша наша железная все это обожает, но где она, бедная затравленная премьерша, за всех отдувается, затравили человека, суки...

Костя не пояснил, какие такие блюда любит премьерша, но Леон знал и без напоминаний, ел с большим аппетитом у деда с бабой, когда получалось. Но вкус всего он уже подзабыл, если честно, много лет прошло. Только язык, на котором дед ворчливо и требовательно говорил с бабкой, внезапно появился у Леона в сознании.

Через дом после закрытой сейчас кухни Костя вдруг притормозил свой забег по столице и, ни слова не говоря, нырнул в узкий проезд между домами. Необъяснимая и непонятная вне его тела шизофреническая энергия двигала этим человеком тридцати двух лет. Леон остановился, не понимая своего руководителя и наставника в новой невообразимой жизни. Он глубоко вздохнул и остановился. Напротив него у кромки тротуара стоял молодой полицейский в светлой форме: гимнастерка с погончиками, красный значок над левым кармашком, кобура на правом бедре, фуражка надвинута на лоб. Смуглый, похожий на какого-то джентльмена из серии «Разыскивается», еврейский человек со скулами, усами, перебитым носом и черными цепкими глазами. Полицейский глянул на Леона, как сфотографировал, не нашел в нем ничего подозрительного, странного, пошевелил губами, резко отвернулся, потеряв всякий интерес к этому забитому проходящими

людьми участку улицы и людям, находившимся здесь по делам для покупок продукции и сравнения цен на них. Полицейский стал смотреть в противоположную от Леона сторону, начал выискивать другую цель для своей осязаемой, цепкой профессиональной неприязни.

Леон посмотрел возле себя и обнаружил на стене на уровне груди изразцовую чудесную надпись на иврите и арабском. Он не смог прочитать написанное яркой синей краской, но эти непонятные буквы необъяснимо обрадовали его почему-то. «Просто, как щенок кудрявый я», — удивился себе Леон фразой из полузабытого стихотворения. Леон стоял возле большого металлического прилавка, в секции которого крепкий малый в брезентовых рукавицах высыпал противень с поджаренными семечками. Запах и аромат были головокружительны. «Украина, Украина, родина моя богатая», — мысль Кравеца была не точна.

— Товарищ Кравец, товарищ Кравец, мы ждем вас, — раздался требовательный высоковатый голос Кости из ближнего пространства. Он почти напугал Леона, этот Костя, со всеми своими неожиданными, непредсказуемыми исчезновениями и обращениями, неожиданными ходами, мог свести с ума самого здорового джентльмена с устойчивой психикой и твердыми взглядами на мировой порядок.

Люди вокруг Леона отреагировали на возгласы стоящего вдали Кости с любопытством, к которому Леон не был привычен в Советской России, там люди, возможно, были стеснительнее от природы и воспитания, и, возможно, не решались проявлять свои чувства на трезвую голову явно и очевидно.

Костя стоял в проулке метрах в пятнадцати от Леона и пригласительным жестом звал того к себе.

— Давай уже, заждались тебя, иди сюда.

Кравец как заговоренный подошел к нему. Из-за спины Кости вышел невысокий человек с желтушного цвета изможденным лицом. Человек посмотрел на Леона и, ни слова не говоря, повернувшись, пошел в парадную, толкнув плечом за-

звеневшую тугую дверь за своей спиной. Квартира на первом этаже, по всей видимости, его, была раскрыта — заходи и бери, что хочешь. Но когда все прошли и расселись вокруг стола, дверь громко захлопнулась, как бы сама собой. «Ничего себе, вот и ловушка, только где наш сыр?» — подумал Леон почти весело. Костя был расслаблен, он много видел в своей жизни. И таких желтушных, изможденных перевидал, он держался хорошо, но смотрел во всю, контролировал. «Соображает Сирота», — одобрил Леон. Хозяин вышел на пару минут и вернулся с туго набитым почтовым пакетом, в которых обычно отправляли бандероли. — — Вот за ваши десять тысяч наши лиры, господа русские, — сказал он на ломаном, но вполне достаточном для понимания смысла языке.

— Не пересчитываем, верим тебе, Альмагор, ты наш аптекарь.

Леон здесь в этом вопросе с ним не соглашался, но не он рулил в этом доме, и даже не тот, по имени Альмагор, хозяин с желтого цвета худым лицом.

— Уходим, мы опаздываем, извини, прощай, — сказал Сирота, поднимаясь с продавленного дивана, Альмагору, который уже извлек бутылку коньяка с неразличимой этикеткой из-за кипы газет и журналов на подоконнике. «Только почему прощай? Он любит драматизировать, Костя. А этому подошло бы вполне имя Армагеддон», — облегченно усмехнулся оттого, что все уже позади, Леон на улице. Он прижимал к груди коричневый пакет, понимая, что выглядит так себе с этими шальными деньгами и взлохмаченной от гонки переживаний головой.

— Много событий, терпи, сейчас надо в банк, нас там тоже ждут, — с ударением на слове «тоже» Костя прибавил шагу, и Леон опять включился в гонку с и за ведущим к свету и успеху лидером. Солнце уже нагрело пыль на тротуаре, которая летела за быстрыми шагами Кости и Леона слабыми облаками, не отставая.

Напротив главпочтамта был вход в банк. Все было очень солидно и прочно, потолки в лепной бесконечной выси, крес-

ла и столы, рассчитанные на гигантов-тяжеловесов с миллионами в кармане. Но все равно людей было очень много, имперская огромная мощь сдалась на милость посетителей.

— Нам наверно, — на ходу сказал Костя, прыгая с таинственным видом через две-три ступеньки, что не мешало ему нисколько обдумывать свой очередной экономический или карьерный ход. Экономический? Карьерный? Но пер он вперед, шевеля ногами в дорогих широких брюках, неостановимо. Как будто бы они тренировали ноги на стадионе, попевая к верхним рядам и обратно. Леон попевал за ним с трудом, тяжело дыша, держась за широкие перила из таворского дуба. Бескрайнее пространство банка очень походило на железнодорожный вокзал в большом городе. Звуки рутинных разговоров и возгласы людей уходили вверх под потолок и становились там гулкими раскатистыми звуками, походившими на монологи актеров в Шекспировском театре.

В огороженной стеклом кабинке без дверей сидела дама в возрасте не многим старше тридцати, но и не меньше этого пограничного в ее жизни возраста. Сбоку от нее в большом глиняном горшке, купленном по дороге в Хеврон, рос сильный, разросшийся по сторонам куст с красными, синими и зелеными листьями.

— Драцена, — показал рукой на куст Костя, взявший на себя роль экскурсовода, который знал очень-очень многое о жизни, и о еще большем догадывался. — Значит в переводе на русский «драконник», знакомься с фауной и флорой Эрцисроель, — пояснил Сирота.

Они прошли к ней, причем Костя подождал, пока Леон найдет себя в этой клетушке, и сели напротив женщины в легкой кремовой мужского типа блузке с глубоко расстегнутым воротником, после доброжелательной улыбки и кивка ее: «Входите, у меня свободно, господа хорошие». Ей был к лицу ее мужской стиль одежды и поведения, она это прекрасно знала. Она была очень уверена в себе, даже больше того, властна, и общее впечатление от этой женщины было очень сильное. Умная, все понимающая в жизни банкирша, так она выглядела для всех окружающих.

Костя, который наплевал на весь белый свет, кажется, ничего не замечал, она для него была чиновницей низшего разряда, человеком из обслуги. «Кто ты такая, женщина, скажи?! Я здесь все решаю, потому что я это я, а ты всего лишь ты». Он вел себя с ней очень ласково, обходительно, даже обаятельно, но все время как бы давал понять, что я все вижу, слышу, что вы все для меня как дети малые, и лучше делать так, как я прошу, и никак иначе.

Костя быстро все ей объяснил про Леона.

— Он сутки здесь живет, сутки, понимаешь, надо помочь новичку.

И, повернувшись к Леону, добавил:

— Румынская дама, говорит по-русски бегло, учила в школе и университете, уточню, что она из Ясс.

Дама кивнула, что понимает.

— Из Констанцы я, если быть точными, — поправила дама без улыбки. Костя услышал ее хорошо и промолчал, из Констанцы так из Констанцы, дела это не меняет.

Банковская дама посмотрела на Кравца бегло, но прозорливо, дала ему на подпись несколько бланков, указав алым ногтем указательного бесконечного пальца тут, тут и тут.

— Она сама все заполнит, не волнуйся, дай ей сто лир для местного счета и доллары для валютного.

Леон с радостью и облегчением все сделал, как сказал ему Сирота. «Какое счастье, что этот парень принимает во мне участие, надо ему стакан поставить, — решил он по московской привычке и тут же поправился: — Бутылку надо ему, даже две или даже три, он того стоит, заслужил».

Леон не спросил, как звали эту женщину, было неловко ему. Но он, конечно, заметил, что мужской стиль одежды и мужской организованный ум никак не мешали ей уступать энергичному наступлению Кости и поступать согласно его желаниям с нескрываемым, так сказать, личным дамским удовольствием.

— Меня звать Адина, — сказала дама, убрав в сторону бланки с подписями Кравца. И протянула ему для рукопо-

жатия нежную сильную кисть с продолговатыми тонкими пальцами честного человека, владеющего банковскими тайнами присутствующих здесь и не только присутствующих здесь мужчин.

— Кажется, мы все решили, Леон, пора и честь знать, — напомнил Костя, озабоченно оглядывая Адину и пустое пространство за ней с низким шкафом и двумя дверьми с цветными ручками.

Адина, так показалось фантазеру Леону, сжала излишне его ладонь, и Кравец неосторожно подумал, что счастье достижимо. Уже потом он думал и вспоминал, и никак не мог представить ее смущающейся или стыдливой. «Вот с Сиротой она могла быть и покорной, и уступающей, есть в нем это, есть неведомая сила, подавляющая женское сопротивление и самостоятельность, есть эта легкомысленность и почти презрительная мощь, чего во мне нет и не было, но буду надеяться, что еще будут, — думал без зависти Кравец, — конечно, придут и будут».

Адина извлекла, полуобернувшись к шкафу, правой рукой красивую длинную пачку бумаги синего цвета:

— Вот вам, господин Кравец, новая чековая книжка, пользуйтесь осмотрительно ею.

Предупреждение Адины было важным и ценным, но Леон не мог его оценить до конца, он не все понимал. Кравец взял чековую книжку с чудной гладкой поверхностью, поблагодарил, навязчиво глядя ей в глаза, схожие с глубокими черными глазами закарпатской ведьмы, и они торопливо ушли с Костей, потому что он опять стал торопиться:

— И так убил на эту историю все утро.

Выйдя на улицу, выдохнув напряжение, они обогнули все тем же торопливым шагом — иначе Сирота ходить просто не умел — длинный дом с крылатым львом на крыше, построенный за пятьдесят лет до этого дня для итальянской страховой компании и до сих пор носящий название «Биньян Дженерали», и зашли, перейдя улицу Шлом Цион, в небольшое кафе без вывески. На входе Костя успел сказать еще один спич, его любовь к произнесенным словам не имела границ буквально.

— Сейчас наступило время любви, помни это, Леон, время любви и греха. Оно всегда наступает после войн, используй это время по назначению, время больших денег и любви, — Косте идеально подходила эта поза вещателя придуманных им самим истин, он был многообразен. «Мог бы стать актером этот человек. Уж точно, время это не скучное, а, конечно, наоборот», — решил Леон. В кафе было еще два человека помимо женщины в переднике за прилавком. Только что протертый влажной тряпкой пол блестел на свету из обширной витрины и сильного огня в люстре под потолком. Хорошо пахло кофе и выпечкой с кремом, женщина улыбнулась им. Костя заказал кофе и пирожных с кремом. Леон сказал ему, что будет платить за заказ. Костя посмотрел на него своими глазами в обычной своей непонятной манере, к которой Леон уже успел привыкнуть, и сказал, что «не надо быть таким, забудь, Кравец, об этом». Ему не нравилась самостоятельность его гостя, деньги какие-то при нем предлагать к оплате было нельзя категорически. За все он платил, включая питание, услуги и прочее, все это находилось в его ведении и только в его ведении. Перечить ему было нельзя. Какая-то уголовная щедрость жила в этом человеке неизбежно, он мог себе это позволить. Но знал Костя, конечно, и другие времена, которые предпочитал забыть и не вспоминать.

Они посидели, восстанавливая свое нарушенное равновесие после визита в банк и разговора с Адиной. Потом Костя сделал заказ, не глядя на буфетчицу, которая оказалась и официанткой тоже. Пирожные оказались прекрасные, крем в них был мягкого, знакомого вкуса.

— Похоже на «Наполеон», нет? — спросил Леон.

— Лучше, много лучше твоего «Наполеона», — сказал Костя.

Кофе вернул им силы и взбодрил.

— Как там мой костюм, Леон? — спросил Костя между прочим.

Он рассказал ему заодно об отставной премьерше, к которой был приближен и с которой часто беседовал, по его словам, на разные темы, включая международную обстановку.

— «Как оцениваете ситуацию?» — спрашивала она меня. Мы сидели в ее гостиной и пили чай с рассыпчатыми песочными пирожными, которые она очень любила и предпочитала всем другим. Я ей отвечал: «Так и так, дорогая. Все не просто. Королю доверять нельзя, хотя и врагом его не назовешь. Сосед малонадежный, но элегантный». — «И что?» — спрашивала она.

— А как она вас называла, Костя?

— Не поверишь, Кравец, не поверишь, — Костя выдержал паузу и отвернулся лицом к улице, спускавшейся к Мамилле. И если спуститься мимо колониальной лавки на другой стороне и дальше мимо оптовой торговли табаком Меира Коэна и суметь после этого повернуть на светофоре налево, то можно выехать прямо к Яффским воротам Старого города. Если, конечно, ты сумеешь пробиться сквозь забившие эту улицу неисправные машины, которые ждут ремонта в гаражах. Прямо напротив гаража легендарного синеглазого усача Довида Мизрахи, несравненного специалиста по «Фордам», есть место без занавесок на зарешеченных окнах, столовка для рабочих и шоферов на шесть столов, накрытых клеенкой. Хозяин с недовольным небритым лицом, изысканные непривычные запахи кухни, цены по настроению и другие атрибуты Востока. Место это, решительно перестроенное и ушедшее вместе со всем рабочим кварталом в воспоминания, очень любил и любит, наверное, до сих пор, блистательный, изощренный и непростой писатель Зиновий З. Представитель московской суровой школы прозы. Он заказывал всегда здесь фасолевый суп и хумус (перетертый нут) с соленьями. Зиновий приедет жить в Иерусалим еще только через год после этого дня, и через год же примерно напишет свою повесть...

— Премьерша называла меня Костикл, идишь в ней жил еще с киевских времен. Но скажу тебе, Леон, что теперешний начальник, заменивший нашу Г.М., со мной уже не советуется и не разговаривает вовсе, я потерял у него авторитет, у Изи, в упор он меня не видит, ничего здесь не поделает, — Костя вздыхал без грусти. Главное же было в том, что Леон верил ему и его рассказам абсолютно, безоговорочно, тотально.

— Невероятно, Костя. Звучит все почти нереально. Почему так? Неужели именно ты, неужели больше советников у этой великолепной дамы не было? — искренне спросил Леон.

— Конечно, были, о чем ты говоришь, но она, предположу только, хотела знать вопрос со всех сторон и ото всех людей, от дворника до министра, понимаешь? Всеобъемлюще, как говорят и пишут на нашей родине, — он совершенно не шутил. Не подмигивал, не кривил лица

Задумчиво он добавлял с сожалением в голосе:

— Но все же, посмотри, Кравец, какая ненормальная страна, недалекий народ, смотри, какого человека скинули... мудрейшая женщина. Ничего ей не помогло, не спасло. Такой человек — не оценили, растоптали как тряпку. Тьфу ты черт, даже есть не хочется... Изредка она просила меня сказать ей чего-нибудь о планах Союза. Она хотела все понять в комплексе, со всех сторон, очень умная была. И есть, слава богу. Я говорил ей то, что понимал и знал, она внимательно слушала, ценила меня, мое мнение.

У Кости не становилось горестное выражение его неуловимого лица, что можно было отнести ему в плюс. Ничего нельзя было понять. У него было много плюсов, у Кости-Шмеры. Еще одно его достоинство, наверное, главное, было в том, как можно было понять, что он жил одновременно в нескольких измерениях, в непонятных плоскостях и реальностях, что ли. Меняющееся непрерывно лицо его являло собой любопытную портретную галерею, которую можно увидеть не так часто даже здесь, где все-таки такиедвигающиеся физиономии попадают. Его лицо можно было определить как типическое лицо одноименного столичного синдрома, которым заболевают в Иерусалиме часто. Его можно было также наблюдать как одаренного артиста оригинального жанра, только не надо было этого ему говорить. Вообще, с ним надо было говорить осторожно, постоянно держать ухо востро, это Леон понял почти сразу после знакомства.

Из его рассказа следовало, что он жил с пользой для всех, для себя, для родной главной страны, для своего бизнеса, для дела мира.

Леон понимал его. Он завидовал себе за покровительство такого человека. Это чувство зависти долго еще не покидало его, сопровождая годы и годы. Зависть эта, как ни странно, украшала существование Кравеца до определенного момента, когда перестала украшать, а стала огорчать и даже тревожить.

Костя оплатил по счету, оставил сдачу на столе возле стилизованной под хрусталь сахарницы для буфетчицы, служившей в этом месте и официанткой, и хозяйкой, и кассиром, и уборщицей, и поварихой. Ее обширное тело, ум, характер, воля и умение были достаточны для всего. Такие вот люди разных лет жилали в то время в Иерусалиме, и сейчас, надеюсь, живут тоже. Без них никак.

Леон даже не доставал деньги из кармана, боялся его гнева. Они дошли без помех среди редких людей до автостоянки, пройдя коротенькую улицу Бен-Шатах, и дальше по Шамай вверх до машины Кости. Все тот же не дремавший сторож с прикрытыми веками глазами, любезно кивая Косте, как заводная игрушка, откинул голой до локтя рукой в рыжих волосах то, что у него было входом-выходом, и Сирота выехал наружу, вытянув в окно руку с ассигнацией для этого старательного человека.

— Между прочим, этот мужчина — хозяин площадки, оценивается эта площадка в миллионы долларов, кстати, потому что это самый центр города, но он не продает, ни в какую, не хочет, зачем? Не беднее других этот парень будет, и побогаче даже. В Иерусалиме, Леон, разные люди проживают, такие и такие, всякие.

Имена Костя не произносил. Он не любил уточнять.

Костя был левшой, писал левой рукой, ел, совершал поступки, и это очень шло ему к лицу, вписывалось в почти завершенный образ. Доехали по Рамбам вниз к Шимони очень быстро, даже светофоры навстречу зажигали зеленый свет.

— Какая у тебя машина, если не секрет? — поинтересовался Леон, восхищенный тихой работой сильного двигателя. Он вообще, в жизни до этих дней был нелюбопытным, но происходящее с ним в последние дни выбило его из привычного поведения.

— Ну, догадайся сам, Леон, какая в Швеции может быть такая-сякая машина, а?! Еще все будешь знать назубок, всему свое время, сутки с мелочью в Израиле... невероятно. Это «Вольво», 2000 кубов двигатель, мечта моя, любимая.

Он обожал свой автомобиль безгранично, это было видно и слышно по интонациям голоса и движениям рук.

Костя подрулил к своему дому, поднявшись по добропорядочной улице Шимони, крутанув рулем. Он высадил Леона возле дорожки, которая вела к распахнутой парадной со словами:

— Я по делам сейчас, вечером надеюсь примерить костюм, пусть незавершенный, но имеющий контуры, ты сам все знаешь, Кравец, я в тебе уверен, завтра поедем к Стене, надо сказать ему, там наверху, большое спасибо за все, согласен?

Он прикурил от никелированной тяжелой зажигалки свою французскую сигарету без фильтра из синей пачки, по-прежнему большого вкуса и большой силы.

— Видишь, все утро терпел, чтобы все сошлось с тобой, сейчас я поехал, Дана тебя ждет, приеду — поговорим, примерим клифтик твой, поедим, счастливо».

Леон поднялся наверх в квартиру Сироты, где его встретила Дани, прибравшая за это время весь непорядок в комнатах, вычистившая углы в квартире и пыль на мебели, перемывшая посуду, передвинувшая стол и стулья в гостиной и приготовившая обед. Она сама тоже приделалась и выглядела гладко и красиво, ее лицо с кремовой и белой кожей отвечало высшим требованиям самых требовательных художественных критиков в сфере красоты женщин. Это лицо могло составить конкуренцию схожим картинам лучших художников прошлых веков, тело было гибким и сильным, что там говорить, когда она была в расцвете своих двадцати двух лет, лучших лет ее жизни. Облачко грусти, накрывавшее ее лицо вчера, ушло, кажется, безвозвратно.

Леон зашел и ахнул от вида ее лица и тела. Он быстро перекусил, чем бог послал, как сказала ему Дани, глядя в сторону, а не на него. Она, наверное, не хотела ему мешать, сбивать с рабочего ритма. Почему не смотрела на лицо моло-

дого портного, находившегося на пути к успеху. Что же еще? Дани ушла в свою комнату, Леон с нескрываемым восторгом поглядел вслед ее скрипичной формы бедрам и не без сожаления прошел к себе.

В комнате все было приготовлено для его труда, все ожидало его портняжного умения, его феерической фантазии, его рабочих рук. Он работал почти семь часов подряд, не отвлекаясь на разговоры и передышки. Один раз попил чая с лимоном.

К девяти вечера появился, вернувшись из своего дня, Костя. Он, шумно дыша, обнял Дани в прихожей, затем спросил у нее что-то, не дожидаясь ответа, пошел умываться и вышел через десять минут в гостиную в своем синем атласном халате с поясом. Он был оживлен. Потом он сел на диван в вольной позе и начал читать какие-то бумаги, принесенные с собой.

Дани постучала к Леону и позвала его ужинать.

— Все готово, ждем тебя, — сказала она.

Леон работал в советской сиреновой майке, привык к ней. Он редко менял свои привычки. Он тут же сменил майку на белую рубаху с вышитыми мелкими стежками желтыми нитками буквами ЛК на углах крахмального воротника (Чьи это инициалы, не знаете, господа? Где он этому научился, этот дикий провинциал, победитель, а?) и вышел в гостиную, скромно, без торжества, без ликования, но с достоинством, как наследный принц. Он прекрасно держал паузу, сохранял интригу.

— Ну что, друг мой. Кажется, я сумел найти тебе заказ на пошив костюма важному лицу, с почином. Как там мой костюм, кстати, скажи? — спросил Костя в своей обычной манере, без лишнего нажима, но с явным интересом.

Леон отвечал ему, опустив глаза в пол.

— Кажется, готово все, — очень тихо от усталости или отчего-то еще сказал он. Сила его стеснения была велика. Костя с торжествующим выражением лица сверкнул очами так, как будто бы сейчас убедился и убедил весь мир, что имеет дело не с паразитом каким-нибудь, не с самозванцем, а с дос-

тойным умелым профессионалом, человеком слова. Он откинул гриву своих черных, как смоль, с нечеловеческим синим отливом волнистых волос, пятерней назад и сказал громко: «Вот прекрасно, я знал, что ты не подведешь, Леон Кравец».

Костюм сидел на нем как влитой, у костюма не было иного выхода. Косте этот костюм светло-серого цвета был к лицу, он еще надел черную рубаху, повязал темный галстук и надвинул на глаза велюровую серую шляпу с лентой.

— Красавец, — восторженно воскликнула Дани, вкусу которой можно было доверять, несмотря на отчаянную влюбленность в Сироту. Дани была повержена в свое чувство любви к Сироте полностью. Новый костюм скрадывал некоторые недостатки в фигуре Кости, что увеличивало внешний эффект. Иерусалимский вечер щедро набрал тьмы, и Дани, легко поднявшись из-за низкого по местной моде стола, включила, согнув свой стан и щелкнув выключателями на шнуре, два торшера с сильными лампами в углах гостиной.

Леон смотрел на этого человека в пошитом им костюме с гордостью. Он не ожидал, что так получится у него. «Ничего себе вышло», — со скрытым удовольствием подумал он. Костя сходил в коридор и посмотрелся в зеркало, висевшее при входе. Он вернулся в гостиную и сказал Леону:

— Я рад, что не разочаровался в тебе, что Тимур не ошибся в твоих способностях и человеческих качествах, такое случается очень редко, поверь мне, Кравец. Надо сказать большое спасибо Тимуру и тебе заодно.

— Ты похож на Меера Ланского, копия просто, только волосы другие, а так один в один, — сказала Дани, наблюдая за Костей издали. Восторг и любовь слышались в ее голосе.

— Ты так считаешь? Ну что ж, не буду спорить. Недаром Года ему симпатизировала. Только обувь у меня подкачала, а так все идеально, — Костя показал на домашние тапочки без задника на ногах. Они совсем не вязались с костюмом, к которому лучше подошли бы двухцветные полуботинки, модные какое-то время назад в Штатах и Европе: белый полукруглый перед, тонкая черная кожа остального башмака, каблук с

твердым пристуком. В Израиле народ ходил в сандалиях или, в лучшем случае, в башмаках фирмы «Амагапер» на микропорке, и ничего другого люди, кажется, не знали об обуви и знать не хотели. Просто, дешево, прочно, доступно, больше ничего не надо — таков был девиз всех при редком приобретении одежды, особенно для мужчин. В общем, обувь, в которой можно ходить как по земляным, так и мощеным улицам, как за городом, так и в черте его, в заасфальтированном центре. А обувь, о которой идет здесь речь, идеально подходившая двубортному в полоску костюму Леона, могла топтать исключительно мокрые асфальтовые тротуары Нью-Йорка, Чикаго или минимум Ленинграда и, возможно, некоторых переулков Москвы. Костя выглядел очень довольным собой, своим костюмом и общим внешним образом мужчины. Он не желал скрывать своего личного удовольствия от своего нового образа от Леона и Дани.

— Эх, хорошо, эх, молодца, — повторял он.

— Не зря я тебя рекомендовал и расхваливал Годе. Женщина в депрессии, тебе надо будет ее порадовать новым нарядом, я сказал ей, что только ты сможешь это сделать, Леон, завтра днем поедем к ней, — он все решал и думал вместо Леона. Это немного смущало и даже раздражало молодого человека, но сделать против этого ничего было нельзя, во всяком случае, сейчас. Характер у Кравеца был серьезный, он мог ответить на любую фразу и всегда это делал, но этот непонятный человек Сирота его как бы околдовал, говорить Леону было нечего ему.

— Скажи, ты все зашил и пришил? Если что, пришей сейчас, потом будет не с руки, — сказал Костя Леону. Тот заулыбался в ответ и скривил лицо: «Чего это вдруг зашей, когда все пришито и зашито». Костя считался с тем, что говорил Леон. Он проникся большим уважением к этому парню, нарядно одетому, как в день свадьбы, слушающему всех говорящих с огромным вниманием и совершенно не понимающим того, что с ним и вокруг него происходит. Костя прощупывал свои мысли, как это делает мощный компьютер, он жил томитель-

ную жизнь, полную противоположных устремлений, которые он осуществлял и проводил в сегодняшнюю реальность как мог быстро и, по возможности, избыточно хорошо.

Леон чувствовал и воочию видел, что Костя и Дани очень рады результатами его работы. Он не очень понимал слова Кости о заказе на пошив для бывшей премьерши, в чем тут важность, в чем сложность. Но услышал его и внял ему, плохого Костя не мог ему сказать. Не сейчас, и ни к чему ему...

— Вот тебе гонорар плюс то, что передал мне Тимур, твое, ничего сумма получается, заслужил, нечего сказать. Береги деньги Леон, чтобы было, завтра с утра едем к Стене молиться, а потом к бабе Годе, я договорился с ней, — Леон взял деньги и положил их в карман. Дани повесила новый пиджак на плечики, присоединила к нему брюки и осторожно понесла всю новую пошитую Леоном добычу в комнату, где они спали вдвоем с Костей.

— А что это за двойник твой, Ланский этот, Костя? — спросил Леон необязательным тоном, чтобы отвлечься от вредных радужных и ненужных мыслей. Он смотрел на Дани и Костю с большим волнением и даже испугом.

— А это такой американский гангстер, знаменитый человек, с Годой моей дружил, и не знаю, дружит ли сейчас, думаю, дружит. Приехал сюда умирать, потому что болен, ему отказали в гражданстве, представляешь? Потому что у него было уголовное прошлое, представляешь! Иначе говоря, у него была судимость... Закон у них, у этих, важнее дружбы, важнее сентиментального чувства благодарности. И Годе не смогла ему дать гражданство, ты представляешь?! Этот Меер, много помогал Израилю, закупал оружие во время войны за независимость, совершал разные действия в пользу сионистов, собирал деньги у богачей, свои деньги давал. Вот и думай, Леон. Отблагодарили человека брата еврей, — Костя опять был уже в своем синем халате с бокалом красного вина в руке и с куском твердого сыра в другой руке, с горьким выражением раздражения на большом лице. Не было на все это, на весь этот разгул вечерней красочной радости и огорчения, чувст-

венного модерниста художника Матисса. Вот он бы, наверное, разобрался со всеми этими цветами: с синего цвета халатом Кости, темно-серым цветом нового костюма его, темно-коричневым ореховым цветом корпуса напольных часов, черным холодным общим небом за окном и прозрачным цветом пустого пространства города.

— Давай покурим, талантливый Леон, а то еще забредем в такие дебри, из которых не выбраться. Вот я все помню, как меня Тимур на зоне прикрывал, вписывался, защищал, меня хотели съесть другие, а он не дал. Вот я и благодарен ему по гроб жизни, кури, курение успокаивает, примиряет, умиротворяет, а деньги спрячь, тут все честные и не нуждаются, но и искушать не следует, понимаешь. Не ищущай, дорогой, — он с удовольствием закурил свою махру, потом поджег сигарету Леону, который молча все слушал, мотал на ус, не все понимая в этом прерывистом странном монологе. Он не разбирался ни в чем, он находился в Эрец Исроэль чуть больше сорока восьми часов, не понимал многого, то есть ничего.

Они сидели друг против друга и курили в унисон. Леон пытался выстроить завтрашний день. «Хорошо, что Костя со мной, очень хорошо. Слишком много всего происходит, двое суток. Завтра идем к Годе Исаковне. Кто мог подумать, я всегда надеялся и знал, но не так быстро, не так много, я же один человек, трудно справиться и понять, никаких скидок мне нет», — думал Леон. Неприятное и тяжелое чувство тревоги сопровождало эти его мысли. Сигарета показалась ему горькой, невкусной, он загасил ее сильно рукой в стеклянной пепельнице и отпил очень крепкого чаю, поданного прежде Дани. Костя посматривал на него искоса.

— Будь спокойным, не волнуйся зря, все будет нормально, верь Косте, — убежденно произнес Костя под музыкальные звуки, прилетевшие из приглушенного телевизора, — все складывается нормально. Только окрепни еще, Леон. Посмотрим, что там они скажут, наши создатели новостей. Писатели от слова «художно», ха-ха.

Дани протянула руку за спину и, нащупав рычажок, прибавила звук в телевизоре.

— Не соскучишься у нас, всегда интересно, еще заскучаешь по рутине, — проворчал Костя, прослушав первые звонкие фразы диктора по имени Даляя. По лицам Кости и Дани он понял, что радостных новостей сегодня будет мало или вообще не будет. «Жаль, что так, очень жаль, могли бы для меня сказать чего-нибудь радостного всем, так ведь, нет», — только через несколько лет Леон, прослушавший и просмотревший десятки и сотни новостных выпусков, сообразил, что писатели сводок здесь просто не обучены писать про что-нибудь положительное или, не дай бог, радостное. Он, Леон Кравец, не терпел никакой небесной звездной мути, признавая только рафинированную прозрачность этой жизни, которая единственная уравновешивала душевное волнение Леона. Кравец понимал, что, въехав в эту страну одним человеком, он уже никогда не останется тем же, кем был, и уж тем более, сможет выйти из нее совсем другим.

Спал Леон на удивление хорошо. Провалился в сон буквально. Снов не помнил, кажется, этих снов и не было. Ночью было холодно, из окна из близлежащей долины неся ледяной воздух среднегорья. Леон натягивал на себя легкое покрывало, которое ему дала Дани, чтобы накрываться, потом он взял у изножья вторую простыню и добавил ее к покрывалу. После этого он глубоко заснул. Утром он вскочил часов в пять, было еще темно-темно. Он осторожным шагом сходил в ванную, принял холодный душ, с удивлением посмотрел на свое похудевшее за последние дни лицо с буквально впавшими внутрь щеками, яростно растер грудь и плечи своим полотенцем, изъятым из привезенного московского чемодана, затем попил ледяной воды из холодильника с коричневой дверцей. Вверху второй, меньшей двери холодильника на морозильной камере была надпись латинскими прописными буквами: «Фридман». «Пусть будет Фридман, я этому местному явлению рад, совсем не скучно здесь», — подумал Леон. Привыкший к другим названиям на предметах быта в прежнем месте своей жизни, где

подобными фамилиями не шиковали, не разбрасывались просто так и не торжествовали, он назначил себе не удивляться ничему здесь и восторгаться умеренно.

Завтракать не стали. Выпили кофе, оделись празднично в белые рубахи с длинными рукавами и поехали в Старый город к Стене по теплым уже улицам того города, что застроили за Стеной.

— Обязательно надо, без него диплом не дадут, — не совсем понятно сказал Костя. Стоянка была наверху, возле урчащих автобусов и редких машин. Трое мужчин в трехдневной сивой щетине, шофера этих автобусов, одетые в темные брюки и клетчатые рубахи с начесом, пили дымящийся напиток из одноразовых стаканов, налитый из термоса, стоявшего подле ноги одного из них. Будний день, есть место для всех, дальше пешком. Дошли до лестницы с двумя немолодыми опытными солдатами в потертой форме защитного цвета. Они с утра выглядели усталыми, так показалось Леону. У них были устаревшей формы ружья с тяжелыми прикладами в руках, Леон же ожидал увидеть, наконец, знаменитый автомат «узи», о котором читал в газете «Красная звезда» много разного и скрытно комплиментарного перед отъездом. Рядом со входом в сторожевую будку лежала оловянная погнутая ложка, выпавшая у кого-то из пожилых сторожей.

Один из них поднялся с низкой табуретки с плетеным сидением и подошел к Косте и Леону навстречу. Он что-то медленно и хрипло сказал Косте, и тот неторопливо достал из кармана брюк синенькую книжечку паспорта. «А ты?» — спросил солдат Леона, как бы нехотя. Леон понял его сразу без перевода, вытащил свой паспорт и отдал солдату. Второй солдат, уютно сидевший в будке с мутными стеклами, даже не повернул лица в их сторону, кажется, он дремал. В висевшей вдоль тела правой руке его попыхивала огнем забытая сигарета. «Идите», — сказал первый солдат и отвернулся от них. Леон с Костей пошли по лестнице вниз к рекламному щиту с замалеванной черной краской картиной неизвестно чего. Сразу у подножия лестницы начиналась площадь перед

Стеной, и они двинулись по ней, взяв из ящика картонные черные кипы по указанию Кости: «Обязательно надень это на голову».

Левая половина пространства перед Стеной была отведена мужчинам, правая — женщинам. Между этими пространствами проходил невысокий заборчик, скорее формальный, чем реальный. Если пожелает кто, то пройдет без помех из одного места в другое. Но никто этой границы не пересекал, не был заинтересован, правила поведения побеждали. Людей было не так много здесь, десятки, может быть. Эти люди шли, приближаясь осторожными шагами по каменным плитам к Стене. Люди выглядели небольшими перед огромной каменной оградой, которая на самом деле была несущей стеной Второго Иерусалимского храма длиной примерно метров 500–600 и высотой метров двадцати двух. Вниз в землю уходило еще метров пятнадцать стены, которые были не видны снаружи. Как все эти камни водружались в те времена без механизмов, было совершенно непонятно. Много непонятного для рядового человека было в этом месте, Леон привыкал ко всему очень медленно.

Приближаясь к Стене, Костя достал из кармана сложенный пополам лист бумаги и неловко протянул его Леону с видом заговорщика. «Это слова благодарения, которые нужно сказать у Стены, написано просветителями русскими буквами для удобства, кто не знает и не умеет читать, попросил у знакомого вчера, специально для тебя», — сказал он на ходу. Леон прибавил шагу, чтобы избавиться от назойливого повелителя, он этого очень не любил с малых лет. Но уважение, благодарность, скромность, воспитание не давали ему возможности что-то сделать или сказать что-либо решительное или осуждающее Сироте.

Леон подошел к Стене, прикоснулся к ней ладонями и сказал молитву, которая называлась среди религиозных, сильным словом «шехийану». Леон сказал эту фразу, не заглядывая в шпаргалку Кости, он знал ее наизусть, выучил в Москве. Он был совсем не так прост, как могло показаться сначала.

ла, этот «портняжка по профессии кутюрье», этот Леон Кравец. Костя сказал у Стены свою фразу, отличавшуюся от фразы Леона, но они ведь и сами, эти люди, отличались друг от друга очень сильно. Потом Костя вынул бумажку с написанным на ней каллиграфическим почерком отличника пожеланием. Он вложил эту бумажку в щель между камнями, затолкав ее поглубже. Там были еще бумажки с пожеланиями и письмами. Служки регулярно собирали большими охапками тысячи этих листов и бумаг с просьбами — и все они сжигались по обряду на специальной церемонии. Он, там наверху, все знал и так, о чем люди его просили, ему все это хранить и читать не надо было. А Леон ничего не положил в Стену, потому что этого он заранее не знал наверняка, не сообразил. «Потом подойду и положу свою просьбу, сам все сделаю, обойдусь без советчиков», — подумал он, но досада была видна на его юном худом лице с румянцем на скулах.

Костя был очень доволен этим походом к Стене, широко улыбался и торопился больше обычного. «Опаздываем к Годе Исааковне, опаздываем, Леон», — нервно торопил он Кравца по дороге к стоянке с автобусами. Тот все помалкивал, пытаясь идти в том же темпе, что и Костя. Это было трудно ему, потому что трудно успевать за такими людьми, как Костя, точнее, невозможно, но он очень старался попадать в ногу с ведущим. «Все, это дело сделали, — Костя быстро говорил в таком тоне, будто бы ставил галочки в намеченном заранее плане, — теперь мчим к Годе Исааковне, надо успеть вовремя, она не любит, когда опаздывают». Он все что-то обдумывал, жег бензин в заведенном двигателе зря, не двигался. Потом наконец поехал, что-то решив для себя.

Ехали быстро, зеленые виды за окном машины сливались в непрерывную изумрудную расплывающуюся полосу, Леон чувствовал себя все еще неуверенно. «Надо было твой костюм надеть, люблю к Годе приходиться в полном параде, она человек старой школы, но это уже в другой раз. Сейчас так придем, не при параде, но при своих, как говорится. Твои все выкладки и эскизы с тобой, Леон Кравец?».

Леон не отвечал ему на дурацкий вопрос. «Ну, конечно, с собой, это все, что у меня есть, все свое ношу с собой». Он стал спокойнее после того, как сходил к Стене, хотя и очень раздражался на Костю в это утро, называя его про себя «невыносимым». Но вот теперь, спустя короткое время, он успокоился и смирился с этим человеком. Подъехали к дому с широким тротуаром, выметенным металлической метлой дюжего уборщика до белой своей изнанки. «Точно час дня, успели», — сказал Костя.

Незнакомый прохожий что-то сказал нерадостное в адрес Кости и Леона, направлявшихся к парадной двери с маячившим перед ней парнем в странном пиджаке с рукавами по локоть. Леон не расслышал, вернее, не понял, что сказал этот досужий мужчина. Только понял интонацию. Костя же не отвечал, но повернул голову к плечу и посмотрел на этого человека резко и изучающе. Можно было почувствовать себя неуютно под таким взглядом Кости, который был естественен со своей угрозой, как уличный хулиган, он мог и, главное, умел быть всяким. Но времени на то, чтобы разбираться со случайными замечаниями, ни у кого не было. Охранник перед стеклянной дверью в парадной оглядел Костю и Леона, просмотрел их паспорта и, нехотя посторонившись, пропустил внутрь.

В парадной было чисто, светло и уютно. Лестничная площадка перед единственной дверью на третьем этаже была украшена ухоженным фикусом, а на дверях не было надписи с фамилией жилицы или квартиросъемщицы. Открыли им почти сразу после звонка, и они вошли. Леон чувствовал себя неловко. Девушка с маловыразительным лицом прислуги, лет тридцати двух, в сарафане и повязанном вокруг головы узком платке, пропустила их, посторонившись, внутрь дома. Она показала Леону жестом, что снимать обувь не надо, оставь, мол, парень, так, как есть.

Года Исааковна оказалась немолодой усталой женщиной, просто одетой и какой-то понурой. Глаза ее не выдавали, не изменяли образ. Веки были тяжелые, темные, воспаленные. Ожерелье на шее не украсило, казалось помехой. Помощница

ее скрылась в смежной комнате. Года была не слишком привлекательной дамой, с этими длинными морщинами на лице, с полуопущенной головой и опухшими ступнями в серого цвета чулках и туфлях без каблучков. Будто бы из человека выпустили воздух, необходимый для полноценной и полноценной жизни. Было в ней что-то безнадежное, отчаянное. Слова Кости о том, что «в американской молодости Года была красоткой, за которой гонялись молодые люди, сам видел фотографии, так что ты не думай», можно было понять сейчас как оскорбительный комплимент. Ничего Леон такого особенного не думал. Наверное, Косте можно было бы поверить, насколько ему вообще можно было верить, но сейчас бесконечно далекая молодость этой дамы была очень далека, лет на 60–70, от отчаявшейся старухи, встретившей гостей в гостиной своей квартиры.

Года пригласила их сестра за стол из орехового дерева с вязаной белой салфеткой и пепельницей ровно посередине, помощница ее принесла чай и блюдо с песочным печеньем. Все, как любил Леон. Все вокруг было умеренно и скромно, и никак не давало повода удивляться богатству и роскоши хозяйки. Можно было бы применить к интерьеру гостиной Годы Исааковны и слова «убого как-то», если поставить себе целью критику ради критики, но ни Леон и ни, тем более, Костя, не были такими суровыми людьми.

— Чем могу служить? — спросила Года низким густым голосом. Она взяла сигарету из пачки на столе и стала прикуривать. Зажженную зажигалку ей поднес Костя. «Какой все-таки он умелый, ловкий и разный человек», — одобрительно подумал Леон о Косте, действительно умелом и вкрадчивом дамском и не только дамском угоднике. Года затянулась и помахала перед лицом ладонью, разгоняя дым. Она необязательно смотрела сначала на Костю, потом переводила взгляд на Леона. Чего-то она пыталась понять, рассмотреть.

— Вот он, Года Исааковна, — Костя показал на Леона рукой, — хочет пошить вам наряд, я вам о нем рассказывал, звать его Леон Кравец, большой еврейский кутюрье из Москвы.

Впервые в отношении Леона было произнесено слово кутурье, что понравилось ему очень. У него были и другие слабости, но вот на лестии он просто ломался напополам и сразу. Костя Сирота понимал про людей, казалось, все, до последнего, запрятанного на самом дне души, секрета, самого последнего лохматого и грязного чудовища.

Года эта на самом деле представляла хорошо знакомый Леону от рождения тип пожилых еврейских женщин, сильных, волевых и умных, подавленных жизнью и, по разным причинам, с этой самой жизнью переставших справляться. Факт этот очень мешал дамам жить свою жизнь как прежде, что являлось помехой для них. Но у Годы была реальная огромная власть, она всю жизнь к этой власти стремилась и, обретши ее, столкнулась с чем-то непреодолимым и огромным, что было намного больше ее, с чем она не справилась и в чем она была и не так и виновата. Но пережить крушение, как личное, так и общее, она не умела.

— Показывай, Леон, — пригласил Костя, сделав жест рукой и скривив лицо, мол, давай сюда быстро эскизы.

Года просмотрела листы с рисунками Леона внимательным взглядом, который можно было назвать и пронзительным. Она привыкла именно так смотреть, сидя в своем цепком кресле. Она быстро освоила этот взгляд на людей во время своего правления. От природы она была властна и активна. Отложив просмотренную пачку листов, Года поглядела на пепельницу с окурками, подняла свои глаза в сильных очках на Леона и сказала низким голосом: «Ну да, я так и думала, большой талант, обещает стать великим. Что будешь мне шить, юноша?».

Леон, не поняв ни одного слова, руководствуясь исключительно интонациями ее голоса, выбрал один из листов и положил его перед женщиной: «Вот это». Костя ни во что не вмешивался, сидел кротко и смотрел на книжный шкаф за ее спиной, в котором большинство книг было на английском, мемуары Черчилля, например, но были книги и на иврите. На свободной от книг полке лежала кипа газет, кажется, еже-

дневных английских и американских. Можно было увидеть без напряжения на первых полосах этих многостраничных изданий, заполненных разными словами, фотографии Годы Исааковны, сделанные в последние недели разными фотографами-снайперами. Вот она тяжело идет к черному правительственному автомобилю, ее сопровождает сбоку молодой охранник, за которым маячит усатый полицейский в форме, лицо ее напряжено и безрадостно, и она сгорблена от возраста и силы горечи в сердце.

— А ты что скажешь, Коста? Это подойдет мне? — спросила Года Исааковна молчавшего Костю. Голос ее из низкого и скрипучего волшебным образом стал мягок и даже необычно певуч, так говорят обычно с любимым избалованным ребенком. Никакой паузы после этого не последовало.

— Я полностью доверяю вашему вкусу, на мой взгляд, идеально подойдет, — сказал Костя, немедленно вернувшись в реальность и живо повернувшись к женщине. Леон еще раз поглядел на знакомый ему эскиз, как бы запоминая и выискивая в нем что-то ему неизвестное.

Домой Костя ехал так же лихо, как делал это по дороге в Старый город в этот же день утром. «Ты произвел на нее хорошее впечатление, видно было, не рвал с нее денег с мясом и кровью, не хапуга и не жмот, выглядел человеком достойным своих способностей, я доволен тобой, мистер Кравец. Она, конечно, заплатит за работу сполна и поверх назначенного тобой, но ты денег не бери, вернутся эти денежки потом с процентами», — речь его рокотала от удовольствия и была вполне разборчива. «Лихой, конечно, человек, этот Костя, лихой и непростой», — решил Леон. Понять это было не так сложно, но Леон посчитал это своим личным достижением. Он не ориентировался в Иерусалиме на местности совершенно. Он мало что понимал тоже. Кто с кем и кто против кого, он не знал совсем. «Совершила в тебе культурную революцию эта великая женщина, Леон Кравец? Очень постарайся для нее, заслужила любимая дама», — безо всякой иронии сказал Леону Костя, глядя прямо перед собой на по-

следнем светофоре перед поворотом налево на улице Газа. Леон не отвечал ему, он не все понял. Костя держал руль машины, не сжимая его сильно, чуть ли не двумя пальцами. Но это не сказывалось на качестве его вождения, которое было даже на скептический взгляд Леона идеальным. Очень плавно вел свою шведскую машину Костя Сирота, обученный этому делу профессионалами высшего класса.

Он подкатил к дому на Шимони, с геометрической точностью вписавшись в счастливо оставленное кем-то место между припаркованными машинами. «Как удачно все сегодня складывается». Костя удовлетворенно качнул головой, что «вот он, какой я водила частного транспорта, учись, портной парень». Он изъясил ключи из зажигания и грузно и стремительно вылез наружу в самую жару. «Не устал, но утомился за это утро, Леон», — он не обижался на эту переполненную жизнь, сообщал свое мнение и как бы все. Без каких-либо последствий, настроение его было боевое и веселое. Уже жара в городе набрала максимальную силу и градус, в небе над городом висело солнце, потерявшее очертания и границы. На входе они встретили молодую беременную женщину, которая шла по-хозяйски, ступая им навстречу уверенно и несомненно. «Наглая злая баба, думает, что весь мир ей обязан, видеть не могу, но очень беременная, Леон, запомни», — сказал Костя, любезно поздоровавшись с нею и заранее уступив дорогу. Женщина не повернула головы в его сторону, но все-таки, пройдя вперед, полуобернулась и снисходительно кивнула: «здрасьте, соседи». Они вошли в сумрачную после улицы парадную деловым шагом, дождались лифта, и дом за прочной входной дверью встретил их улыбкой Дани, живительной прохладой и надеждой на лучшее будущее. Хотя куда уж лучше, казалось бы.

Они пообедали, как пробормотала Дани, «чем бог послал», и Костя сразу после засобирался: «небольшое дельце на пару часов», принял холодный душ, так он любил, сменил рубаху и вышел-выбежал из квартиры, ласково и задумчиво потрепав на прощание Дани, к ее вящему удовольствию, за вы-

пуклости неожиданно сильного тела. Она очень хорошо ходила, двигалась свободно, была высока, стройна, гибка, с белой кожей и гордо сидящей головой на высокой мраморной шее – настоящая средиземноморская королева. Леон и раньше это видел, уже три дня она занимала его внимание и зрение, но сейчас Леон наблюдал все это отдельно от общего вида квартиры, сидя сбоку от входной двери на диване. Костя Сирота же этот, занимавший место в этой невероятной сводящей с ума картине быта и чужой средиземноморской жизни, чумовой и необъяснимый человек, как бы все время накачивал воздух мехами в горн своей души, раздувая дремлющий в ней огонь своим личным кислородом до высшей температуры горения и нестерпимого света.

«Потрясающе все как вообще, — подумал Леон с восторгом, отодвигаясь от солнечного, почти лазерного, поражающего все луча, нагло проникавшего в гостиную с балкона, — этот человек и его поведение, слова и фразы, походка и поступки могли стать навязчивым сном из далекого детства, разве нет? А про Дани сказать, что она дополняет картину собою, просто преступно, она сама картина, сама занимает огромное и чудесное место в городском пейзаже большого художника, представителя интенсивного модернизма, скажем, Матисса. «Не скучно мне здесь совсем, как будто я знал заранее».

Эта мысль была как озарение, высказать ее вслух было невозможно, бестактно, что ли. Леон понимал, что нельзя говорить про городской пейзаж с Дани и Костей, и все. «Молчи, большой мыслитель, молчи», — сурово приказал он себе. «А грейсер хохем», — как говорил его узкоплечий дед про другого человека.

Вдогонку Косте Леон позволил себе сказать: «Нет, не совершила во мне революции Года Исааковна, но впечатление, конечно, произвела огромное, немедленно начинаю работу, а так, к твоему сведению, я против революций категорически». Как будто кого-то в Иерусалиме могло интересовать его мнение, одинокого бедняка, приехавшего сюда жить из провин-

ции, завоевывать мир. Самомнение, однако, молодость, что тут скажешь. Костя успел кивнуть, что услышал Леона отлично, и закрыл дверь, сказав за нею довольно громко: «Счастливо, Карден», — ставя точку в их почти обязательном диалоге.

Но вот Леон сделал некоторые выводы для себя. Он уже начал свою работу над костюмом для Годы, но продолжал думать о сегодняшнем дне, насыщенном донельзя. Перенасыщенном. Все-таки он был очень молод и не понимал вокруг себя многого. Костя опять показался ему человеком, у которого никогда не пересыхало горло от перерасхода звуков, речь его лилась легко и без помех, она никогда не была досужей болтовней. В комнате он закрыл окно, чтобы не слышать пения птиц на деревьях вокруг и шума проезжающих машин, это мешало ему. Из окна гнал в комнату нагретый дневным солнцем воздух, но Леон не очень считался с этим, звуки влияли на его работу намного сильнее. «Так, — сказал он, — так, начинаю».

Леон заглянул, постучав в дверь, в комнату хозяев, где Дани сидела за узким столом и что-то писала похожее на письмо. «Мне нужен кусок картона, есть у вас?» — спросил Леон у Дани. Она взяла со стола твердый лист и протянула его Леону: «Подойдет?». В углу с потолка над тумбочкой свисала затягивающаяся петля из прочной серой веревки. Глядя на петлю во все глаза, Леон ответил: «Спасибо», — ничего больше не спрашивая. Он вышел, прикрыв за собой дверь, унеся вопрос «А это у вас зачем, Дани?» — с собой.

Костя тем временем доехал на четвертой скорости, не переключая ее весь путь, через город до улицы Паран в обжитом уже квартале Рамат-Эшколь на севере города и остановился на дороге напротив отделения почты в глубине строений. Это был торговый центр, выстроенный здесь из светлого местного камня не так давно и наполненный магазинами, отделениями различных банков, непонятными лестницами, ведущими вверх и вниз, и машинами на стоянке. Двигатель он не выключал, он работал зря, сжигая очень дорогой при продаже бензин, но Костя с такими расходами не считался. «Еще чего, я

что, и об этом должен думать, хе». Окна в его машине были закручены, но работал кондиционер и было даже прохладно. Негромко и почти ненавязчиво играла эстрадная музыка Третьей программы «Коль Израэль» в радиоприемнике. Костя читал вчерашнюю ежедневную газету, изредка поглядывая в стекло перед собой, возвращаясь к чтению второй полосы со статьей о причинах политических событий, которые привели к отставке его любимой премьерши. Эти причины были хорошо известны всем жителям страны, но обозревателю они были известны лучше, чем другим. Газета была активна во всех вопросах жизни здесь и там вне Израиля.

Рядом с политическим материалом была большая статья о высылке Солженицына и событиях его жизни на западе за три с лишним месяца, прошедших со дня его оскорбительной высылки из СССР. Статьи сопровождались большими выразительными фотографиями Годы Исааковны и Солженицына А.И. «На ее месте я бы не фотографировался сейчас», — пробормотал себе под нос Костя. Это Года и сама часто говорила ему, но всегда с усмешкой добавляла, — но у меня никто и не спрашивает, можно фотографировать, не можно фотографировать, не заслужила». Понять, чего в этих ее словах было больше, горечи или сарказма, было невозможно. Писатель А.И.С. на обманчивом газетном фотоснимке выглядел сурово и уверенно, он знал правду про жизнь в мире, и про Россию, в частности, хорошо.

Мягко щелкнув замком, открылась дверца со стороны пассажира — и в машину Кости села высокая женщина с гладкой прической и белым лицом работающего в помещении много часов в день клерка. Это была Адина, к которой Костя уже ходил прежде вместе с Леоном в Национальный банк на Яффо возле почты. Она была собрана и деловита. Одевал ее точно не Леон, который бы уж точно придумал что-нибудь более яркое для ее красоты, чем стандартные темные брюки и кремовая кофточка. Но и так она была привлекательна и хороша бесконечно.

Они поздоровались без улыбок, но приветливо. «Принесла? Говори», — сказал он женщине. Эти люди хорошо понима-

ли друг друга, с полуслова. Адина сразу вытащила из бокового кармашка кофточки узкий, сложенный в несколько раз листок простой тетрадной бумаги в клеточку. Не разглядывая, что в нем написано, Костя положил листок в нагрудный карман рубашки, нагнулся и вытащил с усилием из-под своего сиденья коричневого цвета пакет, который передал женщине. Она тоже не поинтересовалась тем, что в пакете, положила его в сумочку, не взвешивая и не прикидывая вес пакета даже на глаз. Она затащила молнию поверху. Она была озабочена и очень мила в этом состоянии.

«Ты там приглядывай за счетом нашего героя, он хороший и нужный человек», — сказал Костя другим тоном, который можно было назвать прежним тоном Кости Сироты. Адина кивнула, что поняла, обняла его за шею и поцеловала в щеку. Поцелуй этот был лишен всякой сексуальной окраски. Но если смотреть издали, то можно было понять его содержание иным, или так, или не так. Да кто же смотрит на них, кому интересны эти люди, прибывшие сюда жить совсем недавно из Румынии и СССР. Адина вылезла из машины и пошла обратно в направлении фалафельной лавки, которая разместилась между отделениями Национального и Рабочего банков. По слухам, фалафель здесь был хороший, с зеленью и чесноком. Приправленный техниной и соленьями, этот уличный бутерброд, иначе его и не назвать, был полноценным обедом местным людям: и таким, и сяким, и этаким.

Костя с облегчением вытер мокрый от пота лоб бумажной салфеткой, вытянув ее из пакета под лобовым стеклом. Этого не случалось с ним прежде. Он пригладил волосы, после чего уехал из этого места достаточно быстро, хотя и не так быстро, как ездил всегда.

Адина купила себе порцию навynos, попросив удивленного продавца добавить огненного зеленого перца, разведенного с другими приправами. На эту смесь было смотреть страшно, а Адина ела это добро легко и с удовольствием. Ее родная тетка, кокетливая крашенная бездельная пенсионерка, иногда говорила в разговорах с соседями, что «мы, румыны,

сефарды Европы, чтоб вы знали». Товарки поднимали брови и не возражали, они ее побаивались. Адина ее избегала, тетка сходила с ума от одиночества на своей улице Уругвай. Ничего с этим, в смысле, с ее одиночеством, поделаться было нельзя. Тетка вышивала крестиком свои скатерки часами, смотрела с лавочки у дома на машины, но все это не спасало никак.

Продавец голой до плеча рукой со стальным запястьем добавил две ложки в хлебную лепешку с вожденным со-держимым, мгновенно упаковал все в пакет и протянул его Адине: «На, госпожа, можно сгореть от этой порции, красавица, ты только не гори, а живи, радуй глаз наш». Адина кивнула ему без улыбки: она, благодаря воспитанию в своей Констанце или там в Яссы, неизвестно, не разговаривала с обслугой, иначе говоря, с продавцами, уборщиками, шоферами, официантами, поломойками — и пошла прочь широким шагом, который красил ее все равно. Таких, как Адина, женщин, все красит, даже волнение плохо объяснимого страха. Подойдя к своей машине, она увидела на тротуаре синюю бумажку в пять лир, подняла ее, мягко хрустнула ею, разгладила и положила в карман: «к добру это, я знаю».

Потом двумя движениями она складно отомкнула дверцу и удобно, обтянутыми чреслами вперед, села за руль в свой «народный жук» салатного цвета, сразу попав ключом в зажигание. Адина укатила прочь отсюда, «чтобы глаза мои всего этого никогда не видели», надежно тарахтя почти вечным двигателем в 1300 кубов, 44 л. с., года выпуска сумрачного германского гения, 1972 года. Только эту Адину и видели. Что стало причиной ее раздражения, объяснить так просто с налету было нельзя.

Костя уехал в другую сторону, пошуршав мотором на месте, как он обычно любил делать, думая свою важную нетривиальную мысль (мысли) под едва уловимое дрожащее движение кресла и панельной доски. Еще через час он заехал по дороге еще в одно место, в промышленном районе на выезде из города на первое шоссе в сторону Тель-Авива, оставив без слов у чумазого механика с отверткой в левой руке другой па-

кет, обернутый в черный пластик, в правой руке. С этим чумазым Костя не здоровался, не приветствовал. Сирота просто подошел к мужчине в застиранном комбинезоне, застывшему в открытом ставне, и отдал ему пакет. Они попрощались едва заметным кивком. Что и как — никто не пояснял никому, все всё знали и так. Все это было странно и оставляло многие вопросы на поверхности, только их никто не задавал. Со стоянки у гаража он выехал, виртуозно лавируя между ожидающими починки машинами. Чумазый, очень известный мастер в городе, разбирался во всех видах автомобилей, все знал наизусть, любой мотор, по слухам, чувствовал не глядя и просто ухом, как знающий себе цену врач-легочник с большим стажем.

От чумазого автомобильного гения уже было рукой подать до рук Дани и любимых, ею приготовленных, русских блюд. Не поверите, но Костя больше всего любил фаршированную рыбу своей женщины, и не только ее, а и остальное все. Через двенадцать минут Костя уже парковал автомобиль у дома на Шимони. На все про все у него ушло два с половиной часа, по-божески для столицы. Он был любезен все с той же беременной соседкой, которая тоже приехала откуда-то, никуда было от нее не скрыться. Дама отвечала ему сдержанно и после паузы, тот еще персонаж, конечно, та еще цаца. Дамы фамилия была Толедано, что не имело значения, фамилия у нее была мужа. Ривка Толедано. Костя дал ей уехать в лифте одной, он и побаивался, и она ему не нравилась во всех смыслах. И как женщина, и как человек, и как авторитарный носитель непонятной этнографической правды. Это было обоюдное, он ей не нравился категорически тоже. В дом он зашел усталый, вымотанный донельзя, хотя, казалось бы, что он там делал? Кирпичи таскал?

Леон к нему не вышел. «Работаешь? — спросил из-за фанерной двери Костя. — Хорошо, не буду мешать. Через пару часов ужин, имей в виду». — «Хорошо», — отозвался Леон, не отвлекаясь на то, чтобы встать и пожать руку хозяину. Ничего бы не случилось с ним, если бы он встал и поздоровался, тоже генерал иглы и нитки, но работа казалась ему важнее всего. Эта оголтелость Леона пришлось по душе Косте.

Через час он вышел по зову Дани на ужин, умылся и сел за стол рядом с хозяином. У него были вопросы к нему еще с утра, еще со вчера. Под музыку группы «Каверет», что значит «Улей».

— Они так же популярны у нас, как «Битлы», или даже больше их, — бросила Дани.

Они поглощали нескончаемые кулинарные изыски Дани.

— Мы заслужили все это, Леон, согласен со мной? — спрашивал Костя, которого ответы куцега упрямого закройщика не очень интересовали. Леон с удовольствием кивал, готовясь задать свои вопросы. Но Костю интересовали только свои слова, а не чьи-то наивные вопросы.

— Я показался в твоём костюме, шляпу надвинул на лоб, пиджак застегнут — все ахнули прямо от восторга, всем очень понравилось, сказали, что просто выгляжу, как второй Ланский, обидели Костю Сироту, я всегда хочу быть первым, — он даже не замечал своей лжи, она была естественна у него, как дыхание.

После того как выпили еще вина, покурили, Костю немного повело или он сделал вид, что с ним что-то не так. Он сказал, глядя на Леона, который не испугался по наивности, наверное, или недостаточной и вполне понятной и объяснимой осведомленности, его проникающего взгляда:

— Все время живу так, как будто хожу по лезвию бритвы, поверишь, Кравец?

Трудно было так сразу все понять, Леон мог только попытаться догадаться, ухватить догадку, но все было безуспешно. Дани, очень любившая музыку и не представляющая жизни без нее, прибавила звук в приемнике фирмы Браун. Звучала песня, уже знакомая Леону, обладавшему музыкальной памятью вдобавок к другим качествам. «Од тире од тире кама тов ихие...» — что по-прежнему означало: «Ты увидишь, ты увидишь, как все будет хорошо...». Пела та же светловолосая певица, о которой Леону уже рассказывал его ведущий по этой жизни здесь. «Певица года, безоговорочно признана ею», — непривычно веско для себя сообщал Костя. Он не хотел быть

отвергнутым, но и из кожи не лез, чтобы его приняли «в свои». Двойственность характера, свойственная гордыне и наличию сверхзадачи у самостоятельного в жизни человека.

— Очень сложная у тебя задача, вот так с налету, без подготовки и примерок, пошить пожилой дородной даме соответствующий ее духу наряд, не завидую тебе, Кравец. Если у тебя получится, я в тебе уверен, что получится, но если все-таки получится, то это разрушит все мои представления о человеческих возможностях. Я говорю тебе правду, — лицо его менялось во время этого монолога. Он рассуждал абстрактно и необязательно. Дани сообщила, что битлов не пустили с концертами в Израиль, чтобы не развращали молодежь. «А я не знал, поди ты», — сказал Костя без выражения.

Леон вдруг заметил, что у него лицо кривое. Искривленное какое-то. Просто из-за гривы волос это было трудно заметить, нужно было приглядеться. У Леона от этого Кости Сироты кружилась голова: от его частых слов, от его головокружительных рассказов про жизнь, от его редких непонятных воспоминаний и от его жизни — всего того, что окружало и обволакивало его образ тугой оболочкой странной тайны. Например, за что он сидел, сколько лет, каким образом ему помогал Тимур на зоне, где живут его родители и братья с сестрами, и наконец, как он, никому неизвестный новоприбывший, юноша с насыщенным прошлым познакомился с Годой Исааковной и другими властными людьми, это было необъяснимо и совсем неясно и, если уж на то пошло, то «где он сидел и как он сидел?».

Вопросов было много, Леон, феерически, до дрожи в плечах, любопытный, как и все портные, даже если эти портные были талантливыми кутюрье, надеялся получить на них ответы со временем, все же отчетливо понимая, что надежд на это не очень много, вернее, совсем нет. Потому что у Кости нет ответов, он и думать не захочет об ответах. Что ему, делать больше нечего... Он не хочет ничего о себе рассказывать, никому и не расскажет. «Не делюсь своей жизнью, самому нужно», — говорит он, походя, думая еще о чем-то не менее важном. День вокруг него и над ним был велик и значителен.

Леон знал, глядя на этого холеного щекастого человека с редкой рассеянной улыбкой, с ногтями, покрытыми бесцветным лаком в тесном маникюрном салоне на улице Шац, с волнистой черно-синей гривой полос, в невероятном однобортном костюме, сшитом ему на раз русским кутюрье по фамилии Кравец, что он не хвостун и что он пользуется своим непонятно откуда и куда рвущимся обаянием в одном ему известном понимании и интересе, что он не записной злодей, не аферист и не жулик в том самом распространенном смысле этого слова, которое вкладывают в него неосторожные, досужие, пустопорожные болтуны.

— Значит, ты выбрал для Годы классический образ, одобряю. Прошу тебя, только не усугубляй, и так ей не сладко, — пожелал Костя. — Есть у тебя это, есть, что говорить. Далеко пойдешь. Теперь тебе осталось осуществление на отлично этого проекта, в чем я тоже уверен, — Костя называл заказ и пошив костюма Леоном для Годы Исааковны проектом, и это было вполне естественно и понятно. Проект и проект, ничего не поделать с лексикой бывших советских людей. И не надо ничего делать, пусть говорят, как понимают, как научены и как умеют, привычка — вторая натура. Кто с этим может спорить? Никто.

— Ты так не похож, Леон, на стандартный образ, известный всем из жизни и прогрессивной литературы: сгорбленный смысленный старик в очках без оправы на горбатом носу — у тебя все наоборот, наблюдаю тебя с удовольствием, думаю, что и девушкам ты нравишься и за талант, и за красоту. Я прав, Дани? — Костя был в ударе, говорил с облегчением, будто бы выполнив тяжелую и неприятную миссию, мог позволить себе расслабиться и необязательно поболтать.

Леон с видом человека, решившегося на достойный ответ бравым комплиментом, поднялся со словами: «Ну, раз ты так, то и я так, держись, Сирота», — и пошел в свою комнату. Быстро вернулся и протянул Косте нечто пестрое и легкое. Это была шелковая жилетка в белый горошек, с плисовой подкладкой, чудное и необычное произведение благодарного мастера.

— Тебе Костя от меня, с благодарностью, — выговорил Леон.

Костя удивленно откинулся на спинку кресла, потом, поднявшись, примерил жилетку, она была ему как раз и сидела как родная часть туалета, покрутился перед Дани на носках и пятках и сказал Леону:

— Угодил, нечего сказать, большой мастер.

Он очень любил покрасоваться, приодеться, попожонить, несмотря на подавленные известно где желания. Он принадлежал к когорте так называемых стилиг, по меньшей мере, по возрасту подходил к этой группе молодых советских людей, считавших своим долгом одеваться иначе, петь и танцевать другие танцы, жить по-другому. Потом это все сошло на нет, как проходит всякая молодежная мода повсюду. Прошло, но не забылось, пока еще были живы отдельные персонажи. Многие из этих наивных юношей хотели уехать навсегда в Стокгольм, чтобы только уехать, они и уехали по возможности. Почему они хотели уехать именно в Стокгольм, было только им одним известно.

Запретное удовольствие гуляло по одутловатому, необычному и бритому до синей изнанки лицу Кости. Можно было бы уловить в его поведении и то, что, по большому счету, ему было все равно, что носить, с чем и даже что носить. Но выскажем предположение, что ему, кажется, было бы удобно и вольготно и в телогрейке, стеганых штанах и брезентовых рукавицах на погрузке металлоизделий в товарный вагон на запасных путях Казанского вокзала. Он был неуловим и полон противоречий, Костя-Шмера Сирота. Вечерний день и спадающая жара способствовали его изменяющемуся взгляду на моду и на перемены в жизни.

— Даже не знаю, право, как благодарить тебя, дорогой брат, что-нибудь придумаю, ты не беспокойся, — говорит носитель жилетки, — никогда у меня не было жилетки. Поразительно. Мне идет, Дани?

Девушка наблюдала за всем, что происходило в комнате, с нескрываемым интересом своими ясными светлыми глазами влюбленной и не всегда адекватной, не все понимающей в реальной жизни соучастницы и сожительницы хозяина.

— Очень. Ты просто парижский брокер сейчас, а может быть, и не только брокер, бери выше, — с готовностью откликнулась Дани, одергивая жилетку и не упуская возможности погладить сердечного друга по некоторым дорогим ее сердцу и телу местам его жизни.

Все было понятно с чувствами Кости и других. Но откуда взялось и висело здесь, в гостиной, чувство необъяснимой тревоги, этого Леон понять не мог. Хотя он уже жил здесь более трех суток и мог бы и привыкнуть к быстро меняющимся обстоятельствам иерусалимской жизни. Привычки приходят все-таки чуть позже. Три дня не время. Дани прибавила звуку в приемнике, музыка была хорошая. Мужчина исполнял красиво, голос его был почти низкий. Можно было назвать этот голос низким избыточным баритоном.

— Что поет?

— «Обещаю тебе, девочка моя, что это будет последняя война», — вот что он поет, — сказал Костя, стягивая с себя жилетку и передавая ее Дани, в понимающие привычные руки.

Леон, пылающий оттого, что жилетка пришлась к месту, пояснил, качая головой и поджимая губы от удовольствия:

— Да ничего особенного, хотя я очень рад, что вам понравилось. Весь секрет в шелке, он создал необходимый эффект элегантности, так что материал — всему делу венец, я просто подыграл...

Но Костя его не слышал, он продолжал вести свою роль наставника и учителя жизни.

— За жилетку спасибо, замечательно получилось. Здесь живут от войны до войны, Леон. Если ты еще не понял, еще поймешь, какие наши годы, уважь бабу Году, уважь, прошу, — Костя дернул головой, пригладил волосы, вернулся к столу и закурил, глубоко затянувшись крепчайшим серо-белым дымом, — завтра необходимо сходить в «Машбир» и принять дела у этого старичка-портного, Исаака Львовича, кажется, ты помнишь, Леон?!

Кравец кивнул, что помнит, и тоже закурил свою сигарету из красно-белой пачки. Она была проста, крепка по советски, вкусна и, главное, привычна.

— Привычка ведь вторая натура — так, кажется, говорят, а? — спросил Костя. Леон сплюнул табачную крошку с губы, сигареты были набиты недостаточно плотно, известная беда. На вкус это не влияло. Здесь, в этой гостинной, каждый вел свою независимую партию. Настал черед женщины.

— Отцу вернули его мобилизованный во время войны тендер. Развалюху получил, а до этого работал как часы. Добывается теперь компенсации, прошло-то уже полтора года, не знаю, получит ли, — рассказала Дани, не обращаясь ни к кому.

Леон не понял смысла сказанного. Костя как бы прислушался, но реагировать на услышанное отказывался, мало ли что женщина говорит.

— А здесь что же, мобилизуют автотранспорт на время войны? — спросил Леон без удивления. В СССР, откуда он приехал сюда жить, могло быть и не такое — и никто этому бы не удивлялся там или возмущался, попробуй скажи чего, но здесь был Иерусалим, нет?

Он познавал средиземноморскую действительность через рассказы знакомых ему людей. В те годы мобилизовывали личный автотранспорт на войну. Причем хозяина призывали в одну часть, а автомобиль его совсем в другую, никогда эти призывы не совпадали.

— Я ему компенсирую убытки, девочка моя, не волнуйся, — уже упоминалось здесь, что Костя был широкий человек. Он был, бесспорно, человек очень разный, но широкий, конечно.

Утром, с уже привычным свежим воздухом и взлетающим солнцем за холмом и домами, Леон отправился в город один. Костя уехал рано по делам, Дани возилась со стиральной машиной — людям было не до него. Костя, свежий, бритый, элегантный, опять объяснил ему дорогу, как маленькому:

— Спускаешься к светофору по Шимони, справа на Азе будет автобусная остановка. Дождешься 15-го и доедешь до центра. Скажешь шоферу: «Мерказ», — он высадит у «Машбира». Перейдешь дорогу на другую сторону — и вот он, родимый. Там ты все помнишь, как, куда?

Леон кивнул ему, что все помнит, не маленький.

— Доберусь.

— У пана Влодека подпишешь, что надо, он не обманет, с Исааком Львовичем поговори, послушай, прими дела — и все, обгемахт. Счастливо. К вечеру буду, Дани, радость моя, я ушел.

Она вышла к нему торопливо из ванной, они расцеловались — просто история любви наяву, и он вылез из ее объятий не без труда за дверь, успев приложить ладонь к мезузе на косяке, без этого нельзя, успеха не будет.

Леон добрался до города без особых приключений. Сказал шоферу автобуса, смотревшему на деньги, а не на обладателя оных, волшебное слово «мерказ» и сел на второе сиденье у окна. Народа было мало, утренний ажиотаж завершился, и он доехал до центра, приготовившись к выходу заранее. Он узнал перекресток с улицей Бен-Йегуда, уходившей вниз к Яффо, и подошел к двери. Шофер одобрительно кивнул аккуратно причесанной головой, что верно соображаешь, парень, добавив от себя что-то, чего Леон не понял. Он сошел по ступеням на тротуар и, повернувшись вправо, пошел вверх к знакомому переходу на светофоре мимо лавки с открытой кухней, из которой несло запахом жареной еды и в которой царствовал сухолицый хозяин с круглыми черными глазами. Он был в клеенчатом фартуке, и он энергично шуровал ножом и длинной вилкой над металлической плитой, шипевшей на газу. Дух теплого хлеба на прилавке кружил голову. Рядом источал острый запах порубленный лук и зелень, обсыпанные перцем и еще чем-то, чего Леон никогда раньше не пробовал. Это был какой-то особый запах из закровов Османской империи. «Что он там готовит, этот мужик злодейского вида? На обратном пути подойду и куплю, денег вон карман, девать некуда», — торжественно подумал Леон, шагая к «Машбиру».

Леон легко нашел пана Влодека, который принял его как родного. «Пойдем со мной, Исаак Львович заждался по-ди», — он прекрасно говорил по-русски, сопровождая произнесенные слова чудным польским пришепетыванием. Он закинул крышку бюро на столе и поправил стопку бумаг, огля-

дел все и сказал: «Теперь идем, Леон Вениаминович». Он запер дверь на ключ, они вышли наружу и от главного входа повернули налево в тенистый угол. В дороге Влодек, пытаясь подбодрить Леона, показавшегося ему растерянным, сказал молодому человеку: «Без працы не беджы колацы». Леон ничего не понял и сказал Влодеку: «Переведите мне, пожалуйста». — «Это совсем просто. Без труда не испечешь калача», — Влодек толкнул худой рукой большую стеклянную дверь в комнату без окон, но с очень сильным неоновым светом, и сказал сутулому старичку за столом: «Вот, Исаак Львович, привел вам замену, Леон Кравец».

Старик пророчно поднялся, с раздражением и даже гневом отставил трость в сторону и протянул Леону непомерную кисть: «Я Ицхок Лившиц, очень рад вам». По-русски он говорил хорошо, как Влодек, и с тем же произношением. «Я из местечка под Станиславом, вот прижился здесь у пана Влодека, спас меня и Цвию мою, чтобы он был здоров», — голос у него был сильный. Очки были с большими диоптриями, плюс 5–6, а то и все 8. Иначе говоря, Исаак Львович орлиным взором не обладал, но видел все подробно — особенности профессии.

Леон расспросил его кое о чем. Старик все умно и обстоятельно разъяснил, показал и продемонстрировал. «Вас хвалят, я вижу, что не зря, желаю вам успеха и достатка», — он ушел бодрым шагом радостный, пожав Влодеку и Леону руки. Трость свою он держал на весу, как подаренную меценатом бесценную скрипку великого мастера 17-го века. Этот старый человек с узкой спиной был уместен в этом месте на фоне широкого стола со швейной машинкой и кусками ткани, придавленными ножницами. Картина с его уходом не нарушилась, так как Леон заменил его полностью.

Леон все проглядел, подержал в руках, проверил, разложил по местам. «Я начну завтра с утра. Приеду к десяти и все исполню, пан Влодек», — сообщил он уважительно. Он вписался в эту картину полностью, образ его подходил к этому месту, хотя не соответствовал привычным понятиям о портных. Малоподвижные руки его были великолепны, мизинец

правой руки выглядел сломанным в первой фаланге. Это не мешало общему впечатлению от них, хотя и привлекало внимание наблюдателя. Он уже давно не был с женщиной, и это занимало его сознание, мешало ему. Невероятные мысли и цветные картины, посещавшие его и сопровождаемые стонами, взвизгами, частым дыханием, будто бы на морозе, мешали ему жить и видеть реальную действительность без этих наносных слоев греха без услады... Довольно часто Леон страдал от этого, но как-то терпел, умывал лицо и затылок холодной водой.

К чему все это? Дело в том, что в рабочую комнату теперь уже не ветхого старика Исаака Львовича, а любопытного, горящего, юного Леона Кравеца мелкими шажками зашла на высоченных каблуках в красном костюме с расстегнутым приталенным пиджачком и расклешенными брюками статная дама лет 28–30. У нее была откровенная челка, неуверенный взгляд непризнанной красавицы и вывернутые губы. На первый взгляд оголодавшего Кравеца, альковная львица и просто красавица, прячущая глаза. Но сурова, а как же иначе. С мужчинами иначе нельзя, съедят и не заметят.

Женщина эта заполнила собой пространство комнаты, сама не желая этого. «Так это вы — тот новенький портной, о котором мне говорили так много и Исаак Львович, и пан Влодек, да?! Сможете мне помочь?» — спросила она Леона, глядя на него светлого цвета глазами. Она приблизилась к нему и подала ему руку со словами: «Искусство долговечно, жизнь коротка». Она была непонятна. «Меня звать Бланка, здравствуйте». Леон, уж на что не теряющийся в таких ситуациях человек, тщетно пытался сообразить, как вести себя с нею. Бланка эта была агрессивна и скромна одновременно, уверена и почти растерянна — все, как это встречается у женщин довольно часто. Не так часто, но встречается. Она огляделась и сказала:

— Ничего не изменилось здесь почти. Только герой совсем другой. Видите ли, я приглашена на чемпионат мира по футболу. Еду в Германию. И мне нужен соответствующий костюмчик

для гостевой трибуны Олимпийского стадиона. Себя показать, других посмотреть. Не ударить в грязь лицом, — судя по тому, как она произносила слова по-русски, женщина была явно из той же группы людей, что пан Влодек, Исаак Львович, Дани. Не то чтобы люди схожей судьбы, но, точнее, схожей истории переезда оттуда сюда. Это были так называемые «дети Гомулки», проделавшие этот неблизкий и болезненный путь с потерями и незалеченными обидами. Тот, кто в теме, поймет сам, а если нет, так на нет и суда нет, как известно.

Бланка взяла со стола кусок материи, оказавшийся кофточкой без рукавов. С любопытством и как-то воровски заглянула за воротник на бирку, повертела и положила обратно с разочарованным видом: «да видывали мы вещи и получше». Леон наблюдал за ее поведением без напряжения, без любопытства, он таких видывал в Москве. Правда, там, по его убеждению, такие клиентки вели себя скромнее, чем в Иерусалиме. Но как знать. Он воздерживался делать окончательные выводы в отношении чего бы то ни было. Четверо суток в городе недостаточно для выводов и обобщений, посчитал он разумно. Он стал за столом, ожидая ее слова. «Я хотела бы заказать что-нибудь легкое, яркое, ведь это лето, июнь-июль, знойная Германия. Хотела бы сразить гостей», — сказала Бланка мечтательно. «А я сначала решил, что вы едете туда играть», — с серьезным видом пошутил Леон. Он проголодался к этому часу, разбаловал желудок на харчах Кости и Дани. Бланка посмотрела на него, промолчала, и тогда он подвинул ей пакет с эскизами, свое главное сокровище.

Она выбрала платье, Леон порекомендовал другой вариант. У нее сбился на сторону приталенный пиджак, она поправила его, сверкнув золотым колечком с камешком, красовавшимся на безымянном пальце левой кисти. После этого Бланка мягко сказала изменившимся после аккуратного просмотра эскизов голосом: «Давайте договоримся, господин Леон, я доверяю вашему вкусу, но прошу учесть мои пожелания. Предлагаю вам соединить наши варианты в один, ваш и мой, может получиться интересно, а?!».

Леон, обуздавший себя на какое-то время, согласно кивнул: «Давайте». — «Вы мерку что же, не снимаете? Очень странно». — «И цвет оставим алый, да? Послезавтра приходите, нет, лучше в четверг, я постараюсь для вас, Бланка». — «Простите, а сколько это будет стоить, во всем нужен порядок, разве нет?!» — спросила она, все не уходя и не уходя, играя на терпении Кравеца. «Сочтемся», — легко ответил Леон. Женщина наконец ушла тем же шагом, что пришла, но уже удивленная и очарованная. «Экий, однако», — качала головой. Кравец производил серьезное впечатление на неподготовленных к его словам и решениям людей, как на мужчин, так и — особенно — на женщин.

Кравец запер дверь на ключ и вышел наружу. Он решил идти домой пешком, сообразив, что это не так и далеко, хотя дорога была запутана, шла вверх и вниз. Леон отметил, что называет квартиру Кости и Дани домом, он быстро привыкал к месту. Была у него такая особенность. «Скоро съеду от них, тогда и отвыкну, и отменю слово «дом» на незабываемое жилье друзей», — решил Кравец.

Он обогнул «Машбир» по периметру легким шагом и вышел на улицу Бецалель, которая вела вниз к парку с зеленым газоном в лощине под Кнессетом. На первом перекрестке за «Машбиром» была на углу лавка со всякой всячиной: сигаретами, газетами, какими-то значками и сувенирными фигурками верблюдов, тарелками с изображением Стены и так далее. Были возле всего этого добра и бутерброды, но их внешний вид с бледными сосисками и мятыми булочками не понравился Леону. Он ничего не купил, решив, что по дороге будет еще что-либо более привлекательное и съедобное. «Поджду и потерплю». Хозяин лавки, улыбавшийся Леону, как близкому родственнику, был разочарован и выдал ему карамельку в синем с желтыми стрелками фантике. Он сказал что-то зычным голосом, сопровождая подарок поощрительными жестами, но Леон не понял, что он сказал, считая, что тот сказал что-то хорошее.

Сразу выше этой лавки шел большой писчебумажный магазин с размашистой надписью поверх входа: «Кравиц». При-

лавки ломились от добра у Кравица. Там было все, что угодно художественной и бумажной душе: акварельные краски, авторучки шариковые, карандаши, бумага всех видов, включая папиросную, пергамент, ватман, кисти синтетические, кисти из шерсти, кисти всех видов и форм, масляные краски, перьевые авторучки из золота и вообще все, что только можно себе представить из этой сферы и области.

Затем следовала афишная тумба трехметровой высоты с новыми и старыми плакатами. Почему-то на двух ярких плакатах был изображен актер Марлон Брандо, популярный, с суровым лицом американский красавец. В галстук-бабочке он изображал крестного отца мафии в каком-то фильме, который Леон еще не видел. Другой фильм с Брандо Леону тоже предстояло увидеть. Надпись латинскими буквами гласила «Конформист». Был и еще один фильм с этим самым Марлоном Брандо, но Леон не смог разобрать его названия, только имя актрисы — Мария Шнайдер. Имена режиссеров и других актеров ничего Леону не говорили, как и, конечно, имена этих Брандо и Шнайдер, он был слишком далек от этого мира, огромного западного мира цветных снов, страстей, мелодрам, трагедий, комедий и смертей. Он очень устал вдруг, жизнь в Иерусалиме ненасытно требовала и требовала больших усилий. Это ощущение было непривычно Кравцу, который жил по своим ритмам.

Народный дом не выглядел празднично или торжественно. Бетонной огромное здание с конструктивистским фасадом. Но все было не так просто, что-то за всем этим бетоном, стеклами и панелями скрывалось и давило на людей. Уже потом Леон вспомнил, что здесь же судили нациста Эйхмана и приговорили его к смерти, единственного казненного в Израиле за все годы. Был еще один еврей, расстрелянный за якобы предательство во время войны за Независимость, но там была ошибка, и убитого через годы оправдали и реабилитировали. Эйхмана не оправдывал никто, не думал этого делать, и уж, конечно, он не был реабилитирован, потому что судебной ошибки с ним не было и быть не могло. Прах его был развеян и все.

За Народным домом налево шла неширокая улица, называлась она Менахем Усышкин. Там, чуть в глубине ее, жил великий праведник. Первый этаж, застекленная веранда, незапертая дверь. Можно постучаться, зайти через порог, он редко дома, но если утром, когда еще темно на дворе и вы заслужили этого, то может получиться. Он пьет чай с кусочком хлеба и осколком сахара. Вы попросите у него благословения, и он, взглянув, на вас, без улыбки или какой другой гримасы, скажет его вам быстрым голосом. По слухам, благословение начинало действовать немедленно. Кравец всего этого на четвертый день жизни в Иерусалиме не знал, узнал много позже, но все-таки узнал. Неподалеку от этого дома всегда дежурило такси, водитель надеялся, что, может быть, нужно будет человеку куда-нибудь подъехать и спросить у него что-нибудь. Денег с этого старика с белым лицом и невозможными от какого-то небесного сияния глазами шофера никогда за поездки не брали, но он всегда настаивал на оплате, потому что нельзя.

Улица Бецалель шла вниз, идти по ней стало легче. Через несколько метров Леон увидел окно в стене с кастрюлями и прилавком. Возле окна толпилось несколько человек, одетых со столичной небрежностью. Преобладали джинсы. Это была легендарная столичная фалафельная Шалома. Леон этого, конечно, не знал, только догадывался. Окно с прилавком было вырублено в стене невысокого дома, сложенного из иерусалимского белого мягкого камня. Хороший дух только что приготовленной пищи шел из окна на улицу, где стояла небольшая и терпеливая очередь. Леон перебежал улицу к этому окну с номером 34 над ним. «Фалафель мне дай», — как умел, сказал он молодому парню за прилавком в глубине. Тот сразу взрезал лепешку концом ножа, наполнил ее салатом, маслинами, луком, набросал туда жареных шариков, полил соусом и, вопросительно посмотрев на Леона, молча показал ему ложку ядреного молотого перца. Все это было сделано изящно и очень быстро. Леон понял парня верно и кивнул, что «конечно, обязательно». И тот бухнул ему полную ложку. Вся еда случилась очень вовремя, все было остро, вкусно, необычно. Красиво, как на картине Матисса. Он запил все из стеклянной и ледяной бутылки колы. Что говорить.

Расплачиваясь, Леон достал из кармана личные большие деньги, и продавец безошибочно выбрал необходимую ассигнацию, сказав на прощание: «Береги себя, парень». Леон все понял, чего тут не понять. Уже спустившись вниз на повороте напротив бензоколонки, он подсадовал, что нельзя было взять пару порций для Дани и Кости, а хорошо бы было. Он не знал, что это было принято в столице тогда. Просто в Москве такое не практиковалось, разве что пирожки с ливером по 8 копеек у метро в кульке из оберточной бумаги в пятнах жира.

Леон бодро двинул в сторону родной уже для него улицы Шимони по дороге имени Бен Цви вдоль уже знакомого газона и деревьев у подножия холма. «Обживаюсь», — с удовольствием решил Леон Кравец. Тротуар был узок, машины проезжали совсем близко от него, обдавая его густыми волнами жара. Голод уже оставил его, силы были, и потому получасовой поход не был ему в тягость. Одуревшая от жары просто раскрашенная в черно-белый цвет кошка сидела в густой тени дома на каменной ограде, отделявшей одноэтажное строение от тротуара. Перед ней стояла тарелка с водой. Кошка смотрела на машины и одинокого Леона, направлявшегося к дому на Шимони размашистым оптимистическим шагом. Перед подъемом в Рехавию по улице Рамбан Леон остановился и пропустил пустой, с дребезжащим корпусом, автобус, который, чтобы не терять мощи движения, прибавил скорость и взлетел к невысоким домам справа и слева с победным ревом старого, но еще вполне и вполне приличного мотора. Потом совсем сверху, метрах в восьмистах над перекрестком, пролетел пассажирский самолет, но он ни на что не повлиял ни в городском пейзаже, ни в настроении Леона.

Земля здесь в Иерусалиме была богатая, газоны резали глаз свежей травой и густыми кустами. Летали бабочки салатного цвета, стрекозы висели легкими облачками, молодые семьи с колясками передвигались по дорожкам парка нежным родительским шагом. Отсюда до дома на Шимони было всего ничего, десять минут умеренного хода. Кравец взял это расстояние на последнее ура и на частое дыхание усталости. Солнце и дневная погода побеждали молодость самоуверенного портного человека.

Кравец еще не так явственно чувствовал жару, которая перекрывала температурные рекорды, по словам дикторов новостей. Каждый год одно и то же, всегда в нынешнем году погода жарче, чем в предыдущее время. А завтра что скажете? Новости здесь стараются слушать каждый час все без исключения граждане. Это как условный рефлекс у людей, касающийся почти всех, кроме разве что ортодоксов из Меа Шеарим или Бейт а-Хунгарим, это такие двухэтажные дома с внутренними дворами и ненадежными балконами, что рядом с воротами Мандельбаума. Люди там живут иначе. Они доминируют в жизни Иерусалима, но без торжества и чувства победы, обходятся так.

У самого дома Кравец почувствовал, что выдыхается. День перестал казаться ему славным. У него не было привычки к таким маршам на жаре, к маршам вообще трудно привыкнуть и приучить организм. Ему навстречу попала все та же беременная соседка, фамилию которой он запомнил — Толедано. «Неужели следит за нами, за мной, — подумал Леон, — да что за мной следить, но знать ничего нельзя, у всех свои правила». Она посмотрела на него своим тревожным карим взглядом и прошла мимо судорожно посторонившегося на дорожке нового «русского» человека в доме, хозяйским тяжелым заслуженным шагом человека, который все здесь решает за всех. «Во дает, — восхищенно подумал Кравец, — есть женщины здесь». Вдоль стены дома росли кусты мяты и лавра, которым солнце было не во вред, казалось бы. Почему это было так, Кравец не знал, но все было сочно и свежо, и очень походило на полуденный пейзаж кисти талантливого постимпрессиониста.

Ключи от входной двери у Леона были. Утром второго дня после приезда ему вручила их Дани, со словами: «На, возьми, сказали передать, чтобы были у тебя, не чужой». — «Связка увеличилась, тяжеленькая», — удовлетворенно подумал Леон, прицепляя к брелку, изображавшему танцующего металлического львенка, ключи от рабочей комнаты в «Машбире» и взвешивая ее в руке. Костя неожиданно оказался в этот час дома. «Окно образовалось, вот я и подскочил,

чего время терять зря». Леону показалось, что он чем-то смущен. Костя смущен? Крушение основ, но, кажется, смутил его все же приход Леона.

Тень смущения Леон заметил и на опущенном долу лице Дани и том, как она поправляла волосы, часто дышала, вздыхала, передвигалась в кухне и гостиной. Что-то с нею было не то. У нее было такое лицо, выражение которого Леон определил как лицо счастливой жертвы. Он старался не смотреть ни на Костю Сироту, ни на нее. Смущение не было чувством, которое часто посещало Костю, как уже можно было понять. Леон не думал ни о чем, «не мое дело — и все», как он был приучен с детства.

Уже за столом Костя ненастойчиво поинтересовался:

— А что с костюмом Годы, на какой он стадии?

Рубаха его была заправлена в брюки и не застегнута.

— Через пару часов представлю, два три стежка и все. Сегодня. Костя, между прочим, я принял дела в мастерской, они там хорошие люди: и пан Влодек, и Исаак Львович — просто отличные, завтра выхожу, есть уже и заказ.

Кравец хвастал напропалую, он был всем доволен, ничего не замечал, что не должен был замечать.

— Молодец, Леон, у тебя правильный подход к жизни, слышишь, Дани, — позвал Костя.

Дани была на кухне и не слышала. Костю это не интересовало, он был вне частных и подробностей. Дани зашла в гостиную, она привела себя в порядок, причесалась, застегнулась, на лице ее была уверенная полуулыбка, выражавшая любовь к Косте. Постоянное чувство любви.

— Завтра с утра едем к бабе Годе, сдавать заказ, вот так работают холодные бойцы, — объявил Костя, — видишь, Дани, а ты ведь сомневалась в нем.

— Ни секунды у меня не было сомнений в его умении, — Дани проверила пуговицы на халате. Они были застегнуты сполна и до самого верха, до горла, никогда прежде она так не делала, просто напугалась слишком.

— Ни секунды не сомневалась в нем, — уже тверже повторила она.

Причудлива и необъяснима работа человеческого сознания.

Когда Кравец был в классе примерно пятом, костистый подросток Грицко, который попал к ним, оставшись второй раз на второй год, принес с собой журнал «Иностранная литература» за 1960 год, 11 номер. Журнал был потрепанный, затертый и не внушающий доверия читателям. Грицко был отпетый хулиган, с мощными ключицами, наглым взглядом и медленными движениями очень длинных рук. Он курил, сплевывая сквозь щели в передних квадратных зубах, стыкался с пацанами из старших классов, сжав в бешенстве тонкие губы, злобно огрызаясь на учителей, но на одноклассников его раздражение не распространялось совершенно. Он не защищал никого в неравных драках на школьном дворе после уроков, но его молчаливое присутствие в стороне внушало известную надежду одноклассникам: «может, еще и пронесет, может, Грицко и спасет, поможет».

Грицко уселся на последнюю парту, вытянул ноги в модных брюках клеш, положил перед собой раскрытый журнал и начал читать из него повесть Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Ребята из класса стояли группой вокруг него и слушали без реплик и смешков. Грицко изредка объяснял. «Он, Холден этот, понимаешь, бунтует против всего мира, у него есть старший брат, которым он гордится, короче, переживает период становления, гуляет на грани уголовки», — голос Грицко звучал глухо и насмешливо, как всегда. Он солидно закурил беломорину, медленно размяв ее в крупных мужских пальцах, бросил спичку на пол подальше от себя, выпустил струю горького дыма и продолжил читать выразительным голосом:

«— Заходите, пожалуйста, — говорю. Я разговаривал все непринужденнее, ей богу! Чем дальше, тем непринужденнее. Она вошла, сразу сняла пальто и швырнула его на кровать. На ней было зеленое платье. Потом она села как-то бочком в кресло у письменного стола и стала качать ногой вверх и вниз. Положила ногу на ногу и качает одной ногой то вверх, то вниз. Нервничает, даже не похоже на проститутку. Наверное, оттого, что она была совсем девчонка, ей-богу. Чуть ли не моложе меня. Я сел в большое кресло рядом с ней и предложил

ей сигарет. — Не курю, — говорит. Голос у нее был тонкий-претонкий. И говорит еле слышно. Даже не сказала спасибо, когда я предложил сигарету. Видно, ее этому не учили».

Грицко пояснял всем что к чему. Очень толково и доступно он это делал, фразы его не вязались никак с его внешним видом и образом. Такой провинциальный русский парадокс. Перед тем как говорить, Грицко провел рукой с папиросой по лбу и челке, как бы снимал что-то мешавшее ему жить и говорить, какую-то весомую паутину, наложенную неизвестно кем. Или утреннюю жару, что ли.

«Холдену, это герой, предложил на пользование девчонку, лифтер в гостинице. Они сторговались на десяти долларах или что-то в этом роде, большие деньги. Сэлинджер этот, который все написал, настоящий писатель, как Гоголь или Чехов, чтоб вы знали, пацаны», — сказал он уверенным тоном знающего в этих делах человека. Никто у него ничего не спрашивал, все стояли вокруг него как замороженные. Леон не волновался от всех этих неизвестных ему слов, он просто не понимал, про что это все написано. Но какую-то горькую тревогу от всего зачитанного Колей Грицко, непонятную грусть, он почему-то чувствовал. Задело его повествование. Грицко потом учился вместе с ним в пединституте, оказался любопытным и забавным парнем, лучше многих других, просто развит был очень не по годам. Книги читал и много спрашивал. После вуза он работал учителем русского языка и литературы в деревне, был на хорошем счету в РОНО. Вот ведь как в жизни случается. А ему ведь учительница Александра Михайловна с сожалением говорила классе в седьмом: «На зоне загнешься, Грицко, забьют или зарежут тебя там, жалко тебя». Но оказалось, что она была неправа, Александра Михайловна. Ошибка у вас в прогнозе, Александра Михайловна, хотя учительницы средней школы никогда, никогда не ошибаются, как известно. Здесь она, училка по прозвищу Шурка наша, ошиблась. А что жалко его, так это как сложится, всех жалко, если честно. Кроме тех, кого не жалко.

— Я сейчас позвоню Годе, есть ли у нее утром время для нас, и выясню настроение. Женщины очень сложные существ-

ва, тебе ли этого не знать Кравец. Принеси мне, девочка телефон, да?! — попросил Костя. Дани принесла ему на длинном шнуре телефонный аппарат.

— Ты незабудка моя, чтоб ты знала. Незабудка означает верность, — Дани воспламенилась от его слов, щеки ее зарумянились.

Костя позвонил, держа телефон на своих коленях. Он коротко поговорил, повесил трубку и сказал:

— Очень удивилась. Женщина. Главное удивить и рассмешить даму, ты это знал прежде, Леон? Короче, нас ждут завтра к десяти тридцати. Отвезу тебя с утра на работу, отметишься, а потом к ней помчим. Она звучит ничего. В двенадцать будешь на месте, Костя с тобой, цени это, Кравец, ты будешь красавец. Ты и сейчас красавец, Кравец, но завтра будешь непревзойденным и великим. Просто зависть берет. Платье для Годы, мне не покажешь, а?

Кравец молча поднялся на ноги и ушел в комнату, дорабатывать заказанное платье. В принципе, время у него было и гнать было не обязательно, но он работал очень быстро и последовательно, по своим законам. Быстрота исполнения были среди прочего профессиональным знаком его работы.

Через два с половиной часа после этого разговора Кравец, совершив последний стежок вокруг подола и перекусив нитку сахарными зубами, вынес в гостиную платье Годы темно-серого цвета, элегантно, цельное и простое. Он поддержал платье перед Костей и Дани, и они, оглядев это платье, закивали ему головами, как будто сговорились заранее. Костя даже закрыл глаза в знак одобрения и восхищения. Два дня прошло с начала работы Леона над волнующим заказом от Годы.

— Сюда еще ожерелье полагается, — пояснил Кравец.

— Слушай, Леон, ты должен что-нибудь пошить для Дани, красавицы моей ненаглядной, сделай все без очереди, в свободное время. Она заслужила. Согласен?

Костя с удовольствием чуял запах французских духов Дани. Он был уверен в его ответе, он поддерживал общий настрой восхищения талантом своего гостя.

— Я уже думал об этом, хотел сам предложить. Не знал только, согласится ли она, подходят ли Дани мои платья, достоин ли я шить для нее, — начал объяснять Кравец, он воспрял духом и говорил с восторженными нотками в голосе. — У меня есть эскиз, довольно необычно, должно Дани подойти, небесного цвета костюмчик, брюки, жакетик без рукавов, все в тон.

Дани смешно сплющила нос ладонью, растерянно улыбнулась и отвернулась от Леона и Кости к вечернему окну, чтобы не показать себя пойманной врасплох комплиментами.

Всем этим своим словам и фразам: «Достоин ли я этого, заслужил ли я всего этого», — которыми он привычно, часто и легко сопровождал себя, он научился у одного сокурсника бурята-буддиста, который учился с ним в пединституте. «С восемнадцатого века мы приняли буддизм, это был важный для нас процесс», — рассказывал он Леону в комнате общежития. Леон ничего не знал про буддизм, а Вася, так звали бурята, казался ему обычным студентом из провинции, приехавшим постигать гранит наук в их городок из деревни где-то там за Байкалом. С Леоном вместе учились разные необычные люди. У Васи была присказка, которую Леон тоже запомнил и повторял. «Во всем виноваты мы сами, то есть человек все плохое себе делает сам, надо это помнить, Кравец», — наставительно говорил ему бурят, имя которого было Василий Смирнов.

«Я не буддист, я советский комсомолец, но я принимаю отдельные параграфы, Леон, этой религии». Непонятно, кто его научил назидательности, наверное, родной пединститут. Ел Василий очень немного, удивляя Леона. «Что, совсем не хочешь есть?», — спрашивал Кравец этого непонятого парня с простым круглым лицом. «Совсем не хочу, Леня». Васе, чтобы почувствовать себя сытым, было достаточно съесть кусочек черного хлеба с куском сахара и запить кипятком. У него была слабость к женщинам, любым и всяким, у Васи. Он был сластолюбив, но не навязчив. Он был обычного внешнего вида, шумно дышал, у него были редкие волосы, сахарного цвета зубы, но выглядел он вдумчивым человеком без особых ком-

плексов. Этих комплексов было много у Леона, а у Васи вот их не было, потому что, предположим, этот факт не был подтвержден им, он был сам лично буддистом. Изредка Леон вспоминал, думал о нем, непонятном и загадочном человеке, неизвестно почему. Наверное, потому, что он, этот Вася Смирнов, был человеком родной с ним души. Более точно, чем так, предположить было невозможно.

Леон вспомнил встречу с беременной соседкой у подъезда дома и с удивлением заметил, что она внешне хороша, конечно, собой, эта скалозубая грубоскулая госпожа Толедано, но с окружающей средой у нее нелады. Костя удивленно покачал головой на этого гостя со своей личной мыслью, но откликнулся на это сразу и с видимым удовольствием:

— Ты прав, у нее все обострилось в связи с беременностью и общим настроением. Не обращай внимания, забудь, если можешь. Скажу тебе, что муж ее человек приятный, красивый, веселый и доброжелательный, а она вот такая получилась тигрица. Но ему она нравится, а мы не вмешиваемся в чужую жизнь, правда?! Фамилия его, кстати, знатная. Лет примерно пятьсот плюс-минус назад в Испании все это было, и продолжается до сегодня. В городе Толедо жило тогда много евреев. Потом хозяева-мусульмане были побеждены и вытеснены из Испании католиками, и те стали давить на евреев, чтобы евреи перешли в христианство. Так евреи те, они ответили им на это требование: «Толедо — но». Вот тогда люди и получили эту фамилию. Красиво, скажи?

Кравец поджал губы в знак подавленного восхищения, интереса и одобрения — и сказал Косте:

— Очень красиво.

И пошел в свою комнату спать, он очень устал за этот день. Он был напряжен почему-то. Костя его удивил и даже потряс в очередной раз. Леон пристроил костюм для Годы Исааковны на круглый стол и осторожно прикрыл простыней. «Культурную революцию парень совершает с моим сознанием, и мне это нравится», — с такой непривычной мыслью он рухнул на кровать в синеватых сумерках наступившего вечера, плотно закрыл глаза и мгновенно заснул, как засыпают в

этом возрасте, близком к младенческому — с бесконечным эротическим сном, подробности которого он утром вспоминал, к счастью, обрывочно и эпизодично, и несмотря на это, панорамно, красочно и объемно.

Утром Леон вскочил бодрый и энергичный. Он заскочил в ванную, в комнате Кости было тихо. Леон принял душ, часто меняя воду на холодную и обратно, отодвинул занавеску, растерся полотенцем, заглянул в овальное зеркало над раковиной, остался доволен, выдавил из тюбика «Поморина» червяк уникальной солоноватой пасты, почистил зубы интенсивными движениями вверх и в стороны, и быстрым шагом вернулся к себе в комнату. Он не брился каждый день, в этом не было надобности, щетина у него росла без энергии, но сегодня он тщательно побрился громкой советской бритвой «Харьков-40» и аккуратно сложил ее в крепкий футляр. У него был и одеколон «Шипр», но после некоторого раздумья он решил сегодня этой крепкой зеленой жидкостью не пользоваться. Причесал каштанового цвета волосы на пробор и еще раз мельком посмотрелся в зеркало, не без удовольствия хмыкнув на свой вид. «К Годе идем, между прочим». Он был еще бос, и потому, услышав шум шагов в коридоре и гостиной, вдел ступни без носков в сандалеты и вышел, осторожно прикрыв за собой легкую дверь, к Дани и Косте.

Леон был встречен улыбкой Кости и торопливым бархатным и очень мужским голосом диктора-новостника в радиоприемнике, к чему он еще не привык как к постоянному фону своей будущей жизни.

— Ну что, ты готов? Едем к Годе, ты помнишь, конечно?

— Да, все у меня готово.

— Тогда выпей чаю, закуси чего-нибудь — и поедем, мы же европейцы, нет?! Мы не опаздываем к дамам, — он не шутил, но звучал не очень серьезно. Леон взял с тарелки кусочек поджаренного хлеба, мазнул его сливочным маслом широким ножиком и проглотил в три приема, запив черным чаем без сахара, но зато с листками мяты. Сделал он это автоматически, для проформы. По утрам Кравец есть не любил и не мог, что

было известно давно. Он поставил почти пустой стакан обратно на стол, промокнул губы синей салфеткой и бодро сказал, обращаясь к Дани и Косте:

— Я готов полностью.

День был свежим и зеленым, вдоль дорожки росла высокая и сочная трава, крутилась поливальная вертушка с радужным водяным веером, машина Кости была припаркована прямо против подъезда, ему обычно необъяснимо везло с местами парковки. Хотя он охотно оплачивал и платную стоянку, Костя не был рассудительно экономным человеком, как заметил Леон сразу после знакомства с ним. Что-что, только не это, Костя скрягой не был вовсе. Никого они не встретили, чему Леон был рад, никаких подозрительных взглядов, презрительно опущенных губ и прочее. Просто быстрым шагом вышли из дома, сели в машину и поехали по своим делам разным и, по мнению обоих, важным.

В машине пахло нагретой до верхней огненной точки кожей кресел, каким-то одеколонным распылителем. К Годе зашли совершенно без проблем, дежурили те же ребята, что и в прошлый раз. Сопровождаемые их бритвенными взглядами Леон и Костя зашли в подъезд — и дальше пешком по лестнице с узорно выложенным полом два пролета вверх. Пошитый им костюм для Годы Леон уверенно нес, перебросив через руку. Дверь ее квартиры без имени владелицы на ней — зачем? когда и так ясно, кто она — была прочна, как и раньше. Помощница Годы, секретарь, повар, хранительница тайн и уборщица в одном лице, открыла им и пригласила зайти. Она была деловита и приветлива. Хозяйка ее вышла к гостям сразу из боковой двери, была оживлена, никакого опущенного к полу набрякшего старческого лица, никакого намека на грусть и депрессию. Можно сказать, что наоборот. Заинтересованность и блеск в темно-карего цвета глазах. Леон выложил то, что принес, на стол в гостиной и снял светлую накидку с того, что он так быстро и по лекалам, жившим в его голове, сшил. Он отошел на шаг назад от стола и вытянулся перед хозяйкой: смотрите, уважаемая, принимайте работу.

Костюм, сшитый Леоном, она оглядела внимательно, заинтересованно, осторожно потрогала швы и оценила внеш-

ний вид, ей явно понравилось. Года Исааковна была счастлива, как это не звучит странно и даже лживо. Это все чистая правда, счастлива. Очень еврейская дама, если судить по внешнему виду, не ворчливая, не скептическая, участливая, наблюдательная и собранная. Чуть-чуть она сгорбилась и сдала физически, по сравнению совсем с недавним прошлым. Костя подергал себя за мочку уха, скривив удивленное лицо, которое как бы говорило, что «как так может быть, что бог может сделать, невероятно».

— Как тебе наряд, Костикл? — имена близких людей Года переделывала на идишистский лад. Костя, застигнутый врасплох, быстро собрался и ответил женщине:

— Невероятно, очень красиво. Ваш стиль.

— Я пойду померю, — сказала Года оживленным голосом.

Через несколько минут, которые Леон так и провел стоя возле стола, а Костя с расслабленным и независимым видом сидел в гостевом кресле напротив, Года вернулась. Не стоит говорить еще раз, но она действительно выглядела неплохо, если учесть ее возраст, общее состояние и ситуацию — уверенная в себе жизнерадостная старушка с цепким блестящим взглядом. Возможно, Костя преувеличивал положительное впечатление от преображенной хозяйки, но даже учитывая развитую фантазию этого человека, Года изменилась, на его взгляд, разительно. Положительные эмоции не помешали Косте заметить трость Годы из прочного местного дерева, прислоненную к полкам с книгами серебряной, вычурно выгнутой ручкой.

Года Исааковна стояла посередине своей гостиной почти прямо, не горбилась, только плечи немного вперед, руки ее не были придатком, они жили своей жизнью. Леон боялся выглядеть человеком, который заискивает перед знаменитой дамой, но все равно у него именно так получалось. На лице ее почти без косметики было видно торжественное удивление, как, мол, так случилось, что я так выгляжу победно, сама не знаю.

— А главное, без единой примерки. Божий дар у твоего протеже, Коста, — эти ее слова, произнесенные низким скрипучим голосом с тяжелым акцентом, Леон понял без перевода.

Поглядев на Леона с некоторым молодым лукавством, она легко произнесла: — Спасибо тебе, мой мальчик, устроил мне прощальную гастроль.

Костя тут же перевел, Леон не понял смысла, но хотя бы догадался, что не все просто с жизнью этой величавой дамы. По глазам ее он догадался об очень многом. Он был сообразительным малым, если вы еще не поняли этого.

— И я еще в силе, дети мои. Сколько я должна тебе, мальчик Кравец? — все-то она знала, эта бодрящая старуха. Костя переводил ее слова с видимым удовольствием. Он наслаждался в своем глубоком и цепляющем тело вниз кресле. Года Исаakovна сделала два не совсем уверенных шага к столу и присела на стул возле. К ней подошла помощница и поставила возле нее палку, прислонив к столу. Затем она что-то передала ей из рук в руки, после чего вышла. Вот здесь Леон смог разглядеть ручку трости, это был отдыхающий гривастый лев с разинутой пастью. Перед Годой Исаakovной на столе лежала раскрытая чековая книжка с голубой обложкой. Она была схожа с той, которую Леон получил из рук Адины третьего дня — Национальный банк настойчиво преследовал его.

— Я не хочу денег, это подарок, от всего сердца, Костя, скажи ей, Костя, — он покраснел, как пятнадцатилетний подросток-малолетка, выставив руки перед собой как щит. Костя молчал, Года все понимала без перевода, будто бы предвидела ситуацию.

Вот здесь и стало понятно, что у этой старухи, оставшейся не у дел, с воспоминаниями о славном прошлом и определенном настоящем, есть характер и воля, которые многое объясняют в ее жизни и карьере. Она была без очков, поглядела на Леона гневно: «молчи, шкет» — и он почти проглотил следующую фразу из своего монолога. Фраза эта буквально застряла у него в горле, он забыл то, что хотел сказать.

— Так не пойдет, я решила иначе, Кравец, я тебе выпишу столько, сколько считаю нужным. Спасибо. Привыкла за все платить сама, — сказала Года глухим голосом. Костя перевел, не скрывая своего щенячьего восторга от поведения этой больной женщины, потерявшей все и продолжающей свои по-

тери каждый день и час. Помеченная временем и тайнами жизнь ее была лишена каких-либо лишних надежд, уплывая в пугающую душу неизвестность, в черную бесконечную дыру ее.

Никаких загадок перед этой дамой не стояло. Года Исааковна с треском развертываемой крепкой бумаги отвернула обложку чековой книжки и каллиграфическим почерком твердой старческой рукой с продолговатыми от кисти к локтю морщинами, авторучкой с золотым пером, начала уверенно и даже как-то смачно заполнять чек. Затем она нервным движением вырвала исписанный прямоугольник бумаги, заманчиво плотный, и подвинула его рукой по столу от себя в направлении оторопевшего Леона.

Костя уютно продолжал сидеть в своем кресле, скользя взглядом по гостиной с доминирующей в этом пейзаже хозяйкой, по застывшему Леону, столу, книжным полкам, двери в прихожую в другую комнату, по-видимому, в рабочий кабинет, по раздернутым в разные стороны плотным шторам с неудержимым солнечным лучом между двумя ее частями, который украшал, светил и веселил. О луче, кстати. Полуденный иерусалимский луч этот по мощи и силе проникновения можно было бы назвать лазерным, беспощадным, бесконечным, но время лазеров тогда еще не пришло, не было в обиходе. Этот луч волшебным, непонятным образом реально демонстрировал всем присутствовавшим в комнате сгорающую и испаряющуюся с каждым мгновением жизнь Годы Исааковны.

— Надо мне позвонить в банк, — объявила она глухим голосом, отводя с ухмылкой темный взгляд в сторону, — попрошу у них ссуду на обновление гардероба.

Года Исааковна закурила свою сигарету, затянулась, длительно пыхнула дымом и сказала Леону:

— Даже не думай, Кравец, бери и все, я могу платить за свое обслуживание сама.

Она смотрела на него как на провинившегося восьмилетнего мальчика, наставительно и сурово, не делая ему поблажек. Кто это все видел, тому сразу становилось ясно, кто здесь хозяин и повелитель. Вот так, без оговорок. Костя смотрел на все из своего кресла с огромным интересом, не распрямляя скошенных плеч, нескладный и странный.

— Скажу тебе еще пару слов, мальчик. Коста, переводи слово в слово. Не разбрасывайся деньгами, Кравец, хорошее время будет у тебя не всегда, так устроена эта жизнь, откладывая постоянно на черный день, несмотря ни на что, — сказала Года, поднимаясь от стола. Лицо ее оживилось, появился вялый румянец на ланитах, и подобие улыбки придало ей сходство с жизнерадостной молодящейся женщиной. Года очень нравилось вещать и поучать, несмотря на жизненные перипетии. Такой темперамент, такое призвание. Перевод Кости был поверхностным, но суть он передал точно. Леон не все понял из слов этого неуклюжего человека, но суть ухватил. Года не противоречила себе, она была последовательным человеком, доводила свою мысль до конца. В ее пожилой голове за горящими глазами зрели многочисленные замыслы и планы, часто грандиозные, хотя она, трезвый и прагматичный женский человек, и понимала, судя по всему, что все тщетно и напрасно, она оступилась и никто ей ничего не простит.

Года закашлялась хрипло и низко, как кашляют только застарелые завзятые курильщики, что было похоже на смех. Все в ней выдавало заскорюзлую горькую властность, которой она и не думала сопротивляться. Никто ей помочь не мог, ни на кого она уже не надеялась. Она уже все в жизни совершила. Года осторожно и, заранее зная свои краткие передвижения вниз, с пылающими щеками уже начала свой путь, хрипя прокурненным дыханием, обдуваемая попутным ледяным ветром, в бесконечную, столь притягательную бездну, смиряясь с неизбежной последней дорогой.

— Возьми ссуду в Рабочем банке, Кравец, и купи квартиру в хорошем районе, ты меня понял?! Деньги пока есть, купи недвижимость, потом не будет, цены еще подскочат, не жди, будь аккуратен с тратами, сейчас у тебя только успешное начало, помни, — голос у нее был наставительный, хотя интонации смягчились. Ничего она с собой не могла поделать, как ни старалась. Не старалась, вообще. Перевод Кости был точный. Он не любил приблизительности ни в чем. Некоторая насмешливость в его речи, смешанная с почтением, была объяснима.

— Ну, скажи, Коста, мне идет? — она показалась Косте во весь рост с нескрываемой игривостью и оттенком веселья. — А?!

Костя откинулся в кресле назад, оценил увиденное и уверенно сказал с искренней интонацией:

— Несомненно, дорогая Года.

И кто мог уличить его во лжи, кто? Года была счастлива и от обновки, и от реакции мужчин на нее, никуда ей было не деться, она была обречена быть веселой в этот день.

Леон не был привычен к такого рода сценам. Глядя на эту улыбающуюся трезвую женщину со старческой прической, с умело пошитым им самим для нее нарядом, в темных чулках, в мягких туфлях на низком каблуке, он к своему ужасу увидел вдруг ее измученное опрокинутое лицо со стекленеющими белыми глазами, разглаженными морщинами и конвульсиями смерти. «Храни меня Господь от этого всего», — Кравец содрогнулся. Он очень испугался своих видений и отвернулся от ее уходящей в глубину комнаты тени. Костя глядел на нее, переводя свой сверкающий мгновенный взгляд без излишнего внимания, но с тем мгновенным интересом, который раскрывал его до изнанки. Ничего с этим своим распознаванием Костя, все знавший и понимавший, сделать не мог. Никто никому не интересен. Это так вообще?

Женщина удалилась со словами:

— Дина, ты где? Подойди уже.

В дверях ее встретила помощница, которая несла в руках поднос с тарелками и стаканами.

— Ну, наконец, сейчас я приду, — Года исчезла за ее спиной.

Помощница расставила все на столе, оглядела еще раз и быстрым шагом сходила за вином, как же без него.

— Года Исааковна любит выпить бокал-другой для настроения и прояснения острой мысли, — объяснил Костя, глядя на книжные полки с Макиавелли, Черчиллем, Фитцджеральдом, Андерсоном, Дос Пассосом и им подобными. Ни одной книги по-русски Леон там не заметил, да и к чему ей были русские книги, если задуматься. Она уже все знала или дога-

дывалась. Кажется, она плохо справлялась с этим миром. Если судить по ее жизни и результатам одной. Дина раздернула шторы побольше — и в комнате стало светлее.

— Скажи, Коста, Изя наш тебя не топчет, дорогой? Как моего человека, а, не обижает наш солдафон? — Года говорила здесь на своем пешем ходу без улыбки о человеке, который сменил ее на посту премьера, моложавом красавце-генерале, победителе и герое, человеке с густым голосом и выигрышной мужской внешностью. Она была трижды опаснее при власти, чем в нынешней ситуации, в обычной жизни: саркастична, ядовита и остра.

Года вернулась к ним быстрым и энергичным шагом, как бы вспомнив о себе как о гостеприимной хозяйке, которая всех потчует и поит, не забывая быть внимательной и заботливой. Костя смотрел на нее восхищенным ни к чему не обязывающим взглядом. Он, ничего никогда не забывавший, забыл переводить ее слова Леону, который в переводе как бы и не нуждался. Леон честно понимал, за некоторыми мелкими нюансами, достаточно важными, все, что здесь говорилось. Ему не нужен был перевод. Но Костя не желал его посвящать, что ли, в их отношения, это было непонятно.

— Он не вмешивается. Кто я для него? Однажды мы коротко на ходу поговорили, как и что. Без подробностей. Никто ничем никому не обязан. И разошлись по своим делам, я не навязываюсь, — отвечал Костя, вкушая омлет с зеленью и запивая его вином «Бордо» ягодного вкуса, 73-го года урожая, которое Года Исааковна очень любила. Она и готовила очень хорошо, чем славилась в большом и местном мире, позволяла себе поесть. Еще на столе были селедочка в масле, салат, сыр, хлеб, масло. Все просто и вкусно. Дина принесла из кухни кипящий чайник.

— Твое здоровье, молодой человек Леон Вениаминович Кравец, успеха и счастья, все остальное у тебя есть, — пожелала ему Года Исааковна. — Я поговорю с людьми относительно тебя, посодействую, чем смогу, заслужил, конечно. Питайся, набирайся сил. Сыр ешь, очень полезно. Коста, спасибо тебе

еще раз. Порадовал бабушку сильно, — она была торжественна, голос ее стал еще ниже и как бы гудел. Года промокнула глаза платочком, который извлекла из-за рукава и вернула его на место, сверкнув часиками на тонком браслете. Удача отвернулась от нее. Года ушла, заметно прихрамывая, веселье ее и силы закончились. Она, слабо махнув рукой на прощание, исчезла за бархатной шторкой, прикрывавшей дверь в личную спальню. Еще ей «не место в тех краях», как сказал НЗ, но она уже к ним близко, совсем близко.

Вот, собственно, и все здесь о Года Исааковне нашей. Больше Леон ее не видел. Но в тот день на средней полке с книгами он рассмотрел издали любительский черно-белый снимок хозяйки с американским президентом, который служил за пару (?) каденций до нынешнего, то есть больше десяти лет назад.

Стройный, светловолосый, в прекрасно сшитом костюме, бывший герой войны, миллионер, плейбой, президент США сидел с прямой спиной рядом с Годой Исааковной, которая не выглядела напряженно рядом с этим человеком. Наверное, это фото в малиновой рамке 16 на 9, дорогое ее сердцу, было сделано за год-другой до его насильственной и преждевременной смерти. «Вот она какая, всех знала, со всеми разговаривала, — подумал Леон с гордостью, — может, и с нашими тоже беседовала, кто знает». Потом уже он узнал от Кости, что Года работала послом в Москве и навела там, по слухам, шороху среди местных и не только местных иудеев и встречала местных вождей, обязательно встречала, неужели и с Самим Кобой? Вот это да. Но точно сказать, с кем эта дама встречалась в СССР, Костя ему не сказал, потому что не знал или не хотел сказать. Он был непрост, этот Костя. Очень непрост.

На основной, если можно так сказать, работе, у входа Леона скромно ждала, присев на низкую каменную чашу с цветами, скрестив длинные ноги, Бланка. Та самая. Она не поднялась ему навстречу, много чести чудяку, который неизвестно кто и что, даром что хорошенький, подлец. Но сидела она на

краю каменной чаши с вырезанными на мягком иерусалимском камне львами по бокам так, как сидят аристократки во Вроцлаве в креслах из красного дерева с инструктированными вогнутыми подлокотниками. Впору было восторженно присвистнуть от вида этой женщины, Леону очень хотелось это сделать, но он привычно сдержался, взял себя в руки, как делал это в последнее время не раз.

Он поблагодарил бога за эту даму, хотя ничего пока у них и не намечалось общего. И никаких оснований на адюльтер не было. Но Леона, хотя Казановой он не был совсем, интуиция подводила редко. От волнения Леон, считавший, что здесь, с этой Бланкой, он угодил в цель, никак не мог попасть ключом в замок на дверях. Бланка со стороны наблюдала за его движениями с насмешливым интересом. Она точно определила причину его неуверенности, это ей нравилось. Талант талантом, а зазнаваться и притворяться перед ней, неизвестно кем и чем, нечего. Знай свое место, сверчок. Цыбульский из Тамбова, так она думала, остужая себя. Бланка пересекла сначала солнечный квадрат, отделивший ее от дверей, затем еще в четыре шага прямоугольник густой тени — и подошла к Леону почти вплотную. Зашли они вместе: Бланка первая, Леон, посторонившись, за нею, включив сильный свет у дверей.

— Здравствуй, кутюрье, — сказала женщина низким певучим голосом, обходя Леона и облачиваясь о стол выпуклым бедром, обтянутым светло-серым платьем. Трикотажным, что ли? Как будто бы это было женское бедро с картины флорентийца Липпи или художника того времени, лет за пятьсот примерно до этого дня. Наверное, так одеваться молодой столичной женщине не следовало, но кто ей указ, этой своенравной моднице. Бланка была отчаянной модницей, как было сразу понятно при взгляде на нее со стороны. Ко всему прочему, она хорошо знала себе цену, уголки ее полных губ были опущены вниз.

— Ты просто выглядишь, как заправский израильтянин: расслаблен, весел, уверен, нагл даже, — с удивлением конста-

тировала Бланка издали. А он не слышал ее речей, ему было наплевать на то, что она там говорила. Что она могла вообще сказать? Он видел только ее чресла и бедра, обтянутые откровенно и очень плотно трикотажной тряпкой платья. «Как она смеет так одеваться, а?».

— Ну, сотворите чудо, я жду, — с капризной ноткой в голосе сказала Бланка, — пошейте мне что-нибудь умопомрачительное, мне это очень надо.

«Известно, что тебе очень надо», — подумал Кравец возбужденно и почти злобно. Он пришел в себя от звука ее голоса и начал раскладывать на столе инструменты для работы, пошива, куски материи и свои эскизы.

— Вот это я предполагаю вам сшить, — сказал он осевшим голосом. Слова у него получались коверканные, без окончаний, но женщина его поняла. Он подвинул Бланке пальцем по столу черно-красно-желтый эскиз, необъяснимый, на первый взгляд. Бланка тщательно рассмотрела все сверху донизу, затем снизу доверху, перевела взгляд на него и качнула головой, не скрывая восхищения.

— Что-то в стиле миланской моды: женственность и благородство — угадали, Леон, мой вкус, я поражена, — женщина смотрела на него с удивлением. — Я прошу у вас только одного, все должно быть в алом цвете, я очень люблю этот цвет, — добавила она, чтобы завершить идею.

Леон кивнул, но не удержался и спросил ее:

— Вы, наверное, социалистка, госпожа Бланка?

— Я далека от политики. Когда была студенткой, была очень левой, даже не представляете насколько.

«Отчего же, конечно, представляю, у меня богатое воображение», — подумал про себя Леон, он с малых лет научился непонятно откуда и от кого не все свои мысли произносить вслух. Он уже весь был в будущем костюмчике для Бланки, в его линиях и формах.

— Сегодня 1 июня, Всемирный день защиты детей. Любите детей, Кравец?

Леон пожал худыми широкими плечами, что, мол, ничего конкретного про эту свою любовь не знаю. Бланка посмотрела на него возмущенно: как можно не любить детей, это плохой тон.

Не постучав, зашла девушка в синей униформе продавщицы. Она принесла ворох неношенных вещей.

— Это тебе на починку, портной, там записки на каждой вещи, что сделать и как.

Бланка перевела ему ее слова, чтобы знал. Девушка повернулась и ушла откуда пришла, по дороге скользнув взглядом по вырванному из женского журнала портрету бородатого допотопного старика на стене и затем оглядев с любопытством все это ярко освещенное неоновым светом место с новым портным и непонятной шалавой возле него.

«Сразу прилипают оторвы, как мухи, надо же», — подумала девушка и вышла, толкнув задом дверь в раздражении. Дверь звякнула от удара, но выдержала и вернулась на прежнее место.

— Это ведь у тебя Готлиб, Маурицио Готлиб, да? — живо поинтересовалась Бланка, показывая гибкой рукой на портрет-репродукцию, приколотую к стене.

Кравец промолчал, дернув плечом в ответ.

— Да ты не знаешь, кто такой Готлиб, а, признайся, — обрадованно вскричала Бланка. Злорадный голос ее звучал, как у возбужденного подростка. Настроение ее было изменчиво, как и должно было быть с нею. Леон не оправдывался и не думал даже этого делать. Материю для всех будущих творений Леона обязался, конечно, поставлять Костя, что и делал. «Сколько и что нужно тебе для работы, я тебе предоставлю незамедлительно, только скажи, мастер», — предупредил его Кравец в первый же день их знакомства. Он был человеком слова.

Все складывалось для Леона удачно в новой стране. Отрезы материи для своего костюма, для одежды Годы Исааковны и для Бланки — Костя все передавал Леону через Дани в день произнесения им просьбы, к вечеру. «Ты только делай свои «вжик-вжик», коли иголками, а я буду подвозить, что надо,

еще и Изе костюмчик скроим», — сказал он высоким голосом воодушевленно. Костя успевал сделать очень многое за небольшой отрезок времени, он был рациональным человеком, несмотря на внешне разбросанный вид. Облако звуков, окутывавшее его с самого утра, помогало Косте принимать решения, находить неожиданные новые пути и устраивать самые разные дела. Как все это происходило с ним, было не совсем ясно. Он проживал свою жизнь по никому не известным правилам, кажется, даже ему самому. Это всего лишь предположение, потому что изредка Леону было очевидно, что Костя лицедействует по каким-то таинственным соображениям, прикрывая и мысли, и поступки свои несколько странным видом и поведением, что он совсем другой человек, чем тот, который на поверхности.

— Давай сходим пообедаем. Время обеда, а я даже не завтракала еще, — сказала Бланка, отступив от стола. Она уже забыла про свое злорадство от незнания Леоном Готлиба. Мало ли кто чего не знает или знает, правда? А пустой желудок дает о себе знать.

— Я сейчас разберусь с починками — и пойдем, мне тут показали одно место, — ответил Леон.

— Ты сколько времени в Иерусалиме вообще, Кравец? — Бланка была очень любопытна и часто бестактна. Из того бесмертного типа людей, которые всегда хотят все знать.

Леон отвечал неохотно:

— Меньше недели, если быть точным.

Он уже вовсе орудовал иглой с ниткой, Бланка не успевала следить за его движениями. Он подшивал вторую пару брюк уже.

— Руки, наверное, все исколоты у тебя? Я сама шью, люблю вязать, и мама моя тоже, но такого не видела никогда, — призналась женщина.

Леон наложил последний стежок, перекусил нитку, отложил исправленные брюки в сторону и возвратным движением руки взял за следующий предмет из принесенного вороха на столе. Бланка смотрела на него блестящими от восхище-

ния глазами. Крупные бусы желтого цвета, покойно возлежавшие на масштабном декольте ее, одобрительно перестукивались. Леон продолжал работать, движения его рук можно было назвать истовыми.

— Значит, меньше недели, говоришь. Много успел за считанные дни, ничего не скажешь. То, что здесь было две недели назад, ты не застал, повезло тебе, полная гармония счастья, да?! — что-то в ней заклокотало вдруг.

Леон задумчивым тоном ответил ей, прищурился левый внимательный глаз свой, вдевая нитку в иголку и решая какую-то свою задачу:

— А может быть, вам стоит сделать костюм ярко-желтого цвета, а? Ядовито-лимонного, а?!

— Я потом тебе скажу, поживу с этим цветом немного и решу. Важный вопрос, цвет одежды. Но ты молодец, умеешь удивлять женщин, самое главное, — продолжала нахваливать Леона Бланка искренне.

— Ничего во мне особенного нет, делаю работу как умею, вон пальцы исколоты, особенно указательный и средний на левой руке, терплю молча, — без гримас жаловался Леон, не останавливаясь ни на секунду.

— Но руки у тебя все равно не портного, совсем нет, — подвела черту в этой теме Бланка. — Тебе будет к лицу широкополая шляпа, как у парня из клана Корлеоне. Ты же не знаешь, конечно, что за клан такой Корлеоне, ходим с тобой в кино, полюбуемся, я уже третий раз посмотрю, себе не верю. А тебе еще это только предстоит, прямо завидую.

— Что за Корлеоне такой и почему она мне завидует, эта женщина, трудно понять ее, хотя загадка та еще, — думал Леон, продолжая орудовать иголкой с ниткой с невероятной скоростью.

— Мы жили в Варшаве с мамой и двумя старыми тетками, сестрами покойной маминой матери, одна была такой тихой, что ее было не только не слышно, но и не видно. Другая была просто невыносима, как она жила вообще, я не понимала и не понимаю. Но она многое пережила, и мама ее прощала, с трудом, но прощала.

Речь Бланки лилась без остановок, как и движения Леона с иглой и ниткой, некая гармония создавалась без заранее достигнутых договоренностей и согласований. Эта женщина с шалыми продолговатыми глазами — и он, работавший, как заведенная кем-то неизвестным мощная пошивочная машина, совпадали по неизвестным никому параметрам согласия и счастья. Так, по крайней мере, могло им показаться. Возможно, это было ошибочно, возможно, иллюзорно, но так им казалось. Спина Леона застыла от томительного ожидания, а Бланка вела себя так, как будто все знала наперед.

— Мы же с мамой выехали в августе 68-го из Варшавы, там стало неуютно, мама это прекрасно понимала, у нее чутье выработалось за все годы, она уже пережила однажды девочкой в том же месте вселенский катаклизм, научилась чувствовать беду, с огромным трудом выжила, — речь Бланки звучала на низкой октаве, несколько монотонно и от этого как-то трагично. — Мы уехали с двумя чемоданами, все оставили теткам, прощание с ними оказалось щемящим, невыносимым. Вот сейчас вспоминаю — и сердце сжимается, ты не думай, они живы обе, жалуются на одиночество, мама с ними в переписке. Не голодают, не боятся, но скучают. Мы поехали в Швецию, чудесная страна. Там жил сын той самой невыносимой тетки, богатый человек, двоюродный мамин брат. Он нам очень помог. Мы там не прижились, ну, невозможно, другой уклад, другой темперамент, люди очень хорошие, честные и прямые, но специфические, к ним надо суметь привыкнуть. Там поляков много живет, в смысле, евреев-поляков, и не только евреев, но маме очень не нравилось там, все не нравилось, раздражало, мы поехали сюда. Тот богатый родственник, щедрый человек, кажется, мама ему нравилась или нравится и сегодня, она ничего себе внешне, мама моя до сегодня, так он нам опять дал денег на переезд и продолжает давать все время, мы поселились в городе.

Мама счастлива здесь, она врач, хороший, ценимый врач, мне тоже здесь нравится, два года назад я познакомилась с мужчиной и вышла за него замуж по любви. Я живу здесь на

параллельной улице, за углом, Шмуэль Анагид называется, два шага отсюда, — рассказ Бланки был подробен, она любила поговорить к месту и не к месту. Ее речи не были пусты, или так казалось? Ей нравилось движение воздуха от произносимых звуков, звучание обычных слов, так могло показаться. Кое-что она произносила между прочим, случайно, без тайного наполнения. Она была медлительна и говорила тоже медленно, что не делало ее слова и их значение вялыми, все фразы несли энергию, силу и смысл.

Кравец слушал ее, не отвлекаясь от своей работы, напоминавшей стороннему наблюдателю игру с молниями в небе, плескавшимися вокруг него отблесками от мгновенно двигавшейся иглы и широких лезвий огромных ножниц, работавших без стука, глухо и страшно.

— Так вы и с Костей знакомы? — спросил Леон, принимаясь за новую вещь. Уже говорили прежде здесь, что он был безумно любопытен. Весь его талант изобретателя новой одежды был в каком-то смысле построен на любопытстве. Ну, и немного на врожденном интересе к красоте и форме.

Он понял, что Польша и ее политика, ее история и ее люди стали занимать за последние дни очень большое место в его жизни. Он, который с трудом помнил об этой стране и ее существовании до приезда в Иерусалим, не представлял ее реально, теперь видел географию и историю иначе, чем прежде. «Большое государство ведь ушло в тень для меня, это неверно», — подумал он, лихо завершая стежок.

— С Костей Сиротой? Конечно. Мой муж иногда работает с ним, их можно назвать друзьями, в известном смысле. Они делают дела вместе, компаньоны. Костя меня сюда и прислал, сказал: «Иди к Лене Кравцу, Бланка, не пожалеешь». Я и не жалею нисколько, что вы, — женщина сказала это деловито, без улыбки.

— А что, вы сказали, Бланка, здесь происходило две недели назад? Вы меня заинтриговали, — Леон спросил это неожиданно очень живым тоном, что было странно, если учесть

его тотальную занятость работой. Ему все было интересно, происходившее здесь, работа располагала к прослушиванию историй. Историй?!

Она опять поглядела на него иначе, чем прежде. Сейчас ее взгляд был насмешливым и пытливым, мол, что это за гибрид такой из дикой русской стороны.

— Неужели ничего там про это не слышал? Ладно, не обращай внимания, я так говорю. Террористы из Ливана зашли в Израиль, захватили школу в приграничном городке. В школе находились дети из другого города. Террористы потребовали освобождения своих коллег из израильских тюрем. Года наша, как всегда, отвергла это требование и послала туда лучшее подразделение генштаба, лучших из лучших. Провели операцию по освобождению, все закончилось неудачей. Погибли десятки детей, террористов убили, не могу назвать цифру, понимаешь?! Я просто хочу, чтобы ты снял розовые очки и разобрался с реальностью. Не обижайся на меня, Леон. Я за реализм и за правду всегда, — сказала поклонница реалистических историй Бланка, складывая руки на груди. Гладь ее души не колебалась во время этой жутковатой истории. Из чего сложился вдруг ее тревожный рассказ, было неясно, рассказ этот не подходил к ней, не был выучен, было ясно, но то, что Бланка не заглядывала в заранее подготовленный текст, было очевидно.

Леон выпрямился, разогнулся, остановился. Он явно пытался осмыслить рассказ Бланки. Он, конечно, слышал в Москве об этом ужасном случае. Но все это прошло рядом с ним, его не коснувшись. Он в суете отъезда посчитал, что, приехав, все узнает лучше на месте, во всем разберется сам, без помощи советских или других ловких посредников, он им не доверял. Знал им цену. «Сам все узнаю, сам во всем разберусь». Вот, разобрался.

Бланка подошла к нему с виноватым видом, думая, что, вероятно, перебрала со своим рассказом, непонятно как возникшим. Она выглядела неотразимо. Но душа ее не была безмятежна. Она пыталась выглядеть безразличной, безмятеж-

ной и уверенной, хотя кошки на душе у нее скребли, скребли. Остановиться она, однако, не могла, такое особое свойство ее характера.

— Ты не поверишь, ты должен видеть все происходящее здесь таковым, какое оно есть на самом деле. Никаких мифов и легенд, все как есть. И этот ужас на Олимпиаде два года назад открыл глаза многим, а потом через год эта проклятая война. Дело не в просчетах и ошибках. Масштабы этого длительного, бесконечного по времени кошмарного дурацкого провала сводят меня с ума. Наивность, разгильдяйство, лень, наверное, что нет. Можно добавить еще столько же. Все эти блаженные старички, ну, их видеть не могу и слышать тоже... галут.. тьфу на них, ужасный национальный характер, — в гневе выпалила она. В ней сидел, кажется, большой заряд гнева и раздражения, который нуждался в громком словесном выражении. Леон не все понимал из сказанного ею, но спросить ее об этом он не мог, оставив все вопросы на потом.

Бланка не могла остановиться и, кажется, не пыталась этого сделать. Женщина с неожиданно блаженным видом протянула к его шее и затылку раскрытую ладонь, пытаясь показать привязанность и интерес. Выглядело это как инерция и продолжение ее слов. Она считала, что спасает его, что очищает его своими словами и укрепляет дух. Леон отодвинул от себя грудку вещей, которую он уже исправил в рекордный и невиданный прежде срок. Он взял ее кисть своими исколотыми иглой пальцами и поцеловал со словами:

— Ну, вот и все.

В ответ она поцеловала его в висок, что не стало неожиданностью. Он поднялся со стула.

— Не гневайся так, тебе не идет это, — добавил он, прижимая к себе ее горящее тело. — Ты спасение мое, — прошептал Леон ей, держа ее за послушную прогнутую талию, она была замечательной танцовщицей, вероятно.

Он не думал ни о чем, кроме этой женщины с горящими глазами, гибкими руками, молочными плечами и пластичными подвижными чреслами. Необъяснимо сердитая фраза Блан-

ки об «ужасном национальном характере» застряла в нем, застыв на время и, заledenев, на небольшое время, не получив объяснения. Но не сейчас, не сейчас, сейчас Леону было не до нее, не до этой важной и значимой, хотя и случайной, по всей вероятности, фразы ее, вовсе не до нее.

При слабой мысли о муже Бланки, с которым он, по счастью, не был знаком, не имел чести, так сказать, знать, щеки и шею Леона накрывала бурная краска стыда. Никаких болезненных уколов совести. Молодой неутолимый голод был намного сильнее его и всего, что было им услышано и впитано в себя от других людей, книг и понятий о чопорном прохождении жизни и знании правил ее. Он ни о чем, кроме нее, не думал, не мог думать, только она, только ее богатое, дрожащее и горящее тело, только.

— Не думай ни о чем, — быстро сказала ему Бланка.

— Я не думаю совершенно, только о тебе и твоём теле, — признался Леон, догадавшись, о чем она ему бормочет.

— Ты молодец, этот мой мне не муж, приходящий спонсор, приятель Кости, зубной врач, жду, когда он сам догадается, ха-ха, а ты что подумал, а?

Леон впервые услышал слово «спонсор», которое знал, но им не пользовался. Какие спонсоры в СССР? Ему полегчало, хотя он совершенно не думал о друге Бланки или кем он ей там был. У Леона не было ни жены, ни любовницы, что, наверное, объясняло многое в нем и его поведении.

Он передал вернувшейся продавщице все подправленные им за тридцать семь минут работы, чтобы быть очень точными, вещи, которые она взяла голыми чудесными руками с мягкими суставами в охапку, с непроницаемым выражением лица, с поджатыми губами из-за сидевшей у стола Бланки — и быстрым шагом вышла со всем добром в дверь, глядя себе под ноги. После ее ухода Бланка шагнула к нему, стукнув туфлями по полу из плитки, нагнула голову и поцеловала Леона в грудь через полотняную ткань рубахи.

— Этого не надо было делать, — вздохнул со стоном Кравец и крепко взял ее за запястья рук.

Они вышли на улицу, причем Леон долго запирает дверь, с трудом попадая ключом в замочную скважину. Они прошли за «Машбир» вверх и влево на светофоре, причем она держала его под руку, за внутреннюю сторону локтя, чтобы не убежал, наверное. Ее прикосновение к сухожилиям и мышцам его руки было сокрушительным. У мясной лавки человека сокрушительного роста Фридриха Бергхольца, крепкого умелого старика и опытного кацава, они дружно перешли улицу и двинулись дальше. В лавке были тусклые запущенные витрины, за стеклами можно было разобрать профиль хозяина с широким, сверкающим сталью тесаком в руке. Идти рядом было трудно, так как Бланка шла некоординированно, ее относил то влево, то вправо, а то и вообще далеко в сторону. Она возвращалась к нему, как бы ныряя с головой в омут, прохожих было очень мало, тесно брала его под руку и говорила со счастливым выдохом:

— Ты не представляешь, как я зависима от своих мужчин.

Ему было это все неинтересно, некая звуковая помеха, не больше. Леон считал, что разбирается в людях. Все потому, что дурацкий глаз его наострился на многочисленных клиентах, которые заказывали у него одежду в родном городе, потом в Москве, да и здесь, в Иерусалиме, их уже было несколько. Но вот Бланка не вписывалась в его расписанные заранее графы. Никак и все. Леон догадывался, что с женщинами все сложнее, чем с другими, но все равно Бланка и даже Дани выпадали из обычных известных ему категорий. Очень многое было ему непонятно, возможно, и к лучшему.

Квартира Бланки была на втором этаже. Она открыла тяжелую входную дверь массивным ключом на позолоченной цепочке и прошла внутрь первой. Леон уверенно последовал за ней, за ее складной и высокой фигурой с узкой, как бы проваленной внутрь талией, и сильными бедрами еще не рожавшей женщины. Впрочем, относительно детей ее Леон не знал ничего, это его не интересовало. Из прихожей они сразу чудесным образом очутились в красно-сладкой спальне, под слепящими лучами дневного иерусалимского светила, где совершили гре-

ховные, счастливые действия, которыми они усладили их общую жизнь, ее течение, цвет ее и вкус ее. Очнувшись и отдышавшись от всего, послушав биение своего сердца и пульс его, Леон обратил ослабленное внимание свое на то, что окна в комнате были открыты настежь, а занавески раздвинуты. На другой, солнечной стороне узкой улицы вроде бы остановилась дама, которая поправляла узорный ремешок, расстегнувшийся на сумке, а сама с как бы неугасимым, почти звериным любопытством смотрела на окно квартиры Бланки, заполненное томительными звуками физической любви людей.

Леон сказал, с усилием собрав свое лицо в одно целое, что, может быть, стоит прикрыть окошко хотя бы на время, на что Бланка скривила набухшие бледные губы и впалые прекрасные щеки и ответила ему:

— Оставь как есть, Леня, и не думай об этом, — она отвернулась к стене и глухим торжествующим голосом произнесла неожиданную фразу: — И назвал Б-г сушу землю, а собрание вод назвал морями. И увидел Б-г, что это хорошо.

Она продолжала удивлять эта Бланка, но это не значило, что удивление и неожиданность — это не есть плохо, это наоборот, хорошо.

На низкой тумбочке возле кровати лежала гранитная пепельница, в которой находилось ожерелье хозяйки. На цепочке были нанизаны монеты, бляшки, бусы, разноцветные камешки и несколько царских золотых рублей. Не было заметно, что хозяйка относилась к этому украшению, явно дорогому, с особой осторожностью. Леон отвернул голову и посмотрел на лежащую рядом женщину, та вяло смотрела перед собой, потом протянула руку и включила маленький вентилятор на тумбочке с другой стороны кровати.

— Уф, так хорошо, — отозвалась она на резкий порыв ветра. — Видал как дует.

— «Фурыжит» надо говорить, — вспомнил Леон слово из прошлого. Он вспомнил, от кого услышал это слово и при каких обстоятельствах, которые были совсем не комплиментарными для него.

Бланка повернула к нему голову и сделала признание:

— Мне нравятся необычные люди, ничего не могу с собой поделать. За чужой талант могу все отдать, включая себя.

Леон не знал, что сказать на это. Он закурил, достав сигареты из кармана рубашки.

— Главное, что узнала про себя, это то, что могу быть счастлива только с талантливым человеком. Сейчас я счастлива, мальчик мой, — она говорила свои весьма стандартные слова будничным голосом, но звучала очень убедительно. Ей можно было поверить, хотя и не без усилия.

Леон тянул свой резкий дым в себя и кивал ей. Он хотел спросить Бланку про особые таланты ее зубного врача, но не сделал этого, остановившись в последнюю секунду. Это было правильное решение зрелого сдержанного человека. Сияющее солнце внезапно стало утомлять глаза Леона. Он вспомнил, как Костя настаивал на обязательных здесь черных очках. «Свет очень мощный, устают глаза, сам не заметишь, как устанешь и потеряешь концентрацию, все будет расплываться, так что имей в виду».

Бланка протянула руку в сторону и извлекла из тумбочки возле себя тяжелый офицерский ремень советской армии. Она передала его Леону и сказала со сладким вздохом, переворачиваясь на живот:

— Выпори меня, мой милый.

Леон замер, он не думал, что ослышался, но все это было странно и для него внове. Потом он выполнил ее просьбу с известным увлечением, но все же сдерживая движения рук и плеч, не ревнуя эти действия к самому себе и ни к кому другому. Бывает всякое, как известно, в любви и жизни.

В открытое окно доносилась музыка слабыми, но откуда-то знакомыми Леону звуками. С узкой улицы внизу, которая вела к Кинг Джордж и кафе-закусочной на углу с Гилель лилась эта музыка. Одиноким мужской, какой-то растерянный голос выводил эту мелодию, по мнению Леона, популярную, но без названия, которое он позабыл или просто не знал.

— Это такой пиют, переделанный здесь в песню, «Господин мира» называется, — Бланка пропела в такт, Леон все равно не вспомнил названия, потому что не из чего ему было вспоминать. Он был девственен, не знал ничего. Леон глубоко затянулся и передал сигарету женщине, которая, не поблагодарив словами, благодарно прикрыла глаза и якобы улыбнулась ему. Она была явно довольна тем, что произошло и в чем так активно участвовала еще несколько минут назад.

— С такой тихой музыкой после всего, что было здесь, и жизнь слаще, правда, Леня? — спросила женщина, выдыхая строгий дым «столичной» сигареты из легких. Она приблизилась к нему по постели и больно укусила его в плечо.

— Правда, — согласился Леон. — Больно, вообще-то, — пожаловался он.

— Еще бы не больно, заслужил, — она лениво помахала перед лицом рукой, разгоняя видения. Женщина была горда, не совсем понятна для посторонних и убедительна. О каких посторонних вы говорите здесь, сэр? — Я когда утром шла к тебе, то на углу возле перехода встретила знакомую, так, мельком, секретарша, здарсьте-здарсьте, и вдруг сказала ей, не знаю почему, поделилась с душой — и сама дура: «Сегодня меня будут пороть». Она задохнулась, замолкла, позеленела, но посмотрела на меня с завистью. Есть чему завидовать, милый, — поделилась Бланка. Она провела языком по губам с улыбкой, которую можно было назвать и дерзкой, и развязной. — Погода здесь и жара располагают к ссорам, разве нет? — спросила женщина, проводя руками по груди.

У нее был шелковистый, очень живой оттенок кожи на бесконечном, тяжелом бедре, вид которого сводил с ума Леона Кравца и не только его. А гитарные эшколиты ее янтарных ягодиц добавляли ко всему вышеназванному оттенок неизбывного мужского счастья. «Эшколит», объясним, это ивритское название цитрусового грейпфрута, как его стали называть по-русски много позже. Никто тогда, в тот год, еще ни этого фрукта, ни его имени по-русски не знал.

— Такое солнце, как здесь, располагает к любви, правда, Ленья?! — вещала Бланка, которая не настаивала на своей правоте, но внимательно прислушивалась к его ответам. Ей была важна его реакция, хотя, казалось бы, что ей мнение какого-то портного? А вот нет. Эта женщина могла отличить золото от не золота.

— Правда, — охотно согласился с женщиной Леон, укладывая свою левую руку на ее податливую поясницу.

Костюм, который он сшил для Бланки за два дня, без примерки, как всегда, был лимонного цвета и с редкими черными линиями на воротнике и рукавах. Он был великолепен, конечно. У костюма и у Леона не было другого выхода, кроме как быть таковым. Бланка с чувством расцеловала Леона в восторге, примерив костюм.

— Ты мне нравишься, мальчик, и без этого костюма, но я нуждаюсь, как любая женщина, в подтверждении своей любви, постоянном подтверждении. И этот мелкий кармашек на боку с леденцом в цветном фантике, умница моя, — Бланка поправила дымчатые очки пальцем на переносице и прошла по мастерской Леона направленным и собранным шагом опытной манекенщицы.

— Работала на показе? — мельком спросил Леон, не отрывая глаз от обшлагов брюк, нуждавшихся в исправлении.

— Был такой эпизод у меня. Немного дефилировала в Варшаве по молодости лет. И не думай о моем спонсоре слишком много, он ревнив, конечно, но в меру, умен и владеет собой, с ним уже поговорил Костя, он понял, все в порядке, — Бланка и не думала оправдываться, она объясняла свою жизнь несмышленому мальчику.

В свою очередь Леон, глядя на объемные прекрасные эшколиты и прочие значительные плоды и фрукты этой женщины, удивленно думал: «Неужели это все мне?! За что? Чем заслужил, неизвестно». На эти мысли проницательная Бланка тихо и внятно объясняла ему на ухо:

— Заслужил, мой дорогой, талант на земле не валяется, никуда его не деть.

В этой женщине было много таинственных качеств, которые постичь молодому Леону Кравцу было невозможно. И не нужно. Можно было объяснить ее страсть к нему известной фразой о том, что тот, кто хорош лицом и телом, тот так же хорош талантом и делом. Конечно, да. А разве у кого-то были сомнения в этом тривиальном постулате?!

По утрам, а точнее, ближе к полдню, Бланка обычно выглядывала из окна и рассматривала привычный городской пейзаж. На другой стороне узкой улицы, на которой она жила в квартире под ключ, была расположена на первом этаже продуктовая лавка со стандартным набором продуктов, сигарет, пачек газет, с одиноким популярным одиозным журналом «Этот мир» поверху, одноразовых зажигалок, сэндвичей в булочках, завернутых в салфетки, бутылок с желтой и зеленой ядовитой газировкой, сладким пятничным вином, картонок с яйцами в столбик и стеклянной витриной, за которой покоилась целая палка колбасы и отдельно от нее за перегородкой — кусок сыра в красной упаковке.

Хозяйка всего этого, серьезная женщина с достоинствами и другими значительными телесными плюсами, украшала все это незамысловатое и столь необходимое для жизни добро своей крупной фигурой с малоподвижными полными руками и большим нервным лицом бывшей закарпатской жгучей красавицы. Она работала за прилавком с торжеством имперской повелительницы. По-русски Яффа говорила с акцентом и определенными ошибками, но это не было редкостью, почти все здесь говорят по-русски, и не только по-русски, с акцентом и ошибками. И ничего. О рафинированном иврите, том самом, о котором мечтал незабвенный и фанатичный реставратор этого языка Элизер сто лет назад, не могло быть пока и речи. Не до жиру, как говорится. Надо подождать.

С вечера к Яффе забегали в лавку завсегдатаи кафе «Ташмон», затовариться перед тем, как пойти на знаменитые тамошние посиделки. Среди тех, кто отоваривался у нее дешевым и крепчайшим «Ноблесом», были Саадия, Чарли, Кохави и даже сам теоретик Алон Г-ц, задумывавшиеся о бурных demonstra-

циях и этническом неравенстве. Изредка заходили к ней Изя и Юра, а еще раньше их — Вова с Мишей, только приглядывавшиеся к городу и искавшие свое подобающее место в нем.

Хозяин подавал всем по ночам челнт, или хамин поздешнему, густое мясное блюдо, настаивавшееся часами и набирившее небывалую силу и вкус за это время. После этого, покачиваясь от выпитых стаканов жгучего бренди «Экстра фajn» и пережитого в жарких скандальных спорах о будущих социально-революционных действиях, народ разбрелся группами и поодиночке по домам, поспать и всерьез подумать о проблемах мира и социализма.

Бланка всех их знала наизусть, выучила из своего окна, заинтересованно дружила с ворчливой и осторожной Яффе, которая оставляла ей сигареты в неурочное время в своем закрытом частном гастрономе, благо она проживала в квартире напротив и выходила на ее звонки с тяжелыми и справедливыми словами в адрес гвоздей в розовом заду Бланки, которые не дают спать ни хозяйке этих больших прелестей и ни ее честным соседям, намаившимся за прилавком за день общения с покупателями, теми еще святыми, теми еще ритуальными подарками на Хануку...

Бланка сказала, не обращаясь к нему и вообще ни к кому:

— Сейчас сделаю кофе, сигареты кончились, надо бы сходить к Яффе.

Леон не понял, к какой такой Яффе надо ходить и почему он должен куда-то идти. Зачем? Он промолчал, не реагируя и не шевелясь. Бланка поглаживала его пальцами по затылку с задумчивым видом. Потом женщина собралась с силами, вздохнула и поднялась навстречу жаркому дню. Но походка ее, заметим, была легкой и даже веселой, что совершенно не вязалось и не соответствовало вздохам и другим интонациям личного поведения. Кажется, эта женщина с яркой кожей, блестящей под солнечными лучами, просто боялась сглазить и упустить пойманное счастье. Возможно, это правда.

Бланка, накинув на себя нечто вроде незастегнутого спереди цветастого халатика, принесла ему кофе в кровать, при-

сев перед ним и передав чашку из рук в руки в сопровождении поцелуя. Еще была пышка, обсыпанная сладкой пудрой, на блюде с синей кромкой. Пышку эту она нежно скормила ему, что-то с нею произошло, с этой насмешливой женщиной в этот день. Точно называть это преобразование — как, что и почему — было нельзя, но есть разные предположения. Леон помял ее напряженные соски, поцеловал, потом сжал, потом отпустил. Женщина тяжело дышала, двигалась навстречу ему, потом откидывалась назад, хрипло и жалко вздыхала. Потом Леон отпустил ее. Бланка со вздохом поднялась с кровати, шагнула и включила вентилятор в углу комнаты, громко щелкнув кнопкой на высокой никелированной ножке. Ни одного вялого участка не наблюдал Леон у Бланки на молочного цвета теле.

«Так и с таким конечным результатом влюбляются в чужих суровых женщин», — подумал Кравец. Эта мысль не была окончательной, у него много появлялось подобных соображений в течение дня, потому что он относился к женщинам очень хорошо. Женщины это чувствовали сразу, это не мешало ему жить, но создавало определенные сложности. Преодолимые.

Осанка, напишем это обязательно, у Бланки была королевская. Соответствовали осанке также стать и походка. Доброжелательна, уверенна, красива, расслаблена. Поворот головы, взгляд серьезных, серых распахнутых глаз, сарказм. Все при ней, при Бланке, которая живет в свободных отношениях в центре Иерусалима возле здания прежнего кнессета. Кажется, она серьезно влюблена в новоприбывшего портного из Москвы, но все равно видит действительность жизни критически, подробно и сурово. Характер. Откуда это есть у рядовой польской девушки, остается только гадать. Правда, у нее, у этой девушки, как говорят в столице, еврейские корни, но это тоже не объяснение. При чем здесь это? Хотя всяко бывает с людьми по фамилии Алеви.

Бланка поглядела на него сбоку как-то, и будто решившись на что-то, произнесла:

— Ты не думай, Леня, обо мне так, будто бы я злая, ненавидящая здесь все, злобная полячка.

— Иудейского происхождения, все-таки, или нет? — заинтересовался Леон.

— Конечно, но это не так важно. Да, наверное, у меня не лучший характер и я склонна к выяснению самых тяжелых и неприятных частностей. Но я обожаю это место проживания, не могу говорить уж так высоко, прости меня, но обожаю. Есть одно место здесь, где я была недавно, потрясена им. Хотела бы в нем жить всегда. Это в самом начале Синая, знаешь, где это, Синай? Это там на юге, у моря. Все возможно еще, не все потеряно еще, кто знает. Мы ездили, кстати, туда все вместе, с Костей и Дани, и моим дружкой славным, говорю об этом без иронии, другом моим, наверное, уже бывшим. На Костиной машине, фырр-р фырр-р — и уже там, в райском месте, обожаю быструю езду.

Она не боялась говорить откровенно, и говорила быстро. Леон следовал за ее словами, как щенок за любимым лакомством.

— Ты доволен остался, мальчик, тем, что было? Не очень ты был избалован, как я понимаю, дамами. Это не мое дело, но все-таки, ты доволен Бланкой?

Леон отвечал коротко, потому что и не любил таких разговоров, и не понимал их, и вообще не одобрял вопросов на эту тему.

— Это все мое личное дело, ни с кем на эту тему не говорю, не доверяю — и все.

У него была своя система необъяснимых запретов с малых лет.

— Ну, не говори, если не хочешь. А я довольна, неожиданно довольна, очень даже довольна, — Бланке не шел исповедальный тон, но она была свободна говорить все что угодно. Запретить ей было ничего невозможно.

— Мужчину моего... бывшего звать Лазик, вон его фото возле торшера на стене. Но я не об этом, хотя ты меня удивил. Так вот, мы ездили все вместе, машина тянула легко, в город

Ямит. Это поселение за Газой, новый город. Вот там я бы хотела жить всю жизнь: белый песок, зеленое море, домики маленькие, кусты, пальмы, все ходят пешком или на велосипедах, такое тихое счастье на морском ветру... Это все одnogлаз придумал построить еще до войны, а так сразу про него и не скажешь, есть в нем много чего... Одного глаза нет, характер странный, но держится наплаву как-то. Вот сейчас уходит вместе со старухой Годой со сцены, большие мыслители наши, никто по нему и по ней не плачет, он и сам ни по кому не плачет, но вот Ямит этот райский он придумал и построил, знаю это наверняка. Поставим ему в плюс, мудиле грешному. Я за историческую правду, мой мальчик, я вообще любительница Сиона, зайонистка, как говорят американцы. Надо тебя туда свозить, в Ямит наш, он невероятен, приходящая рая, — речь ее была правильна и разборчива, но все равно она производила впечатление сильно выпившего человека. «Может, на кухне хватанула стакан чего», — подумал Леон.

— Они, безумные мечтатели, хотят, чтобы в Ямите к началу следующего века, это уже совсем скоро, было уже 250 000 тысяч человек, а что? Сейчас там пару тысяч людей, много ваших... Такой чудесный белоснежный памятник поселенцам. А что?! Все может быть здесь, все может случиться. Все непросто. Но про Костю нашего ты знай, он очень сложный человек, широкий, артистичный, нежадный, но многослойный, запомни это, мальчик, — Бланка говорила медленным голосом, противоречила себе.

За ней было трудно уследить, она была неожиданна, впрочем, как почти все женщины. Казалось бы, при чем здесь Костя?! Что-то она имела в виду неочевидное, рассказывая про Костю. И почему это надо было запоминать, много непонятного.

«Вот ведь какая женщина непонятная», — удивленно и радостно подумал Леон. Ему необходимо было возвращаться на работу, хотя бы появиться на глаза людям. Он бодрым шагом сходил в душ, постоял под холодной водой, растерся полотенцем и вернулся в комнату в ровном счастливом настроении и расположении духа.

— Мне надо на службу, — сообщил он, одеваясь и глядя на нее сбоку. Его взгляд можно было не совсем объективно определить как преданно-собачий, любовный.

— Соберись, мой мальчик, измени выражение лица, не в последний раз видимся, — сказала Бланка, не скрывая удовольствия. Вот ведь как бывает в жизни.

На дорогу она вручила ему кусок сыра без хлеба:

— На, пожуй немного, только зубы не сломай, это настоящий пармезан, и помалкивай обо всем, если сможешь, а то тут все говоруны, мочи нет.

Взгляд ее темнеющих ласковых глаз говорил очень много, Леон это отметил, но не придавал особого значения. Ее русский язык был совершенен, непонятно откуда. Наверное, от тетушек, оставшихся жить в Варшаве, откуда еще. Или от Кости Сироты, этот мог научить многому любого. Но точнее не ясно.

Уже на выходе Леон вспомнил про портрет друга или спонсора Бланки на стене у двери и взглянул на него мельком. Более подробно он рассматривать черно-белую любительскую фотографию постеснялся. Но он привычно заметил, что лицо у мужчины было обычным, правильным, без особых примет. Лицо этого Лазика не удивило Леона ничем. «Такие лица нравятся женщинам», — додумал мысль Леон, и с этой мыслью налегке он выбрался на лестницу, укутанную в коричневую кафельную плитку, где холодный ветер сквозняка бегал вверх-вниз по крутым свежевывытым ступенькам.

Рядом с бакалеей Яффы была жестяная лавка. На ней сверху было тускло написано: «Жесть, скобяные работы. Арон». Этот Арон, седой, бородатый, похожий на дервиша из Цфата, сидел на низкой табуретке у открытого входа и деревянным молотком в толстой, голой до плеча руке отбивал жестянку, удачно придавая ей облик таза. Возле него, положив голову на вытянутые лапы, лежала беспородная лохматая собачонка, наблюдавшая за миром вокруг себя с живым интересом. Арон внимательно и иронически посмотрел на Леона, но ничего не сказал, хотя ему очень хотелось сказать и было что сказать. И слава богу, что не сказал, уже все сказано ведь, правда?!

Бланка решила про себя, что из всех мужчин, которые у нее были до этого дня, вот к этому странному наивному портному с жестокими привычками она, кажется, прилепилась сильнее, чем к другим. Поди знай, почему. Вот так, Бланка Алеви, вот так. Из хорошей семьи, мама врач, папа публицист, и сама независима и состоятельна. Почему ей казалось, что он наивен, она объяснить не могла. Бланка покачала головой, удивилась, ловко опустила ему в карман брюк несколько синих сотенных купюр и поглядела на него как на постороннего, которым он явился ей на мгновение.

За пять неполных дней в этом городе с Леоном произошло такое количество событий, которых у некоторых могло бы хватить на месяцы и даже годы. Он был буквально переполнен лицами и словами новых знакомых, впечатлениями, пейзажами и звуками. Уже не говоря о погоде. Голова его, наполненная женскими телами, эскизами платьев, однобортными костюмами, любовью, городом и чем только нет, могла пойти кругом от всего этого водоворота, но Леон держался неплохо. Справлялся на славу, держал, как говорится, удар. Он был человеком чувственным и осторожным, это помогало ему держаться во всем этом семитском топоте и гомоне на так называемом плаву.

Дани и Костя ждали его с работы за уже накрытым заранее столом. Две запеченные курицы, обложенные зеленью и овощами и чудесно пахшие, украшали натюрморт вместе с салатами и свежими хлебными лепешками. Как Костя выдержал это ожидание Леона, было непонятно. Лица у него и Дани были радостные и торжественные.

— А что это за музыка играет такая, еврейский Чак Бери? — спросил Леон, пытаясь скрыть смущение от такого приема.

— Это «Каверет», самая популярная здесь рок-группа, играют в честь тебя и твоего дара, садись за стол и наслаждайся, Леня, — приветствовал его Костя, показывая на стул напротив. «Каверет» значит «Улей», — еще раз объяснила ему Дани. По тому, как она на него посмотрела, с некоторым удивлени-

ем, мол, ничего себе, парень, ты даешь, Леон понял, что она знает про его победоносный поход к Бланке. «Вот это успех. Маленький город Иерусалим, однако. Костя меня предупредил, ничего себе».

— Года Исааковна в восторге от тебя и твоих творений, все время говорит о твоей работе, сам слышал, как она рекомендовала тебя Изе... — Костя разливал красное вино по бокалам, помогая себе словами. — Да и наша мать сыра земля тоже очень довольна, хм-хм... выпьем за тебя, Леня, и ты Дани с нами, конечно... — он был оживлен и чему-то рад. «Он имел в виду Бланку, назвав ее мать сыра земля, что ли, или еще кого, только кого?». Мысли Леона метались, собрать их воедино было трудно.

— Главное что в жизни?! Правильно! Верное капиталовложение. Так вот ты, Леон, верное капиталовложение, Года Исааковна так и сказала о тебе: «Этот парень далеко пойдет...». Ты говоришь на идиш? Мой родной язык, только поговорить мне не с кем, отвести душу не могу. От Изи тебе позвонят и назначат встречу, сразу говори им: «Когда вам будет удобно, тогда и мне будет удобно...». Ты все понял? Через день он будет премьером, Исаак Наумыч наш, сообщаю тебе, вместо Годы, уже официально... займет пост. Он человек неплохой, любит вдарить, даже утром и натошак, есть такая слабость. Генерал, что ты хочешь, но обаятельный, честный, убедительный и красивый, что немаловажно. Не гений, конечно, ну, а кто у нас гений? Эх! — Костя откинулся на тахте, явно думая о чем-то своем неизвестном, скрытом в темных закоулках пространства его большой головы.

Леон был очень голоден и дал себе волю за этим доброжелательным и обильным столом. Ел он много, широко, безоглядно, но все-таки разборчиво. Костя поглядывал на все это быстрое торжество без удивления, с интересом.

— Это не только от голода, здесь и нервы играют, тянут соки, перевозбужден человек, не переживай, Дани, скоро-скоро Леня вернется в привычное состояние, но пока запахи еды пленят его.

Костя и Дани тоже ели, но больше за компанию, так это выглядело. Дани казалась раздосадованной, что ли, узнав о похождениях гостя. Леон ее огорчил своей победой, неизвестно почему, но огорчил. Она была влюблена по уши и полностью в своего безумного Костю, но Леон ее все равно огорчил. Она не хотела отдавать этой вульгарной дылде этого чудесного парня. Она не думала, что так получится с нею, как получилось. Но вот.

— У меня так никогда не было, чтобы не помнить после пьянки, что было и как, никогда. Хотя бывали такие повороты, что хоть стой, хоть падай. А у тебя, Леня, так бывало, что не помнишь ничего наутро, а? — несмотря на серьезность вопроса, Костя все равно выглядел так, что параллельно думал о чем-то еще, совсем постороннем. Такой он человек, так устроен, ничего не поделаешь, необходимо привыкнуть и смириться. — Так губы развесишь, лоб потрешь, а не помнишь ничего, просто Талалай. Спроси меня, кто такой Талалай, Леня.

— Кто такой Талалай, Костя? — на ходу, продолжая перемальывать невероятного вкуса еду, между прочим спросил Леон.

— Талалай — фамилия друга Бланки, он настроен очень серьезно и парень серьезный, бизнесмен, зубной врач, красавец, вот у Дани спроси, — объяснил равнодушным тоном Костя.

Дани молчала, тихо подпевая песне рок-группы «Каверет» «По кавур акелеф», что значило «Здесь собака зарыта, и в этом все дело». Непонятно было, что влекло ее к этому человеку, ей самой было непонятно. Что-то там было в ее голове, чего она не могла и не хотела объяснить себе. Она не объясняла ничего, предпочитая оставить все как есть. Ее мать, иногда посмеиваясь, загадочно говорила ей утром за кофе, глядя на хмурое лицо дочурки: «Не буди лихо, пока оно тихо». Свою мысль она не развивала, просто понимала, чего от дочери своей можно ожидать, то есть всего чего угодно. Откуда у этой изощренной варшавской дамы появилась эта фраза, было неясно. Только в Польше, таинственной стране, переполненной страстями и глухими неразгаданными секретами, с непроходимыми хвойными лесами и высокими за-

снеженными горами, могли появиться фразы из других языков без объяснения причин. Просто появиться и остаться. На этом остановимся.

— С деньгами ты, конечно, не разобрался, счастливые работы часов не наблюдают, потому что, — осудил Костя, с аппетитом откусывая хрустящий куриный бок до кости. Если Леон ел жадно, но опрятно, наверное, по молодости, то Костя был размашист не в меру и необуздан, хотя и не голоден. В этом Косте, в том, как он хватал куски мяса, хлеба, как забрасывал половинки помидоров в рот, загребал бокалы с вином, было что-то от каннибала, хищника, каковым он и был. Он ел достаточно чисто, без рычания, но оно как бы все время слышалось фоном.

— За тебя, парень, за тебя, Леон Кравец, от всей души, Дани, ты, конечно, с нами, — торжественно и утвердительно, с дикторским металлом в голосе произнес Костя. Промокнул губы мятой салфеткой в пятнах жира и сладко сказал: — Завтра, Кравец, отвезу тебя к Адине — и ты все, что заработал, положишь на свой счет и купишь себе нормальный портфель, твой уже свое отжил. И поговорим с ней об ипотеке, она знает все, на квартиру, совсем небольшой ипотеке, но так полагается. Сколько времени ты здесь находишься, пацан?

— Пять дней, скоро пойдет шестой.

— Шестой день пошел, а ты все еще без машины и квартиры, не стыдно тебе? А, скажи!

Леон с виноватым видом понурился и кивнул с полуулыбкой, что «да, мой недостаток, завтра поедем с тобой в банк к Адине, но ты тоже пойми меня, занят все время, обшиваю население».

Дани поддержала свою черно-желтую футболку с красной надписью «Нью-Йорк навсегда», на всякий случай проверила джинсы на бедрах: верхняя пуговица была расстегнута, но это не страшно, огладила живот и бока, инстинктивно подтвердила стати, потом сходила на кухню и вернулась с дымящейся

тарелкой. Она смотрела на них, прибирая на столе и выставляя яблочный пирог с печеньем на свободные места, которых почти не было.

— Видишь, Леня, Дани наша — человек грузинской застольной культуры, все выставляет сразу, в два и три этажа, чтобы всего было вдоволь, и чтобы было на что посмотреть и что съесть. Этот яблочный пирог называется штрудл, австрийская придумка, ты это знал, Леня? Я его обожаю, — Костя говорил, как будто не ожидая ответа, ему он был не важен, он все знал или догадывался и без ответов этого портняжки, способного, конечно, спору нет, но все-таки портняжки.

Леон очень любил яблочные пироги, на вопрос Кости не отвечал, а просто ел и ел. Нервный срыв у человека, головокружение от успехов.

— Года наша, видал, ничего не забывает, обещала рекомендовать и выполнила. Только одноглазый сказал, что своего мастера не меняет. Только партии, ха-ха, как перчатки, но клиентура тебе обеспечена, парень, процент мне за это не нужен, от чистого сердца обеспечиваю. Скажу тебе, Леон, по-свойски, что Лазик этот, ну, который парень Бланки, парень непростой, у него на нее виды. Имей в виду, мы иногда кое-что вместе совершаем, считать умеет и не только, все помнит, боксер, вообще, память хорошая, и так далее, своего не упустит. Бланка из него веревки вьет, — рассказал Костя, изучающе глядя вслед Дани, со своей всегдашней усмешкой, искривившей его странное круглое семитское свежесвыбритое лицо в ореоле своих черных с синим отливом длинных волос.

Леон не реагировал на этот рассказ, он ожидал чего-либо подобного. Ну, не может быть, чтобы все проходило без сопровождения. Он всегда, еще с приезда в покоряемую Москву, жил в ожидании некоего события, не обязательно плохого, но обязательно значительного.

— Добавлю, что Лазик Бланкин с доходов своих кровных содержит здесь русскую газету, представляешь! Здесь. Снимает в Тель-Авиве помещение, с редакторами, переводчиками, машинисткой, уборщицей... И сам там печатает свои произве-

дения. Короче, у каждого человека есть право, страна наша демократическая, все можно кроме того, что нельзя. Что скажешь, Леон? Но он это любит, ничего не поделает, Гомер наш, — Костя не шутил и не думал шутить.

— Слушай, Костя, а сколько здесь жителей сегодня, а? — Леона этот вопрос волновал сейчас сильно. Он обвел рукой большой круг вокруг себя, подразумевая большой Израиль. Опьянения он не чувствовал, просто некий прилив сил от похвал и сопровождающих речей Кости.

— Два миллиона человек здесь. А в Египте сорок миллионов, вот и считай. Но через лет десять нас будет десять миллионов, помани мое слово, Костя все видит все знает, можешь ему верить. Завтра поменяем тебе портфель на стильный от дяди Джоника. Есть здесь один кожаных дел мастер, модельную обувь тачает, вот для Годы нашей сделал, для Пини, да мало ли для кого еще. Он и портфели делает, больше для души и только если очень попросить, все наши миллионеры ходят с ними, даже Пини, еще сошьешь чего-нибудь для него, важный дядя этот Пини, голова круглая, тот еще лысый человек, но соображает. Прости, мне Дани должна плечи растереть мазью, а то болят мои плечи — спасу нет, да, прощаешь Костю?! — его монолог нельзя было объяснять только выпитым вином, он просто любил вещать. Хотя все время оставалось впечатление, что он жестко контролирует свою речь и ее границы.

Все-таки Костя явно выпил в этот вечер больше, чем всегда. Леон поднялся на ноги и уже у двери спросил:

— Ради бога, я пойду, мне надо еще поработать сегодня, только ты не сказал, сколько будет людей в Египте потом. Интересно мне.

Стягивая через голову треснувшую по шву рубаху, Костя выстроил на опухшем лице гримасу и ответил:

— Откуда мне знать, скажи. Ну, сто миллионов, сто двадцать миллионов, какая разница, странный ты человек.

На том и расстались, чтобы встретиться утром.

— Только что звонили и спросили, можешь ли ты приехать к 8:15 к Изе в офис, он хочет костюм к завтрашнему дню,

там жена все решает, она спрашивала, я сказал, что, конечно, костюм сделаем в лучшем виде, обязательно будем, так что давай чик-чак, Леон, на, возьми мой одеколон, «Брут» называется, популярен и надежен, как балтийский флот, только не выпей все, — быстро сказал Костя, он мог шутить, был напряжен и весел, голос звенел, плечи не болели, молодое лицо без морщин и припухлостей белело, как натертое воском, Дани на среднем нерве гремела посудой на кухне, жизнь, возможно, обещала кое-чего ей еще. Еще бы, звонок от секретаря самого Изи в шесть с чем-то утра, что-то это значит, нет?!

Леон привычно поежился от его самоуправства, промолчал и заторопился, как получивший с размаху плеткой по крупу конь в стипль-чезе перед сложным препятствием — шлагбаумом, рослыми кустами и глубокой траншеей с водой в одном лице. Когда уходили, Дани привычно поцеловала Костю в щеку, после чего приобняла Леню за плечи и не глядя, на ощупь коснулась щекой его щеки. Запах от нее шел знакомый, все тот же, незабвенный «Шанель 19», розы и гиацинты, роса и утренний холодок. Костя, который всегда замечал все, сделал галочку в своем сумрачном, летящем в горячем пространстве сознании, но не сказал ни слова, что тут скажешь.

Квартира у Изи была казенная, большая и еще не обжитая. Широким шагом ходила хозяйка, властная и малопривлекательная офицерская жена в халате с черными цветами, распахнутом выше колен. Изя вышел к ним из глубины квартиры. Он был без пиджака, в белой рубашке с расстегнутым воротом и с зажженной сигаретой в сильной руке. Сильной руке, потому что он пожал руку Леону так, что парень поморщился от этого его жеста. Костя выдержал все на «пятерку», он привык к неожиданностям. Голос у Изи был густой и сильный, говорил он очень медленно, был хорош собой, похож на голливудского киногероя. Вообще, он и был по всем показателям, по популярности и по внешним данным, голливудский герой. Леон унюхал сытный запах хорошего виски, но быстро отогнал от себя эту крамольную мысль. «Не может быть, премьер, знаменитый полководец — и виски с утра, совсем с ума сошел, Кравец, головокружение от успехов, молчи в тряпочку».

Парень, проводивший их в квартиру, остался у дверей, сложив толстые в рыжих веснушках руки, торчавшие из пиджака без рукавов, на животе. Он быстро скользил по происходившему в гостиной своими круглыми глазами, как по незнакомому лесному пейзажу, в котором ему надо было быстро сориентироваться и определить, где тут север, где юг, где свои, а где не свои. Задача не из легких.

Изя был хорошо сложен, никаких подвохов и секретов Леон у него в сложении не обнаружил, все было отлично, атлант.

— Послезавтра в этот час будет готово, примерки не нужны, — сказал Леон глухо, Костя с удовольствием перевел.

Жена Изи сказала, что сегодня заплатит аванс, а остальное отдаст при получении. Леон пожал плечами.

— Костю мне нужен завтра, завтра можешь? — спросил Изя. Леон ответил, что послезавтра будет готово все, раньше невозможно. Изя поник и вышел в другую комнату, где явно приложился к бутылке еще раз, лицо его просветлело и мышцы вокруг рта и носа разгладились. Ему лет пятьдесят на вид, совсем мальчик по местным меркам, на возраст политических лидеров. Леону стало как-то легче от этого вида, ему все было знакомо по Союзу совсем неплохо.

— Примерок не будет, — повторил Леон ему и его жене, считая, что это обрадует их. Жена Изи поджала на это губы, что означало, вероятно, удивление и одобрение.

— Хорошо, послезавтра так послезавтра. Однобортный, — Изя говорить много не любил и говорил мало, согласился он сразу.

Леону показалось, что он мягкий и покладистый человек. В том, что в доме хозяйничает его жена, сомнений у Леона не было. Костя отошел с женой Изи в сторону к окну, где та протянула ему гонорар для Леона. Не считая, Костя переложил синие купюры в карман. Изя за это время написал на мятом обрывке газеты со стола дорогой ручкой ряд цифр и сказал на ломаном, но вполне понятном русском, дыша тяжелым хлебно-спиртовым духом:

— Это мой телефон на рабочем столе, если чего будет надо — звони. Мама моя из Москвы уехала в революцию, не стесняйся, парень, может, и помогу тебе в нужный час, чем смогу.

Рукопожатие его было сильным, очень судорожным и неободряющим.

В машине Леон спросил у Кости, который был очень доволен встречей и ее результатами, про выхлоп с утра у самого Изи, завтрашнего премьера:

— Это правда или мне показалось?

— Не твое дело, мало что кому кажется поутру, — ответил Костя и переключил скорость на четвертую. Машина чуть заметно прибавила в шуме и понеслась по шоссе вдоль Футбольного парка в сторону дома. На светофоре Костя якобы вспомнил и протянул Леону деньги, полученные от жены Изи:

— Я не считал, это задаток, сходи положи в банк к Адине, нечего носиться с такими суммами по городу. Шесть дней, завтра у тебя зачет, Леня. Сейчас поедем тебе за портфелем. А по поводу Изи ты должен знать, что он здесь герой и спаситель, его на руках носят, имей в виду, никакой иронии. Он здесь как бы маршал Жуков. Маршал Победы, слышал про такого. Конечно, страна не та и маршал не тот, но что есть.

Костя вздохнул и повернул влево, где в переулке за деревьями и за песочницей детской площадки находился многоквартирный дом, в котором жил тот самый сапожник.

— Профессор он, как минимум. И знай: здесь половина страны портные, а другая половина — сапожники. Так вот, этот наш — лучший, просто информация для тебя, — так вдохновенно Костя говорил о сапожнике. Перед ветхой дверью на третьем этаже справа Костя всем корпусом повернулся к Леону и бросил тому: — Торгуйся с ним, — затем нажал кнопку звонка.

Портфель был действительно классный. Сапожник достал его с полки и дал Леону на пробу:

— Сделал одному, а ему не подошел цвет и покрой, слишком европейский, говорит, мне нужно, как в армии. Какой армии, при чем здесь армия, скажите?

Он держал портфель на весу, не торопясь передавать Леону. Он был одет в застиранную зеленую футболку с черными мечами у горла, в шлепанцах на босу ногу и замызганный фартук. Леон покрутил портфель в руках, открыл, закрыл, пощелкал замками.

— Беру, прекрасная штука, — торговаться он не умел и не хотел.

— Скажите цену, рэб Нисон, — сказал Костя.

— Сколько дадите, за столько и отдам, — он явно уступал Косте в разговоре и спорить с ним не хотел.

— Положим тебе, сколько мы хотим, и сверху еще двести лир, — они пожали руки и остались, кажется, довольны собой и неназванной ценой.

Костя передал портфель Леону, после чего сапожник пожал тому руку. Он вопросительно посмотрел на Леона, и тот кивнул ему:

— Да, я портной.

— Сразу понял, что ты трудящийся человек, — взгляд его не потеплел, но смягчился. — Заходи, когда будет время вечером, посидим.

— Обязательно приду.

Костя всего этого трудового братания не одобрял, потому что каждый должен знать свое место, а то все связи нарушатся, рухнут устои и наступит в мире хаос.

— Он что, ассириец? — спросил в машине Леон.

— Почему ассириец, неверно, — с новым выражением в быстрых глазах пояснил Костя. — Понимаю, откуда взялся этот ассириец у тебя. Но нет, он не такой. Он бухарский еврей из Намангана, большой мастер, виртуоз, рассказывает, что Жукову на фронте сапоги чинил. Не врет. Жуков ему сказал: «Молодец, Давидов! Как новые сапоги мои любимые стали, молодец». Так сам Давидов рассказывает. На рынке еще держит закусочную возле выхода на улицу Яффо. Продает там 80

гр водки со странным отливом, бутерброд с килькой, иногда с яйцом, за те же деньги, почти даром — здравствуй, Витебский вокзал. Сыновья у него там служат, все при деле, всегда очередь с утра, вот так, — все-то этот Костя про всех знал, выглядело это не слишком для большого бизнесмена и друга властителей, банкиров, шпионов, командармов.

Леон крутил в руках портфель, не мог нарадоваться ни его цветом, ни формой, ни замками, ни содержанием.

— Хоть сейчас на Уолл-стрит. Молоток, Леня, то ли еще будет, — непонятно кого похвалил Костя, переключил скорость на четвертую или пятую, поди разбери в этих современных машинах, и помчал в тишине.

Леон продолжал мять свой портфель, все не мог налюбоваться:

— Бычья кожа, что из Америки привозят, а?

— Почему из Америки? Все свое. На Голанах есть несколько ферм, это на севере, ты знаешь, там разводят наши ковбои рогатый скот, есть своя роскошная продукция, — Костя знал про эту страну все, ну, или почти все. Не зря он дружил с политиками, командармами, бизнесменами и разведчиками, не зря. Ненавязчивому любопытству его, казалось, не было границ. — Я везу тебя к Адине, сам пойдешь, без меня. Она поможет тебе, я с ней поговорил, порекомендовал, что и как с тобой поделать. Высажу у банка, съезжу по делам, встретимся через полтора часа у тебя на работе, надо отмечаться, надо быть гибким, давай-давай, не благодари, большой день — пленных с войны обменяли сегодня с Сирией, 65 на 408 — счет один-один, но на все наплевать, к чертям соотношение, кто чего считает, лишь бы живы остались, Года наша Исааковна, большая политиканша, договорилась с сирийцами, чтобы она была здорова, растерялась бедная и уходит, ее время истекло, гонг, — Костя прижал машину к тротуару, эта сторона была не солнечная, народ суетился туда и сюда, присутствие банка, главного среди равных, всех как бы подгоняло, активизировало. Леон вылез наружу со своим портфелем, пригнув голову, осторожно прикрыл за собой дверь, которая

идеально вошла во все родные замки, не оставив швов и никаких сомнений в филигранной работе шведских специалистов-жестянщиков.

Адина увидала его издали, заулыбалась, приосанилась и сразу пригласила его под недовольные взгляды небольшой сумрачной очереди в свой стеклянный закуток на трех персон. Он удачно появился: очередь еще не выросла до необъяснимых размеров. Она еще контролировала всех этих озабоченных, нервных вкладчиков.

Конечно, она его не забыла. Адина сразу разобралась в новой ситуации. Перед ней сидел не тот скованный паренек, что посещал ее на работе в сопровождении Кости третьего дня. Это был раскованный уверенный мужчина с развернутыми широкими плечами и блестящим наглым взглядом победителя и самца. Она не признавалась в этом самой себе, но Костя, ее прямой руководитель и начальник, сковывал ее поведение своим присутствием, что бы она там себе не думала о собственной независимости, свободе, самодостаточности. Он ничего ей не приказывал и не говорил, что можно и что нельзя. Все это подразумевалось само собой. Она знала все сама без посторонних указаний. Но когда Костя присутствовал возле нее, рамки дозволенного сами собой становились для нее крепче и суровее. Вот и весь секрет, вся тайна. Почти вся.

Адина все толково устроила с его деньгами, распределив их по разным счетам, закрыв на вклады, и открыв счет в иностранной валюте — это то, что Леон понял. Он многое понимал в деньгах, но с современными западными банками ему для вживания, понимания и овладения требовалось время. Пока же он надеялся на Костю и вот, Адину в этом важном вопросе. Адина отметила, что парень за эти дни как бы подросток и выпрямился от груза прошедшей жизни, лицо разгладилось. Он скинул с себя лишнее и остался во всей красе. «Костя в людях понимает», — в очередной раз убедилась женщина. Одет Кравец был просто, на удивление красиво, никаких украшений, цепочек или еще чего. Только золотой перстень на безы-

мянном пальце левой руки. Адина совершенно не сомневалась в его будущем. Она все аккуратно и тщательно расписала на листке бумаги, выстроила в столбик все цифры его, которые могли согреть сердце любого потенциального капиталовкладчика. «Вы сколько дней уже в Иерусалиме живете, господин Кравец?», — поинтересовалась женщина. «Шесть дней», — отвечал Леон с полным уважением к цифре. «Можно гордиться вами», — живо сказала женщина. Леон благодарно сверкнул ей в ответ сверкающими карими глазами, но промолчал.

Леон спрятал бумажку в свой новый темно-бежевый портфель, отложив ее, в связи с большой важностью, в отдельный кармашек. «Какой красивый у вас портфель, — Адина поднялась, инстинктивно огладила полные бедра двумя руками, хотела привлечь внимание. — Давидова работа?». Леон внимательно оглядел ее — не зря дама старалась, кивнул и, сказав: «Большое вам спасибо, Адина», — двинулся на выход. «Еще увидимся», — сказала ему в спину Адина звонким голосом. Женщина вздохнула, загадочно улыбнулась и позвала следующего в очереди. Потом она что-то вспомнила, вскочила, спустилась на первый этаж и побежала за Леоном, настигнув его перед самым выходом. «Запишите мой телефон, Кравец, позвоните вечером, когда вам будет удобно, попьем кофе, жду, может быть, сегодня», — и быстро скрылась на широкой лестнице в полутьме огромного помещения. Стыдилась, что ли, себя? Невозможно, просто так получилось. В любом случае, Адина преодолела румынскую жеманность и привнесенную воспитанием чопорность и догнала, задыхаясь, почти в дверях, этого парня с прямыми худыми плечами и мягкой походкой голодного злого кота.

Кравец же не удивлялся ничему. Но сомнение посетило его. Он вышел на улицу, сразу и полностью в гомон толпы и в ярчайший солнечный полуденный свет Иерусалима. Леон сразу разглядел в ряду припаркованных машин автомобиль Кости хищного профиля, цвета мокрого асфальта, и осторожно уселся в него, прикрыв переднюю дверь возле шофера, с драгоценной еврейской советской сдержанностью.

Пожилая темнолицая женщина, сидя на камне у стены, торговала молодой крепкотелой ядовито-зеленой алычой. Костя выскочил из машины наружу и, быстро перебежав тротуар, купил у торговки большой кулек алычи, отмахнувшись от сдачи. С кульком он вернулся на водительское место и отъехал от банка, изящным движением руля направив машину, чтобы объехать автобус на остановке.

— Обожаю алычу, килограмм могу съесть запросто, бери, Леня, чистый витамин С, кисленькая — не могу, — у Кости было отличное настроение. Леон тоже ни на что не жаловался, все у него было хорошо. С Адиной он пока ничего не решил, успеть встретиться с Бланкой до нее не получалось. Каковы планы Бланки на вечер, возможно, ночь, было неизвестно, надо дожидаться разговора с нею. Но он был очень весел. Адина сказала, что ему можно подумать о квартире: «Думаю, половина или почти половина денег на нее у вас есть, ждать не стоит, что вам, солить эти деньги, что ли, какие ваши годы, господин Кравец...».

— В мое время пели такую частушку, уже за такие не сажали, так что... Волонтаризм в разгаре был после смерти хозяина, ничего не поделатъ, наплакалось население. Ты слушай, Леня, слушай: «Цветет в Тбилиси алыча не для Лавентий Палыча, а для Климент Ефремыча и для Вячеслав Михалыча». Ты знаешь всех героев, конечно, — Костя не спрашивал, он ждал подтверждения от Леона, который решил с ним этот кроссворд не разгадывать. — Все просто, — Косте все было как бы не интересно, знает — не знает Леон, о ком речь, он говорил сам с собой, как и всегда, такой бесконечный диалог. — Лаврентий Палыч — это Берия, одаренный чекист, Климент Ефремыч — это маршал Ворошилов, шашки наголо, ну, а Вячеслав Михалыч — это товарищ Молотов, красавец-меньшевик. Оба женаты на еврейках, если это что-то меняет. Мода была такая, еврейки в постели и в судьбе. С этими тетками пересекалась наша Года Исааковна, когда работала в Москве, что повлияло на их судьбу, но они смогли и сумели выжить благодаря мужьям, большего я не знаю.

Он очень много знал, Костя Сирота, хотя историком не был. А кем он был? Этого не знал никто.

Они проехали светофор Мамиллы и свернули направо в сторону площади Франции. Костя, расположенный к воспоминаниям, захлебываясь сентиментальной любовью, рассказал еще, что если бы они поехали дальше вверх, то справа от них оказался бы новый грузинский ресторан, в котором одноглазый пару раз обедал с изощренным баварцем, названным при рождении Хайнцем и позже сменившим имя на Генри и сомнительную еврейскую национальность на американскую безупречную национальность, а потом еще выше, прямо напротив знаменитой гостиницы, когда-то в июле 46-го подорванной правым подпольем, находился бы легендарный клуб «ИМКА», на твердом поле которого играл и побеждал столичный «Бейтар», пробиваясь в местные футбольные гранды.

— Наше все — этот желто-черный «Бейтар», наш Менахем Вольфович, я же ревизионист еще с советских времен, уже на зоне был бейтаровцем, поверь мне, парень, зачитывался Владимиром Евгеньевичем, за это и присел, думаю, только никому ни слова, могут подвергнуть анафеме и не понять, — рассказ его был запутанным и неопределенным. Какой «Бейтар», какой Владимир Евгеньевич, какой Менахем Вольфович, какой ревизионист на жуткой зоне под Вологдой, скажите! Где эта Вологда, где?! Но никто у него не интересовался правдой. — Се радость Иудеи, — добавил Костя, чтобы уже было совсем ничего не понять. — Трепещите, суки, — завершил Костя свои речи за рулем. Конечно, он где-то поправлялся и исправлялся, что повлияло на него значительно.

Костя не к месту вспомнил, что им нужно подъехать на работу к Леону, где тот должен был хотя бы засветиться.

— Не порти отношений на службе.

Он свернул к «Машбиру». Остановить поток его речи было невозможно.

— Сегодня понедельник, рабочий день, а у нас меняется премьер. Премьер, но не власть, верно, Леон?! Это все огромная тайна Израиля, нам, и мне в том числе, всего этого не по-

нять, не осмыслить, даже мне не понять, о других и говорить не стоит, — Костя снисходительно и дружески взглянул на Леона, он был возбужден и казался не совсем адекватным, впрочем, как и почти всегда. Вчера он сильно перебрал, что отразилось на его поведении сегодня. И сегодня добавил, но где и когда? Тайна. Хотя, как говорила когда-то соседка восьмилетнего Леона по коммунальной квартире в его занюханном городке: «Свинья, Ленечка, грязи всегда найдет». И она была права.

Весь день и половину ночи Леон строил костюм для Изи, таким, каким он его представлял и осязал. Он видел его воочию в этом костюме, зрелище было — как в добротной голливудской ленте о профсоюзах, гангстерах и политических интересах. Изя своего мнения о заказанном костюме не высказал, ему было все-равно, точнее, высказать мнение он не успел.

Дани и Костя давно пошли спать, хотя Костя до этого покуролесил на славу, требовал вина 65-го года: «Оно мне нравится, там в закутке за кухней, на полке, давай, девочка, скорее», — потом звонил в неизвестность, точнее, в пространство заоконной тьмы, хрипло кричал в трубку: «Делай, как я говорю, не забывай, кто я и кто ты», — вешал трубку и спрашивал: «Ты со мной, Дани? Я могу на тебя рассчитывать всегда, скажи? А этот что, наш Карден, спит, а?! Положила глаз, признайся? Бланка обошла тебя, ха-ха-ха». Потом они удалились на отдых, изрядно пошумели в спальне, которая, несмотря на удаленность от комнаты Леона, три стены и дверь, только приглушала вздохи, выкрики, похожие на звуки, издаваемые воздушными гимнастами в цирке, мокрые шлепки и чего только нет. Потом Дани долго принимала душ, шлепала мокрыми ступнями по кафелю ванной, сушила волосы. А Леон все сшивал, подшивал, отрезал и сравнивал получаемое с неким эскизом, который жил в нем как наяву. Он не жалел себя, не думал ни о чем, только о костюме Изи. Он не думал о том, почему же Дани так влюблена в Костю, ответ был очевиден: вот поэтому.

Костюм для Изи к утру получился замечательным, носитель его должен был стать в нем тем, кем он никогда не был.

Лучше, значительнее, таинственнее. Секрет выдающейся работы талантливого мастера Леона К. остался секретом. Почтичь его человеку из внешнего мира было невозможно. Глядя на то, как он безостановочно трудится, склонившись над столом, можно было понять сутулость людей этого призвания. Бланке Леон не позвонил. Адине тоже не позвонил, ему было не до звонков, но в краткие мгновения отдыха и вдоха, он думал это сделать. Решить для себя, кому звонить первой из женщин, он не мог. Он не позвонил никому, да и последнюю нитку на правом рукаве Изино пиджака он перекусил своими сахарными зубами в три часа утра. Связал расщепленные концы нитки между собой, прищурив сильные глаза без очков. И так как он был совершенно трезв, то звонить никому не стал, усталость была сильнее его желаний и тайных рискованных картин сознания, хотя обнять Бланку ему очень хотелось. «Завтра, все завтра».

Леон поглядел на трудноразличимый пейзаж в черном окне с ледяным ночным воздухом и резким желтым контуром луны. «Надо бы бороду отпустить, буду неотразим», — решил он про свою внешность не так уж некстати. Леон вспомнил, как выглядел его бородатый отец во всей своей иудейской красе. «Выглядел, как послушник из религиозного училища, вон такие ходят возле телевидения в черных шляпах и лапсердаках туда-сюда, из Геулы обратно в Геулу быстрым шагом, в черных чулках, братья мои сердечные», — с этой оригинальной, неожиданной мыслью он, далекий от жизни этих своих братьев, как от этой самой луны, заснул.

Так завершились первые шесть дней Леона в Иерусалиме. К Изе с готовым костюмом, покрытым простыней из чистого холста, которую Леон привез из почти забытой им Москвы, автор не поехал, попросил это сделать за него Костю, чему тот оказался несказанно рад. Отметим, что Леон устал за эти дни от визитов к сильным мира сего, все это очень утомляло его душу. Вернулся Костя от Изи через пару часов воодушевленный, счастливый, окрыленный какой-то. «Я теперь твой вечный должник, Кравец», — выпалил он с порога. В руках у него

была бутылка шотландского виски. «Это «Лагавулин» двенадцатилетний, шотландский, лучший, тебе Изя прислал в подарок, напомнил, чтобы ты звонил ему обязательно, он широкий человек — даром, что деревенский кибуцник». У Кости был свой табель о рангах. Он посмотрел на Леона со жгучим интересом, как бы не веря своим новым знаниям о нем. Дани что-то прошептала ему на ухо, стесняясь, на первый взгляд, того, что произносила. Отошла в сторону, а затем и вовсе ушла на кухню. Костя же, казалось, злился на весь мир в этот момент, особенно на себя, где-то он сильно просчитался, так было написано на его подвижном лице. Что-то происходило в его жизни важное, сотрясавшее его подвижное сознание. Но, заметим, что он очень быстро освоился, очень быстро, наплевать, мало ли что бывает в жизни, в конце концов, со всем этим надо было продолжать жить, и он все-все рассказал Леону и Дани о том, что было в доме у Изя. Кое-что утаил напоследок, возможно, даже навсегда, неизвестно.

— Сначала в восторг от костюма пришла его жена, которую стоило опасаться больше всего. «Пол Ньюмен из фильма «Эксодус»», — вскрикнула она. — На самом деле эксцентричная дама взвизгнула, это слово Костя подредактировал. — Изя все интересовался, почему ты не приехал... Я говорил, что болел и прочее. Он принес бутылку и передал тебе в подарок, сказал, чтобы ты звонил ему обязательно. Не спрашиваю, что у вас за разговоры, парень, не мое дело, — глаза у Кости блеснули, как блестит обоюдоострый кинжал перед использованием, и он продолжил: — Потом он посмотрел сбоку на меня и спрашивает: «А что с тобой, парень? Зайди ко мне завтра к вечеру в канцелярию, поговорим о тебе. Года тебя очень хвалила и просила. Да и за русского портного я тебе должен, заходи часиков в пять, подумаем, куда тебя трудоустроить». Жена его тоже желает заказать у тебя костюмчик, брючный, желтый, от нее позвонят и назначат. Дела твои хороши, Кравец, заслужил.

Леон не хотел выпивать сейчас, он не был среди тех, кто пьет ежедневно, эта привычка у него еще не появилась.

— Двенадцатилетний шотландский первачок Изя подарил тебе, этот «Лагавулин», лучше его нету сегодня, цени эту дружбу, я вообще потрясен развитием событий: шесть дней как минута пролетели, а сколько произошло — невозможно поверить, мы еще проживем, будем надеяться, — Костя потерял обычную сдержанность и осторожность в своей речи. Леон поглядывал на него, не все понимая. Дани помалкивала, стараясь не смотреть по сторонам. — На, деньги твои, вот, бери и пользуйся. И еще новость: девушка моя, Дани, ты с ней знаком, как выяснилось в последние часы, беременна. Бутылка совершенная, смотри, как красива, Леон, — и он осторожно выставил виски на стол, протертый Дани.

— Поздравляю вас, большое событие, — Леон был и так растерян, а новость про беременность Дани только добавила ему волнений. Дани и так была очень хороша собой, а теперь, сопровождая слова Кости сияющей кожей лица, сверкающими глазами, она просто сбивала с ног своим видом женщины, настигшей наконец свое счастье.

— Сейчас мы поедем с Дани оформляться, свадьба будет осенью, у тебя документы готовы, Дани? — мгновенно Костя становился деловым и рациональным, что восхищало Леона все прошедшие дни. Дани метнулась в комнату весомой молнией пастельного дневного цвета и принесла пачку бумаг.

— Вот, милый, — осторожно протягивая их ему, как будто дарила ему девственность, так это виделось ревнивому Леону со стороны. Она очень боялась все время их связи, что Костя, как он виделся ей, ветреный и сложный весельчак, бросит ее в одночасье и оставит одну с невозможными воспоминаниями.

— Хорошо, собирайся, девочка, — просмотрев бумаги на весу, деловито сказал Костя, не глядя на него. — А ты будешь свидетелем у нас? Ты ведь не атеист, Леон, здесь религия не отделена от государства, так что давай, поедешь с нами. С деньгами неправильно себя ведешь, кстати. Чего ты их расковыряешь по карманам, это не фантики от конфет, потом будем с этим разбираться, дам тебе урок. Запад — не Союз, ты еще ничего не понял, Леня, но сейчас сначала рабанут. Ты готова, Дани?

Выскочила из комнаты Дани при полном параде, с пятнами румян на щеках, с горящими глазами:

— Я готова.

Костя глянул на нее и бросил в сторону еще фразу, этот день был днем его поучений:

— Похожа на новогоднюю елку, меньше краски, рабоним этого не любят, скромность дочерей Израиля — их девиз, гоним, братья, на пятой скорости, гоним.

Так он всегда заводился с пол-оборота и требовал, чтобы мир крутился вокруг него и его желаний. А он и так крутился вокруг него, без лишних напоминаний, такое было общее впечатление.

У машины их поджидал мужчина средних лет с внешнестью не сильно пьющего опытного токаря с номерного завода где-нибудь в Куйбышеве. Он был соответственно одет в стоптанные туфли на микропорке, глаженные чистые брюки, ковбойку с длинными рукавами, прическа под бокс. Было тепло на улице, но он явно не страдал от жары.

— Товарищ Сиротá, — обратился он к Косте. — Я — Павел, вам обо мне говорили.

Костя поморщился, как от переперченного блюда, брякнув тихим голосом:

— Смотри, как невовремя, какая непруха.

Он небрежливо взял мужчину пальцами за рукав у локтя, отодвинул в сторону, но посмотрел на него с интересом, изучая. Костя, вообще, не был брезглив. Какая может быть брезгливость, скажите, после семилетней зоны под Вологдой? Они о чем-то коротко негромко переговорили, ничего нельзя было разобрать, да Леон и не вслушивался. Костя выдал Павлу несколько сотенных купюр синего цвета, которые лежали у него в кармане, и написал фразу, на случайной бумажке несколько слов на иврите — адрес. Он очень любил играть роль щедрого спасителя, помогающего униженным и несчастным, у него это получалось, хотя Леон и раздражался,

чувствуя некоторую фальшь и преувеличение. Ничего и никого Костя, такое складывалось впечатление, не боялся и не стеснялся.

— Возьми такси, там на шоссе внизу, дай шоферу эту бумагу и поезжай в гараж. Хозяину скажи, что от меня, он говорит по-русски, он тебя возьмет, он все объяснит, давай, парень, давай, — он сел в машину, включил зажигание, но что-то вспомнил, отвертел окно и сказал: — Это там внизу, светофор на улице Газа, всегда проезжают такси, давай, парень... Нехороший и, как говорят на большой земле, некрасивый... Как дети малые вы все, честное слово, ничего не знаете, ничего не понимаете, — пожаловался Костя неизвестно кому неизвестно на кого и помчал, как сумасшедший, вниз по улице Шимони.

Полицейских Леон видел в Иерусалиме за эти дни дважды. Полицейские были ненавязчивы. Все больше Леон встречал охранников в странных куртках без рукавов, объясняя это спецификой общения с сильными мира, а не с простыми людьми. Так у него все сложилось. Это правда.

— Надо заказать визитки, напомни мне, Дани, — попросил Костя, продолжая на светофоре все время прямо мимо Футбольного парка. Костя этот был одна большая загадка для Леона, отгадать которую было ему не по силам. Небо было совершенно белого цвета, как это бывает поздней весной и в начале лета в Иерусалиме. Дневное солнце прямо перед ними в ветровом стекле машины как бы растворилось и покрасило все молочным цветом.

У Леона были неотложные и важные вопросы к Косте по поводу разных нюансов жизни. Но он молчал, не желая ставить его в странное положение. И потом, он был скромный человек, наш Леон, от рождения и воспитания. «Кто я такой, чтобы спрашивать и получать надуманные лживые ответы от своего товарища, а?».

У рабанута при входе стоял пикапчик, из которого парень в белом переднике выгружал лотки со сдобными булочками и баранками. Все было свежее, очень вкусно пахло, даже дымок шел, голова кругом.

— Любит народ поест в столице своей исторической родины, но загораживать путь нельзя. Только им ведь правила не писаны, только проблемы они могут нам создавать, — несправедливо весело выразился Костя, но поставил машину возле соседнего дома. Напротив была детская площадка с горкой. — Посмотрим, Даничка, какие нам нарисуют трудности хозяева жизни, но ты не бойся, я с тобой, и Леня тоже, отобьемся от врага, — сказал с обычной своей кривой усмешкой Костя девушке.

С равнинами получилось на удивление легко и просто. Три ступеньки в низком здании из иерусалимского камня, тяжелая дверь и коридор с быстро передвигающимися людьми в черных шляпах и черных лапсердаках. Их принял худенький, с белоснежным лицом невысокий человек, на котором была кепка или что-то вроде нее, он был в кургузом советском пиджачке и серой рубахе, наглухо застегнутой у кадыка. «Фабрика «Большевичка»», — безошибочно и с некоторой трогательной теплотой определил создателей клифта Леон. Равнину было все равно, что на нем было надето. И это не казалось, а было так на самом деле. Глаз у него был пытливый и сильный. Он поговорил с Костей на идиш, затем спросил, опять же на идиш, у Дани о подробностях ее детства, та с удовольствием отвечала, все она знала про кидуш и тфилин, идиш ее был совершенным, и Исаак Яковлевич, так этот человек представился им, просто был счастлив.

Костя пригляделся к нему и вдруг спросил:

— Извините меня, ради бога, вы ведь были, уважаемый, у хозяина, да, Исаак Яковлевич, на нашей сложно устроенной родине?

Человек не удивился вопросу, ему часто задавали разные вопросы на самые неожиданные темы. Он всяких выдвигал здесь: и из Псковской области, и из Потьмы, и из Магадана даже, который вроде бы закрыли, но для некоторых оставили.

— Да. Четыре года с половиной под Иркутском, правда, раньше вас сидел лет на восемнадцать, но вот видите, вы-

жил — и Творец удостоил меня приездом в Иерусалим, — сказал раввин, не смущаясь.

Костя остался доволен этим ответом и судьбой этого чудесного человека. Своих вопросов он не стеснялся. А чего? Все можно. Он считал, что ему позволено, хотя это было не так и ему никто ничего не позволял. Никто не спрашивал за это с него пока. Леону старик-раввин понравился очень, он захотел с ним поговорить.

— Сошью вам лапсердак, всем лапсердакам лапсердак, — сказал он Исааку Яковлевичу, — а то непорядок, все вон как ходят, а вы, наш человек — нет, это неправильно.

Исаак Яковлевич побелел еще больше, чем был до этого, испуганно отодвинул от себя эти слова руками:

— Что вы, что вы, мне ничего не надо, у меня все есть, абсолютно все, за все спасибо.

Костя тут же понял, как и почему этот человек выжил в Красноярском крае на зоне, это было не так сложно понять, потому что его известно кто охранял. Кто же охранял Костю, ему самому было известно досконально, хотя иногда у него самого и возникали сомнения в прочности этой охраны. Исаак Яковлевич разрешил Косте и Дани бракосочетание.

— Вы только поговорите с рэбецен, уважаемая, она вам все объяснит и расскажет, как и что, — сказал Исаак Яковлевич Дани. — Еще пол часа, не переживайте.

Дани прошептала, что «да, конечно, подожду ее».

— Она все и так знает, Исаак Яковлевич, сама может любую научить, — хохотнул Костя. Старик посмотрел на него, и Костя запнулся, что случилось с ним редко. А вот сейчас случилось.

— Фокусник ты, Леня, не понимаю, как у тебя получается. Нравишься людям, большой плюс, — сказал Костя на обратном пути. Правой рукой он обнимал Дани за плечи, чего не делал при Леоне за это время. — Теперь вижу, что и на самой суровой зоне ты бы не пропал.

Поверх головы Дани Костя показал лицом, что вот мол, брат, несу ответственность за нее, знай, брат, ничего не по-

делать, сам приручил. Он посмотрел на Леона доверительно, если можно было бы ясно определить что-либо точно на этом непрерывно меняющемся бритом лице.

— Свадьба будет в сентябре, имей в виду, Леон. Мы будем рады с Дани, правда, Дани, если ты придешь. Будешь нашим почетным гостем.

Леон держался за петлю над дверью. Петля была сделана из плетеного пластика, очень удобная придумка скандинавов.

— Будешь нашим гостем на свадьбе, окажешь нам с Дани честь? — переспросил Костя. Он был настойчив, почему то ему было очень важно, присутствие Леона на их свадьбе.

— Конечно, буду, обязательно буду, — сразу ответил Леон, он и не думал отказываться.

— И сандаком на брите сына тоже будешь, — у Кости было несколько важных кандидатов на роль сандака, но он хотел, чтобы им был только Леон Кравец. Такова сокрушительная сила таланта, стоит об этом помнить. Костя еще не знал, будет у них мальчик или девочка, но уже помечал будущее торжество.

— А вот эта машинка серенькая, которая едет за нами по пятам весь день, мне не нравится. — Мои связи и знакомства в высшем свете проверяют, ну-ну, давайте, парни, бог в помощь. Живем, Дани, живем. Четырех детей хочу от тебя, поняла?!

Женщина сидела ни жива ни мертва, не веря в свое счастье. После ужина расслабленный и непривычно тихий Костя доверительным голосом рассказал Леону:

— Я же почти весь мир объездил за эти годы здесь, всюду побывал, все познал. Денег заработал столько. Скажу тебе, чем бы я хотел заниматься на старости лет. Был, например, в Сиаме, Таиланде, как его называют нынче. Приехал на остров, который расположен в череде других островов. Джунгли и пляжи. Добраться до него можно только на пароме, сорок минут от ближайшего причала. Паром всегда перегружен: горы чемоданов, туристы со всего мира, все лезут туда, в эти

джунгли со своими туманными надеждами, в джунгли с игуанами, боевыми петухами, кокосами, азиатскими желтоклювыми скворцами майна, буддистскими храмами и всем тому подобным. Но я не об этом, не об этом, я вот о чем. На пароме том работают жилистые местные мужички непонятного возраста. На них надеты выгоревшие на солнце кепки с опущенными на уши и шею полями. Они дочерна загорелы, белки глаз сверкают, худые руки летают вверх-вниз с непомерными чемоданами и рюкзаками, они улыбаются старикам и детям, они совсем не разговаривают, едят горстки риса и зеленых овощей, и все. Их рейсы в будние дни проходят четыре-пять раз ежедневно всю неделю. Я видел, как они расходятся после рабочего дня, вымотанные и высушенные, обугленные, молчаливые, вымотанные, никакие. Вот там я бы хотел работать паромщиком, Леня, в конце всего этого...

Костя мог удивить. Он громко провозглашал политические лозунги верности еврейскому делу, у него хорошо получалось, потом он выражал оголтелую привязанность к еврейскому дому, он делал карьеру, пренебрегая брезгливостью — и на тебе... Удивил. Любой человек может удивить, а уж такой, как Костя...

Вот, собственно, и все.

Костя и Дани поженились. Была большая громкая свадьба с большим количеством приглашенных. Вел церемонию Исаак Яковлевич, одевшийся по-прежнему скромно, чисто, прилично. Косте удалось ему вручить конверт с деньгами, чем он гордился, потому что этот человек денег не брал. «В Иерусалиме этого нельзя», — говорил. Костя ему сказал, чтобы деньги пошли бедным, и этот человек согласился. Заметим, что у Кости было чувство юмора, хотя и весьма своеобразное.

— Видал, какой город? — спрашивал изредка Костя у Леона. — Наше все — этот город, что мы все без него, а, согласен?

— Да, согласен, — отвечал Леон.

Все пришли на свадьбу, никто не увильнул, не нашел причины. Изя был в костюме, пошитом русским. Изя, как всегда красивый, монументальный, с медальным профилем командора, пришел с супругой. Они быстро ушли, но были. Были еще второстепенные депутаты, румынский посол, которого Чаушеску не отозвал после Шестидневной войны (чтоб было)... Костя очень любил летать в Бухарест, хвалил этот город, нахваливал суп чорба, говорил, смеясь: «Цыгане шумною толпою», — и вообще... Были два-три генерала, собранные дядьки из израильских контор, люди с ТВ, продавцы продмагов, пан Влодек... Были Арик и высокорослый профессор Игаль, новая звезда в политике. Была соседка Кости по тому дому на улице Шимони (первый дом на родине?) госпожа Толедано с мужем. Она оказалась пышной красавицей с цветным тюрбаном на голове. Она не ела фаршированную рыбу: «Как на это можно просто смотреть, скажите?! У нас такое не едят». Костя был в батистовой рубаше со стоячим воротником, которую ему скроил Леон. Дани была одета в традиционный белый наряд невесты. Госпожа Толедано сказала, ни к кому не обращаясь: «Красивая пара, ничего не скажешь, даже невеста ничего выглядит».

Помимо основного оркестра был еще джазовый квартет гениального альт-саксофониста из Питера Ромы Ку-на, Виктора Ф., Немы П. и ударника Ареле из местных, доморощенных гениев, которые улащали слух во время перерывов на блюда. Напротив них сидел с бокалом шампанского в огромных ладонях Эйзер, он млел от счастья и постукивал в такт музыке, в которой знал толк.

Много кого было на той свадьбе. Все пили, ели, веселились. Только Годы Исааковны не было, она уходила отсюда в другое измерение в больнице Хадасса, ей было не до праздников и веселья. Костя приезжал к ней в больницу прощаться, она его не узнала. Когда он рассказывал об этом Леону, то вытирал мокрое от слез лицо движением сверху вниз мятым кухонным полотенцем, забытым на столе Дани.

Леон неуклонно набирал славу и богатство, ездил раза три в Париж, работал у знаменитых кутюрье, но не мог прижиться. Кутюрье — кутюрье волк, разве нет?! Он возвращался в столицу евреев и опять набирал заказы и деньги. Купил себе дом в Тель-Авиве и еще один в Яффо. Костя рассеянно и подробно растил сына, который занимался большим теннисом, увлекался математикой и подавал большие надежды, радуя мать и отца. Дани набрала вес, но выглядела все равно прекрасно, вела хозяйство, изредка выбираясь в Милан, где покупала себе вещи для гардероба. Милан был ее важнейший город в этом пристрастии к одежде. Никогда она не спрашивала Леона о моде, обходилась собственным мнением.

С Лазиком Т. Бланкиным отношения у Леона не сложились. Лазик был спортсмен, боец, многое понимал, Костя его, кажется, сдерживал. Лазик смотрел на Леона с подозрением. При желании можно было прочитать отвращение в его в темном взгляде. Бланка позванивала Леону и приезжала к нему в дом — это то, что можно сказать об этих людях и их отношениях.

Но произошли важные и неожиданные события, которые поломали многие планы на будущее и настоящее. Так бывает довольно часто в жизни.

В Союзе неожиданно для многих начались большие перемены. Костю, не предупреждая заранее, внезапно арестовали. Дело было в Тель-Авиве на улице Алленби, при входе в банк. Гром среди ясного неба. Все-таки он был известный и успешный бизнесмен, благотворитель, все его знали. Был большой шум, его обвинили в сотрудничестве с советской «конторой», как говорили в России. В газетах писали, что Костя был офицером секретной службы и передавал в Москву, и это было документально доказано, чертежи и планы. Чуть ли он не был подполковником, точнее было неизвестно. Где-то произошел прокол у них, чуть ли не в Америке, кто-то предал или продал — и полетела вся цепочка. Костя расплатился за все, за все дела.

Леон очень переживал эту историю, потому что все это не вязалось с этим человеком. Но факты говорили о другом. Косте дали двенадцать лет. Он отсидел восемь в тюрьме, где он сидел в одиночке, неожиданно заболел и быстро умер от лейкемии. Досужие языки, которых всегда много вокруг подобных историй жизни, рассказывали, что новая власть в Москве просила за Костю Сироту, ничего не опровергая, в Иерусалиме хотели его освободить, чтобы навести мосты. Леон ездил к нему на свидание. Он не верил ничему, что говорили и писали про этого человека. На чем они его поймали в Союзе, чем зацепили, он не знал. Леон увидел в газетах фотографии родителей Кости: рядовые люди с семитской внешностью, никакой внешней связи с сыном найти было нельзя. Иногда Леон думал, что Костя мог по своей воле пойти на службу в контору, с него станется.

На разрешенном свидании Костя был шумен, стеснялся, отводил глаза и говорил Леону, что вот он выйдет — и все всем докажет. Что докажет, он не объяснял. Наверное, он имел в виду свою святость. Он был бледен, натужно кашлял и впервые за все время их знакомства показался Леону растерянным человеком. Еще бы! Леон верил ему с трудом, что не влияло ни на что, его привязанность к Косте можно было назвать абсолютной. На Косте ощутимо лежала и видна была ясно тень огромного неисправимого несчастья. Он рассказывал, что хорошо сидит, ест, когда хочет, икру, и что ему водят девочек по заказу. «Перестал верить в любовь, веришь, а ведь что думал, что думал! А она ни разу и не пришла, не проведала, не спросила, как ты там, Котик, не мучают тебя, а? А я, идиот-то, думал, что на всю жизнь это у нас». Леону показалось, что при этих словах у Кости Сироты появились слезы на его безумных глазах, но ему вполне могло это и показаться. Но кто же виноват во всем, кого винить? В конце их встречи Костя сидел, как приговоренный, сгорбившись, глядя в пол и зажав руки между колен. Леон ушел оттуда в ужасном состоянии безнадежной тоски.

Адина уехала в неизвестном направлении, точно не на родину, кажется, ей дали уехать, не желая раскрывать лиш-

ние подробности. Зачем? В подробностях дьявол, говорят. Верно, кстати.

Дани с сыном уехала, ни с кем не прощаясь, куда-то на север, и о ней не было слышно ничего. Так бывает, время всех убирает или стирает, ничего с этим не поделывать.

Леон, любитель поэзии, купил в русском книжном магазине Болеславского коллективный сборник стихов неофициальной русской поэзии. Мягкая обложка, странный рисунок на ней. Ему понравилось среди многих других замечательных одно стихотворение, которое он пытался выучить наизусть, но не сумел, потому что голова его была занята эскизами костюмов и платьев. Однажды Леон сшил по заказу костюм французскому депутату, большому любителю высокой моды, который ради талантливого еврея изменил самому ПК. Но дальше этого дело в покорении Европы не пошло у Леона.

Калитку тяжестью откроют облака,
И бог войдет с болтушкой молока.
Ты не потянешься, но ляжешь наповал
Убитый тем, в чью душу наплевал.
И ты увидишь в черном полусне
Летя вразброд на вещем скакуне
В твоей спиною созданной ночи
Мечта богов воплощена в печи.

Лазик со странной фамилией Талалай, мускулистый врач-стоматолог, тоже исчез. Все исчезли кроме тех, кто еще не исчез. Бланка этого Леона, паренька с костлявыми ключицами, не забыла, по ее словам, не могла забыть, хотя прошло довольно много времени. Она была не при делах, ничего ей не вменили, хотя она и производила впечатление, что что-то знает. Но она, и это было очевидно любому, просто безговала всей этой крысиной возней, мать и тетки ей не разрешали своим существованием участвовать в таком. С тех советских славных дней Леон сохранил золотой перстень

армянского человека в Москве. Тимур исчез, как в воду канул, потому что должен был исчезнуть. Существовал ли он, было непонятно. В Москве легко исчезнуть, не правда ли. Впрочем, в Иерусалиме тоже не проблема исчезнуть — раз и все, и нету тебя. И это почти нормально, в порядке вещей. Так Б-г все расставляет по своим законным местам.

Все эти люди, о которых здесь шла речь выше, тоже заняли свои законные места. Они жили недавно в Иерусалиме, а некоторые продолжают в нем жить и дальше с успехом, который можно назвать переменным.

Большинство из них кануло в неизвестность без следов и частых воспоминаний. Так это все устроено.

Поработать на том пароме, курсировавшем между островами, Косте так и не удалось: ни грузчиком, ни моряком — никем. Он бы и не смог там работать, даже если бы пошел устраиваться, это было ему не по силам, потому что возраст, здоровье, климат. Да мало ли что. И европейцев там среди экипажа не наблюдалось, брали только своих. В Азии и вообще сложно с происхождением, с гражданством. Бедные европейцы. Мечты не всегда сбываются даже у таких сильных, страстных, незаурядных и сложных людей, каким бесспорно был совсем недавно Костя Сирота.

Леон, красивый, легконогий, с сильным плоскостопием человек, полный сил, при деньгах, не совсем уверенный в себе мужчина, прекрасно одетый в лично им самим пошитый костюм из легкой ткани, потом, после всего, съездил в Сиам и добрался до заветного острова розовой мечты Кости Сироты, проделав весь путь из Тель-Авива в Бангкок и на юг дальше. Он перелетел по воздуху несколько таинственных азиатских стран, не заметив пересечения границ с высоты 10 000 метров, как объявил пилот. Он съел в три часа ночи обед в самолете из трех блюд, даже не заметив их калорийности. Вся история с перелетом заняла у него 16 часов, вместе с транзитом. До полета он считал, что все будет продолжаться более длительно и утомительно.

Прилетев на большой остров, Леон взял билет на паром, дождался его, независимо зашел на него, как дэнди, и доехал

за 40 минут до другого зеленого острова поменьше, о котором ему так восторженно говорил Костя. Он не чувствовал огромной жары, хотя все вокруг просто пылало и сгорало на глазах. Несмотря на солнце, зелень вокруг была необъятна, бесконечна, свежа. На причале в ленивых позах валялись собаки, которых никто не пугался и не прогонял. Туристы, в основном, полуголая европейская молодежь, обходили их с улыбкой. Причал был заасфальтирован, чист, размечен белыми линиями парковки и ухожен строгими смотрителями.

Леон подробно пронаблюдал работу паромщиков, их нетоимый труд, движения их худых жилистых тел, их высокие голоса, их редкие слова, их улыбки на собранных, обугленных от солнечного цвета лицах. Он три раза проехал туда и обратно, с большого острова на Костин любимый остров. Два раза за это время начинался сильный дождь и внезапно замирал.

Леон уже кивал, сложив ладони вместе перед собой, паромщикам, как знакомым. Они отвечали ему тем же. Он съел в обед два круглых куска риса с остро заправленной рыбой в целлофановой упаковке из буфета на пароме. Девушка, гладкая и сдобная, с веселыми глазками на юном белом лице, отпускавшая продукты за прилавком, казалось, только что слезла с шеста на подиуме в ночном пьяном портовом клубе. Леон не постыдился своих мыслей. Деньги он поменял в аэропорту, удивившись толщине пачки батов с изображением короля из наследной древней сямской династии Чакри. Баты ему отсчитал деловой мальчик, похожий на смышленного и быстрого ловкого сурка. Леон отдал ему двести долларов — и тот отсчитал ему пачку тысячных местных купюр в своей стеклянной будке, шевеля губами и кивая в такт счета.

Леон не понял ничего из жизни, происходившей вокруг него, но кое о чем догадался без объяснений. Он все принял во внимание. Он не впечатлился ничем, все запомнил по привычке. Он сильно загорел, хотя на солнце и не выходил вовсе, и вообще, два неполных дня, о чем речь... Ничего он не понял, это было невозможно все понять за один день. А

тут храмы и золотые статуи, монахи в желтых одеждах, все определяющий — как и что и почему надо делать и поступать так, а не иначе — король, и свободный многочисленный самодостаточный народ, который никогда не завоевывали и землю которого не оккупировали даже в древности. Самомнение этого Леона было большое, не по статусу, а он сам был простой и нескромный человек. Несоответствие опасное.

Ближе к вечеру он, вопреки намеченному еще в Иерусалиме плану, вернулся в Бангкок на последнем в этот день самолете с острова, решив, что больше здесь делать нечего. Решение он принял интуитивно. Ночью, в кромешной азиатской тьме, он улетел обратно домой. Сработал инстинкт самосохранения. Было очень тепло, но не душно, 29 градусов по Цельсию, можно жить. Ему хватило всего сполна, деньги из пачки забили ему весь карман до отказа. Неприлично как-то, но ничего не поделать. Скорее бы их истратить. Но на что? Девицу в буфете можно было бы приобрести, но настроение Леона не соответствовало, да и общая ситуация была против этого, территория чужая и время тоже. Ну, не с руки, что бывает. В другой раз. А будет этот другой раз? — ответьте Леону. Деньги жгли ему карман, неприятное ощущение. Дарить кому-нибудь деньги Леон стеснялся.

Полет на этот остров, любимое место уже умершего незабвенного Кости, занял у Леона почти двое суток. Он вернулся домой с облегчением, потому что прибавить еще гармонии и счастья к своему, уже приобретенному, было нельзя. Получался переизбыток, а это не всегда хорошо и возможно. С этим испытанием счастья очень трудно выжить, буквально так. Никаких не нужно перемен, особенно если постоянно проживаешь в Иерусалиме. Есть вещи, которые нарушают обретенный порядок и мешают существованию. Леон вернулся на ночном переполненном самолете в прежнюю несовершенную жизнь умиротворенным, спокойным и почти счастливым. Как и должно, вероятно, быть в идеале, к которому мы все инстинктивно стремимся.

Полуденный, напоенный небесным голубым цветом пейзаж Сиама, продуваемый западным пронзительным морским ветром, насыщенный зеленью прибрежного леса, белым песком пляжа и линией горизонта с рыбачьими лодками и ловкими белоснежными парусниками, Леон запомнил надолго, и, кажется, навсегда. Это произошло независимо ни от чего. Просто расположилось в его памяти рядом с изображением пологого Иерусалимского холма напротив Бейт Вагана, возле белого контура Курского вокзала в Москве, накрытого густым снегом мартовской ночной метели, и сразу за картиной черной мокрой набережной у Калинкина моста, с приближающейся низкой фигурой человека в железнодорожной шинели... Да мало ли чего необъяснимого хранится в нашей памяти.

2023

ИГРЫ С ДЬЯВОЛОМ

Склонившись в три погибели и с усилием надев в прихожей легкие туфли из мягкой кожи, он вышел из массивных дверей своего дома в городе-спутнике Тель-Авива в 20 часов 30 минут ровно — судя по тонким, баснословной цены часам «Омега» с кожаным ремешком на запястье. Просто, красиво, дорого. Он был легкий моложавый человек, все замечавший вокруг цепким, блестящим и жестким глазом. Он себе нравился таким. Дочери Иври Талии было одиннадцать лет, а третьей по счету жене его и маме Талии, Эсти — сорок четыре года. Перед работой Иври любил оставаться один, без лишних звуков и движений, вблизи себя.

Всегда он был точен, обязателен, пунктуален, несмотря на свой образ циничного весельчака и насмешника. Жена уехала за дочуркой, которая ходила в кружок под названием «Юная смена науки». Эсти даже их собаку, золотистого ротвейлера Джефа, забрала с собой, потому что человеку надо собраться перед эфиром. Здесь у нее был перебор, но в этом случае лучше было перебрать, чем недобрать. Эсти, зрелая ухоженная женщина, дерзко-красивая и уверенная в себе, побаивалась и остерегалась приступов раздражения и взрывов гнева мужа, его сужающихся гневных серых глаз, его сжатых губ и неподвижных сухих кистей рук. Не буди, дорогая, лихо, пока оно тихо, твердила ей мать из бывших беженцев, в корявом, но понятном переводе на иврит. Будить все это и переживать снова Эсти не хотела и не желала ни в коем случае. Кроме одного, конечно, известно какого, но там — это совсем другое, не гнев, но страсть.

Жил Иври Сандер с семьей в новом коттедже с соседями за стеной. У него был уголок, надежно огороженный непроходимыми кустами мирта и лавра, с густым изумрудным дерном, с цепким креслом и столиком под брезентовым огром-

ным зонтом. Он выходил часов в 6 утра босым на мокрую траву и минут двадцать делал в одиночестве странные ударные упражнения по системе карате кекусинкай, что значит, вообще, «высшая истина». Потом он пил чай особой заварки, дышал полной грудью и снисходительно думал о проходящей жизни. Что тут добавить еще, когда Иври всерьез думал о себе как о «сверхчеловеке».

Из парадных дверей во двор вела мощеная черным базальтовым камнем дорожка, которую Иври преодолел быстрым шагом. Он вышел из дома на улицу и сразу увидел машину.

Такси, светлого тона «Мерседес», ровно гудел в углу окруженной деревьями стоянки, шофер в кожаной кепчонке с надвинутым на глаза козырьком не выказывал признаков недовольства. Иври Сандер не умел, не мог опаздывать, просто никогда этого с ним не случалось. Передача его начиналась в прямом эфире в 23 часа ровно, он всегда появлялся раньше времени, уверенный легкий насмешник, не веривший никому и ничему с некоторых пор. Ему было за шестьдесят, он не любил разговоров о возрасте, пресекал их на корню, переводя и обрывая разговор на эту тему на полуслове.

Телестудия находилась на холме, к которому такси, не перенапрягая двигатель, подъехало с легким кинематографическим шорохом шин, остановившись точно напротив ярко освещенного внушительного вестибюля в дорогом камне и сверкающем стекле. Был декабрь на дворе, и к вечеру свежело, деревья шумели под порывами ветра.

Его верная помощница Лимор, сопровождавшая своего седого неожиданного хозяина уже лет двадцать пять, если не больше, принесла ему большую чашку чая с двумя ломтями лимона без сахара, как он любил. Лицо его было без морщин, которые могли бы уже появиться с годами, но их не было — благодаря надежной «русско-белорусской» генетике, умеренному, взвешенному питанию и подчеркнутому равнодушию. Он и не курил уже много лет, пил изредка и ограниченно, думая про себя хорошо. «Я человек почти без недостатков», — с ухмылкой бормотал он, поглядывая на свое изо-

бражение с некоторым удовлетворением в овальное зеркало после утреннего бритья. А еще он был ленив, как, впрочем, многие другие люди.

— Ну, что там у нас сегодня? — беря в левую руку разлинованный лист с именами гостей и темами разговора с ними, разборчиво, от руки изложенными в соседней с именами колонке. Он говорил себе под нос, недовольным тоном, близко-руко разглядывая лист на вытянутой вперед правой руке, не забывая прихлебывать чай и мелко шагать к гримерной. Очки в незаметной для постороннего взгляда оправе он надевал в особых случаях. На этот раз все выглядело привычно и спокойно, как он любил.

— Так, так-так, все понятно, будем работать не покладая рук, посмеемся с привычной дозой толерантного трагизма, Ашер здесь? — спросил он.

— Звонил, что будет скоро, просил не волноваться, — сказала Лимор. Усмешку Иври, услышавшего, что соведущий еще не приехал, но скоро будет, никак нельзя было назвать дружелюбной. Зубы у него были безукоризненного цвета и вида, он очень следил за своим здоровьем и внешним видом. Положение обязывало. Иври был более сорока лет в этой профессии, связанной с разговорами, вопросами, ответами, выяснением правоты и тому подобное. Он дорожил своим положением и статусом, хотя, как он считал, никогда этого не демонстрировал другим людям. Жила в нем известная наивность, с чем он, услышав про это свое личное свойство, никогда бы не согласился.

Иври про себя думал, вернее, очень надеялся, что играет в какую-то почти равную игру с дьяволом, находя в своем лице резкость и вселенскую тайну. Вера в собственную прозорливость, на самом деле, обходилась ему дорого. Иври этого не замечал и проходил свои ошибки легкой рысцой, если можно так сказать. Потому что он считал себя суперменом, сверхчеловеком. Сразу все ненужное, по его мнению, забывал, как будто ничего и не было. А на самом деле, было — и частенько было.

Ашер же был много проще, живее, наивнее. Ничего специального он не разыгрывал, был далек от этой ничем не оправданной надменности коллеги, его снисходительных и часто злых шуток над собеседниками и всего этого его ужасного собирательного образа. Далек от популярных спортивных утех. В последнее время он называл Иври «мистером Рипли» по имени героя черно-белого телесериала про невозмутимого мошенника и убийцу из не столь далекого прошлого, нелепого, страшного, ледяного. Геометрически красивый, таинственный фильм этот, пугающий и странный, поразил многих зрителей, а Ашера особенно. Иври откликнулся на это обращение к нему, не меняясь в лице и не нервничая, но в глубине души это его раздражало. Демонстрировать или выказывать свое недовольство он себе не позволял, еще чего. Только иногда он забывал о своем холодном воспитанном аристократизме — и у него прорывалось обращенное к Ашеру слово «еврейчонок». Вот на это Ашер обижался, буквально сходил с ума, обещая избить Иври до крови, до больницы, до приемного покоя, но быстро успокаивался после извинений и приглашения на кофе в знак примирения от невозмутимого оскорбителя.

Ашер был совершенно неспортивен, далек от контактных видов спорта, пару раз в неделю занимался сквошем для разрядки, но было в нем сильное независимое начало. Его угрозы ударить противника стулом были реальны. Иври это все отлично чувствовал и понимал, цenia как что-то, что было необъяснимо и совершенно непонятно.

И Ашер появился, улыбочивый, очкастый, свежий мужчина с прямыми худыми плечами, одетый дорого и даже парадно, как будто бы он намеревался идти на прием в посольство великой державы.

Он бы очевидно ведомым в их с Иври дуэте. Он был человеком откровенно второго плана, что ему не мешало. Зачем? Мне и так хорошо, мир доброжелателен, мои намерения самые лучшие. Ничего он не нес за плечами, никакой скрытой иронии и насмешки, сразу пошел за Иври поговорить перед эфиром и обсудить то, что нужно было обсудить. Гримерша

Тали, которая была в него влюблена, сделала ему кофе, и он благодарно отглотнул напиток, белозубо улыбнулся ей безо всякого намека на кокетство. Он был давно и крепко женат, одна только его личная жена находилась в сфере его сексуальных мечтаний. Он был с ней с восьмого класса, с пятнадцати лет. Другие сладкие возможности возникали у него постоянно, потому что телевидение создает много возможностей всем без исключения, но он всегда очень мягко отказывался от любых предложений, стараясь никого не обидеть. Хотя женщины и обижались, конечно. «Что не так со мной?» — спрашивали девушки его и себя тоже. Что ответить, он не знал и терялся. Да-да, терялся. Битый, тертый кормленный волк, с коротко стриженными жесткими волосами, с глубоким шрамом от носа к уху из детства, побывавший всюду по работе, да-да, терялся, что прибавляло ему в обаянии и привлекательности. Ашер был младше Иври на четырнадцать лет, хотя по внешнему виду можно было решить, что разница была все двадцать лет и даже больше.

После очередных головокружительных тектонических и, заметим, ожидаемых событий для Израиля и живущего в нем населения кое-что изменилось в интонациях актуальных телепередач. Что-то скрипнуло и приостановилось в голосах ведущих. Иври как мог и как умел продолжал держать фасон. Ашер чуть выпадал из мелодий и настроений их тандема, это было заметно всем. Необъяснимые катаклизмы возникали здесь, на краю Средиземноморья, по известным причинам всегда без предупреждения с известной периодичностью, каждые 5, 8, 15, 50, 70, 120 и 2000 лет — цифры между ними можно называть произвольно. Кто-то там наверху, неназываемый вслух, насылал и отыгрывал с иудеями свою суровую задумку.

На Ашере, как и всегда, был аккуратный костюм цвета мокрого асфальта, расстегнутый пиджак, очень узкие брюки, рубашка без галстука, лакированные ботинки. Иври оглядел его своим известным всем насмешливым взглядом, ухмыльнулся в сторону, лицо его было при этом неподвижно. Ничего специального по этому поводу он не сказал, ничего едкого и опас-

ного, только подметил: «Тебе идет жениться, душа моя, ей богу». Ашер просто не слушал его, он знал, что Иври нужно размяться перед эфиром. Да на здоровье, брат.

Они присели за стол в гримерной и поговорили о передаче. Говорил в основном Иври, Ашер отмалчивался, взглядывая на него как на незнакомого человека.

— Первые двое ясны и понятны, все одно и то же бормочу, ничего нового, а что дальше? — Иври не спрашивал, что дальше. Так, проверка слуха.

— Там певец, солдат, обнаруживший в себе талант повара высшей категории, еще необычная женщина, всего шестеро, как всегда. На каждого 8–10 минут, плюс минус, — разъяснил Ашер расклад сил. Он не заглядывал в лист. Все помнил наизусть. Когда он со всем этим успел ознакомиться, было непонятно, наверное, Тали рассказала по телефону, больше некому.

В раскрытых дверях показался редактор передачи Ури, похожий на запыхавшуюся лошадь, которая вырвалась, наконец, на волю. Он тяжело дышал. Он всегда ходил так, как будто находился в полной темноте. И света вокруг не было совершенно. Но ходил он быстро и гулко. В руке он сжимал пачку сигарет и одноразовую зажигалку.

— Ознакомились, все в порядке? — спросил он их издали своим высоким редакторским голосом.

— Ты любопытен не в меру. Не нервничай, Слоним, сделаем на отлично, посмеемся, — отозвался, не глядя на него, Иври. Он, быстро водя глазами, читал обязательный листок от редактора, на котором были отпечатаны краткие биографии будущих героев программы, их фотографии из интернета и темы разговора с ними.

— Так-так-так, очень интересно, а что это за дама, тренирующаяся к чемпионату *айрон вумен*, а? Как-то не на месте, нет?! Сейчас? Кто это придумал? Или я что-то упустил, Ашер? — Иври потер выскобленный худой подбородок, отхлебнул чая и поднял глаза на Ашера. Тот неподвижно смотрел перед собой. Ури Слоним потоптался в дверях и потопал дальше, нагнув плечи вперед, как делал всегда при ходьбе.

Ури Слоним всегда был очень занят, куда-то торопился — такое он производил впечатление на окружающих. Да он, и правда, торопился неизвестно куда, есть такая категория людей. Все их знают, всем они известны. Шаги его долго не стихали в пустом коридоре.

— Так ты не знаешь, при чем здесь эта *айрон вумен*? Похожа на девочку-Буратино вообще. Деревянная *вумен*, а не *айрон*, не находишь, э? — опять спросил Иври. Усмешка его была из породы беспощадных, он ее тренировал специально. Ашер пожал плечами и помотал головой:

— Не знаю.

— Так, все понятно с тобой и со всей этой конторой, никто ничего не знает и не хочет знать.

Иври отложил бумагу, сжал еще свое лицо, пересел к зеркалу напротив — и к нему тут же подошла гример Анна, мать-одиночка, женщина без возраста, репатриантка из города на Неве. Она пришла из соседней комнаты в голубом рабочем фартуке со своими коробочками, кисточками и склянками в руках и кармашках. По своему внешнему виду Анна подходила идеально к этому Иври: собранная, поджарая, привлекательная, готовая к насмешке и отпору женщина непонятного года рождения. Она была в модных очках на пол-лица. Они ей очень шли. Ашер про себя, исключительно про себя, называл ее «женщина-вамп». Иври всегда спрашивал у нее с серьезным лицом: «А зачем у тебя такие большие очки, дорогая Анна?». Она всегда отвечала ему одно и то же, к удовольствию присутствующих: «Чтобы лучше видеть тебя, мой дорогой». — «Вот ведь женщина какая невероятная», — думал о ней Иври Сандер почти восторженно. Он считал, что знал толк в них.

Иври смотрел на себя в отмытое зеркало в зеленой овальной рамке с таким видом, как будто ожидал услышать аплодисменты из этого радужного, блестящего на свету предмета. Анна кивнула Иври, взяла с края стола большую кружку чая, отхлебнула и принялась за лицо своего подопечного. Она была лучшей мастерицей своего дела. Ее местные коллеги в профессии молча признавали превосходство. Ей же, казалось, до профессионального признания не было

никакого дела. Виду она не подавала. Она служила в БДТ — и это говорило обо всем. Так она считала. Никто на студии не знал, что такое БДТ, кто такое БДТ. Только грузчик в буфете Илья и электрик Виктор слышали об этой организации, хотя и не посещали. Они были из других мест необъятной РФ, и в СПб бывали только во время школьных каникул — Петропавловка, Эрмитаж, Летний сад, Петродворец. «Мы устали, Елена Петровна, давайте посидим на лавочке, здесь, на Малой Садовой...» — «Ну, что с вами поделывать, ребята, давайте посидим».

Все эти русские реминисценции, расслабляющие игры памяти никому не были здесь интересны.

— Здравствуй, Анна, прохладно стало, правда? — поинтересовался Иври. Женщина поздоровалась с ним, пожалала сливочными плечами и сказала:

— Не знаю, ничего не могу сказать, но к вечеру действительно очень свежеет, Иври.

Иври симпатизировал этой женщине, подозревая за ней насыщенную сексуальную энергию, эмоциональную усталость, да и много чего другого. Например, образование и жизненную незалеченную травму. Все было правильно. Только коммунальную квартиру на улице Радищева он предположить не мог, не умел.

Первые три *айтема*, как называл редактор Слоним отрезки программы, были ожидаемы и прошли, благодаря Иври, благополучно и удовлетворительно. Первым собеседником был парень с детским серьезным лицом, который принял на себя нападение группы из восемнадцати террористов, которые пытались пробиться, поддерживаемые шквальным автоматным огнем, на территорию поселения. Парень первого года службы, не боевой солдат без специальной подготовки, дежурил в ту ночь на больших воротах, скучал и считал минуты до прихода сменщика, когда все началось. У него оказалось шесть магазинов с патронами, две гранаты и, по счастью, бронежилет с жирной фиолетовой надписью на поясе «Зоар Коэн 2-й взвод».

В перестрелке он получил пулю в правую ногу ниже колена. Он сумел перетянуть жгутом бедро и продержался еще какое-то время.

— Никакой подмоги не прибыло? — поинтересовался Иври.

— Нет, я был один там.

Парень рассказал, что террористы не приближались к воротам, опасаясь его выстрелов.

— Я их отщелкивал довольно удачно, — рассказал сержант возбужденно. Лицо его приняло хищное очертание, глаза сверкнули.

— Удачные выстрелы звучат, как трескающиеся грецкие орехи, — добавил сержант почти мечтательно.

Иври поглядел на него с интересом:

— Домой не звонил? Не хотел сказать что-нибудь маме?

— Хотел позвонить, но не было возможности, да и что там говорить... — сказал инвалид. Он продолжил: — Через час примерно, после начала боя, подъехал бронетранспортер с солдатами. Те отогнали оставшихся в живых бандитов, вокруг ворот в кустарнике и роще, потом нашли восемь сраженных тел из числа атаковавших. Меня вывезли из зоны стрельбы, я был в сознании. Потом на вертолете сразу отправили в Беер-Шеву в больницу. Там мне оперировали ногу, сейчас восстанавливаю, привыкаю к протезу.

— Ты вообще герой, парень. Освоился? Удобно тебе? — по-свойски спросил Иври.

— Все нормально. Мама переживает, конечно, но она очень рада, что я остался в живых. Другим ребятам из моей роты повезло меньше, — признался парень.

— Спроси у него, Ашер, поддерживает ли он связь с ребятами из своего отделения? — сказал в наушник Слоним.

— Не с кем поддерживать связь. Ребята погибли или взяты в плен в сектор, — объяснил инвалид.

Его детское лицо со светлой кожей, с правильными чертами приняло очертания беспокойного младенца.

— А чем ты думаешь заниматься после восстановления? Когда все закончится? — спросил, кашлянув, в свою очередь, Ашер. Он подал голос, чтобы быть отмеченным, что не зря хлеб жует.

— Я еще не знаю. Думаю пойти учиться, не сидеть же дома, мне еще девятнадцати лет нету.

— Ничего никому никогда не объясняй, или сами поймут или не поймут, бесплатный совет тебе, — Иври был самоуверен до наглости, Ашер с этим его свойством свыкнуться никак не мог. Юноша поглядел на Иври и кивнул ему с благодарностью. Он не был привычен к таким разговорам.

— Какую науку думаешь изучать, сержант?

— Думаю о биологии, наука о жизни, как объясняют.

— Что бы мы делали без Википедии, скажи, брат, — не сумел отказать себе в иронии Иври. Безногий поправил в нагрудном незастегнутом кармане рубахи с длинными рукавами пачку сигарет, там же передвинул зажигалку и затем согласно покивал Иври без улыбки, что действительно, без Википедии никуда. После этого передача прекратилась и началась реклам.

Пробежали четыре минуты славы под бурную музыку и танцы. Показывали счастье, которое могло настичь вас при употреблении шоколадных батончиков с орехами, сливочных чипсов с луком и чесноком, при покупке упругих матрасов и стиральных порошков идеальной силы и чистоты. Реклама ярко показывала, что все в мире осталось, как в прежней жизни, стало еще лучше, она радовала и смущала.

Безногий сержант неловко собрался и стуча костылями, еще не привыкший к своему месту в новой жизни, ушел, прощавшись с обоими ведущими за руку. Ашер смотрел на него и его движения с тревогой. Снаружи, у дверей в студию, инвалида ждал, переминаясь с ноги на ногу, в незастегнутой легкой летчицкой куртке младший брат его, похожий на сержанта как две капли воды. Он был и подстрижен похоже на старшего брата, только возбужденное лицо было уж совсем детским.

— Стоит тебе проснуться уже, Ашер, помоги мне хоть немного, — сказал Иври. Ашер наклонил голову, что означало, по всей вероятности: «Да, помогу тебе, Иври, как сумею».

Следующий *айтем* был посвящен добрым сердцам граждан этой страны. Точнее, сразу два *айтема*, которые шли один за другим. В первом *айтеме* небритый дней пять французский репатриант из Парижа на хорошем иврите бодро рассказал, что после всех событий на другой день увидел по ТВ ребят-резервистов, которым много чего не хватало на службе в секторе.

— Все помчались призываться со всех ног, безо всего. Тут же я решил помочь, как смогу. Я созвонился с приятелем, он мой хороший знакомый еще по Франции, по любимому нами Марселю, и мы купили грузовичок, накупили тучу всякого добра от носков, трусов, салфеток, одноразовых бритв, шампуня — чего только нет. Я проехал на нашем грузовичке до границы с сектором и двадцать часов под ракетным огнем, правда, обстрелы слабели к вечеру, раздавал ребятам. Все были довольны подарками, особенно я, если говорить честно, мне это очень нравится. Ха-ха. Затем мы вернулись домой и наняли восемь бабушек на кухню. Те стали с большой охотой на добровольной основе каждый день готовить обеды на 800–900 человек, любимые всеми домашние блюда, как дома. Я сам на этой кухне вырос таким, обожаю до сих пор. Все ингредиенты мы закупали оптом, многие дарили нам рис, овощи, мясо. Ребята ели за обе щеки, им все очень нравилось...

— Прошло почти три месяца, и сейчас тоже готовите по 800 обедов солдатам? — спросил Ашер, довольный этим рассказом чрезвычайно.

— Конечно. Сколько понадобится, столько времени и будем функционировать. Можем себе позволить, слава Богу. Теперь мы дошли до 1200 обедов в день.

Рассказчик был похож на голливудского актера из популярного боевика: рубаха в цветах и пальмах расстегнута на широкой груди, длинные чуткие руки, дерзкий профиль, взгляд суровый и нежный — дамская надежда и погибель.

Гость сделал приглашающий жест своей гибкой рукой, и прелестная девушка лет пятнадцати с густо покрасневшим нежным лицом внесла плетеное блюдо с баранками, усыпанными кунжутом и маком, багетами и другими подобными изделиями, выпечкой то есть.

— Угощайтесь, друзья. Спасибо, Жизель! Это моя средняя дочь, красавица Жизель. Поздоровайся, моя девочка.

Девочка в панике убежала из студии.

— Она очень стыдлива, — пояснил Франсуа. Человека этого звали Франсуа. Имя его компаньона не было известно, его Франсуа не назвал.

Иври ловко изъясил из плетенки баранку и поднес к носу.

— Замечательно, Франсуа, — сказал он. Ашер дотянулся через стол и ухватил себе тоже пожевать бублик в перерыве. — А вот скажите мне, уважаемый Франсуа, это правда, что Франция требует от Израиля вашей экстрадиции за нарушение финансовых законов страны? — поинтересовался Иври у гостя, который уже собрался уходить.

Франсуа полоснул бритвенным, ненавистным взглядом по неблагодарному журналистишке с голодным лицом и небрежным тоном ответил:

— Мои адвокаты уже разбираются с этим антисемитским наветом. В такое время, как сейчас, враги евреев и Израиля активизировались и направляют огромные усилия против честных патриотов еврейской страны. Я уверен, что правда торжествует. До свидания.

И распрямившись, сердитым шагом, не глядя по сторонам, ушел. Опять весело полетела реклама.

Ашер сочувствовал Франсуа и осуждал равнодушного к чужому раздражению Иври. Но что он мог поделать? А бесчувственный, насмешливый псевдосупермен, Иври этот, мог, конечно, совершить любой поступок. Абсолютно любой.

За Франсуа был *айтем* еще с двумя благодетелями.

— Слоним расстарался сегодня, — бросил Иври, глядя на занимавших свои места мужчин. Эти тоже были новыми репатриантами, на этот раз из России. Два сдержанных воспитанных джентльмена, хорошо одетые, симпатичные, бритые,

причесанные, без лишних предметов роскоши на теле и руках, рассказали свою историю. Им обоим было около пятидесяти лет, но тот, кто лучше говорил, казался помладше, лет сорока пяти. В первый день войны они находились в Тель-Авиве и наблюдали происходящее по телевизору. Зрелище было не из лучших, виденных ими здесь, на родине. Если честно, то все выглядело ужасно.

Один из гостей был настоящий здоровяк с румяными щеками, с мышцами, распиравшими футболку. Он как раз казался младше коллеги. Назовем их коллегами. На светло-синей футболке младшего было вышито золотом у левой щиколотки русское слово. Он был очень коротко стрижен, он не знал, что делать с руками и постоянно двигал ими по столу, задевая микрофон и производя шум, который очень мешал разговору. Речь его была правильная, но бедная и скупая. Второй мужчина, предпочитавший молчать, был в старомодных очках, худ, цепкоглаз, почему-то у него в руках был блокнот в малиновой коленкоровой обложке, какие выдаются на конгрессах для заметок. «Финансовый отчет он, что ли, намерен нам зачитывать», — подумал Ашер с тоской. Здоровяк, ко всему, немного заикался, держался между тем уверенно, это было как бы его благоприобретенное право.

Иври все пытался узнать у них, как родилась идея бесплатных обедов резервистам и нуждающимся.

— Патриотизм свойственен репатриантам, желание вписаться, стать своим, наверное, так? — настаивал Иври, от него было не отвяжаться. Здоровяк отвечал, что он сам вырос в детском доме, родителей не знал и не знает, а вот что такое голод и нужда, он знает отлично.

— С этим не поспоришь. Как мне вас называть, господин?

Здоровяк, подвигал бицепсами, побил пальцами по поверхности стола, взглянул на Иври опасливым взглядом и ответил, помедлив:

— Я — Петр, а он Борис, так и называйте нас, господин Иври.

— Я понял вас, Петр. Итак, вдвоем вы осуществили этот грандиозный проект, как у нас говорят? Нет слов, просто нет слов. И наняли кейтеринг, чтобы не заморачиваться, нет слов, — Иври посмотрел на Ашера, и тот продолжил.

— Большое дело, и так тихо все, без рекламы, без сюсюкающих корреспондентов, снимаю шляпу, — Ашер склонил лицо, сверкнув стеклами сильных очков. У него было 5 диоптрий, если точнее, смешанный астигматизм, то есть и плюс, и минус одновременно, близорукость и дальнозоркость вместе. Бывает. Профессия и характер наложили свой отпечаток на зрение Ашера, что же еще. Возможно, детская травма, оставившая шрам на его лице, также повлияла. Все без исключения влияет на наш характер.

— Вы бизнесмены, господа? — поинтересовался Иври со своей постоянной улыбкой насмешника. Назвавшийся Петром русский богатырь подвигал плечами, метнул взгляд на компаньона и сказал, что «можно нас назвать и так». Тот хмуро кивнул, он не любил всех этих разговоров про частную жизнь, и особенно, про ее финансовые достижения.

— А чем именно вы занимаетесь? — Иври был настойчив и неотвязен со своей надменной полуулыбкой. Но в данном случае у него не получалось, он столкнулся с другим типом людей, которые не заискивали перед ним, не хотели понравиться, не намеревались произвести впечатление. Они знать его не хотели и в упор не видели: кто ты такой парень, чтобы расспрашивать нас о нашем бизнесе, а?

Здоровяк еще как-то пытался соответствовать, но сухой и какой-то узкий, по имени Борис, был хмур и неприветлив. Одет он был в простой легкий костюмчик чуть ли не с чужого плеча. Но на лацкане пиджака его была прикреплена небольшая металлическая монограмма с двумя переплетенными латинскими буквами в кругу, образованном из двух оливковых ветвей.

— Подай голос, Ашер, спроси, было ли ваше решение, Борис, спонтанным? Вы долго думали и обсуждали этот проект? — попросил в наушник Слоним. Ашер так и сказал, глядя

на этого Бориса, повернув к нему корпус. Голос у Ашера был хриплым из-за долгого молчания. Он прокашлялся и отпил воды из стакана, поставленного услужливой Тали перед началом эфира на столе. Перед Иври тоже был поставлен вместительный стакан с водой.

— Получили много благодарностей, господин Борис, от людей? Приятно, наверное? — спросил Иври обычным своим голосом. Насколько это возможно, ехидства в голосе его не проглядывало. Он хотел выглядеть сочувствующим и сердечным парнем. Как умел, он это пытался. Не всегда у него получалось.

Борис с мрачным видом раздраженно молчал. «Надоел, прощелыга», — ясно говорило худое его лицо так называемого «русского» благотворителя, которое при известном усилии можно было определить как изможденное. Опасное.

Зато Петр очень оживился, заулыбался во все лицо и воскликнул:

— Конечно, нас благодарят с утра до вечера, благословляют направо и налево. Чрезмерные благодарности, незаслуженные, я бы сказал. Невозможно с этим справиться, мы не привыкли к такому, если честно.

Улыбка этого Петра была удивленной и искренней.

— Пытаюсь вас понять, мой господин, мне это трудно сделать. Я повторю свой вопрос для вас обоих, это интересно нашим зрителям. Чем вы занимаетесь? Чем вы занимались, если так для вас вопрос звучит удобнее, господа? — Иври был из тех людей, которые не смущаются, а если смущаются, то ненадолго. Он считал себя выше этого чувства, которое определяют как состояние.

«Сколько слов у этого болтуна. Мог обойтись пятью-шестью словами и спросить то же самое, профессия у тебя, Иври — трепач», — раздражение Ашера росло. Он никак не мог успокоиться.

— Мы много чем занимались, уважаемый, — иврит Петра был почти совершенным, он говорил вполне уважительно. — В основном, купля-продажа, торговля, так можно сказать. У

нас не было ни прежде, ни здесь, проблем с властью, законами, налогами, мы никому ничего не должны. Вас ведь это интересует, я вас правильно понял, мой господин?

Иври не смутился, так как не смущался вообще никогда. Почти никогда. Но чуть-чуть он был задет этим нервным надменным Борисом.

— И у вас не было никаких компаньонов в этом проекте, совсем-совсем, сэр?

Борис посмотрел на Иври, как на сломанный стул на грязной обочине, и сказал ему спокойно:

— Нам никто не нужен, мы всю жизнь одни, здесь тоже одни. Мы сочувствующие. Нам не нужен никто и ничто, в помощи мы не нуждаемся, уж это наверняка.

Иври кивнул ему с явным облегчением:

— Не нуждается — и не нуждается, и слава Б-гу, — и ответил: — Вас понял, сэр. Спасибо большое, господа, наш разговор подошел к концу, время рекламы. Мы тоже должны жить с чего-то, верно?!

Гости слезли с высоких стульев вокруг стола ведущих и двинулись к выходу. Иври двинулся их провожать, он хотел размяться после трех напряженных *айтемов*. На ходу он аппетитно откусывал от хрустящей твердой баранки, прихваченной из корзинки благотворителя Франсуа. Борис косился на него брезгливо, явно намереваясь высказаться по поводу или без повода, он таких людей на дух не выносил. Просто на языке у него вертелось, но он сдерживался. Ашер завершал всю процессию.

В фойе прямо напротив дверей студии сидел, откинувшись на спинку стула, огромный, старый, колченогий человек пугающего, страшного вида, с морщинистым большим лицом, колкими карими глазами и зацепленной за руку тяжелой ручкой сучковатой прочной тростью из бука. Выглядела она не как трость, а просто как орудие ближнего боя. Да так, наверное, и было, хотя, учитывая возраст хозяина, подчеркнем, что, наверное, так было в прошлом. Статную шею старика окаймляла массивная цепочка с золотой звездой Давида, называемой еще «Печать царя Соломона». К поясу его брюк была под-

вешена цепочка с карманными часами чуть ли не из бронзы и внушительной связкой ключей от дома, от склада домашнего старья, от машины и других вещей, важных для него и его существования. Все вышеописанное дополняли новенькие сандалеты из блестящей кожи, которые аппетитно скрипели при малейшем движении ног хозяина. Да, и еще седая борода, просто бородачица. И это, пожалуй, все.

Человек в три приема, согнув и разогнув тело, поднялся им навстречу, ключи его у пояса звонко и немелодично стукнули, столкнувшись, сандалеты отчаянно заскрипели. Старик протянул Иври руку. Рука его была под стать общему виду и идеально завершала образ. Старик был похож на отставного казачьего сотника из жидов, если таковые были. Хотя таковые были в прошлом, все может быть с этими людьми, в смысле, с жидами, особенно в этой стране, в смысле, в России. Вопрос с ними, с этими сотниками из жидов, был лишь один: выкрест он или нет. Но даже если и выкрестом он был, то это не решало ничего, как известно. Все дело было в его маме, в его крови и генетике.

— Это мой отец, его звать Шимшон, Самсон, если по-русски, — ни на секунду не запнувшись, представил деловитым тоном Борис старика. Иври пожал Шимшону руку. Напомним, что Иври очень следил за собой, занимался контактным карате кекусинкай, весил в норме и считал себя атлетом. Так вот, в руке старика рука Иври как бы была не в счет. Много лет назад Иври, молодой спортивный парень, на каком-то светском празднике был представлен вратарю «Бейтара» и сборной страны, которого звали Ежи, парень был репатриантом из Варшавы. Ладонь у этого Ежи была разработана тысячами отбитых и пойманных им мячей, она была ладонью человека другого измерения, она могла вместить в себя еще несколько рук таких вот Иври Сандеров. Его, Иври, спортивная могучая рука была не в счет. Во время того рукопожатия родился очередной комплекс этого человека, который хоть немного, но все-таки сдерживал страсти, иронию, сарказм и насмешки, и что только нет, Иври Сандера.

Старик, пьющий, конечно, мужичина, пробил Иври своим лазерным глазом и сказал:

— Рад встретить вас, господин Иври Сандер.

Иври потерялся, выдернул руку из его ладони и улыбнулся смущенно и, кажется, потерянно. Ашер заметил смущение коллеги, заметил. Не без удовольствия.

Рядом со стариком сидела дама в шелковом, бежевого цвета костюме, с узкими плечами, ухоженная, с гладкой прической, дивной красоты кулоном на груди и деловым оценивающим блестящим взглядом удлинённых глаз.

— Это моя жена Анжела, — представил женщину Борис. Конечно, у него, у этого бизнесмена, должна была быть такая жена, такая Анжела. Иври, старый ловелас, немедленно и с полувзгляда оценил эту Анжелу. Дама была похожа на скупой рисунок черной тушью, нанесенный тонкой кистью на шелковой ткани гениальным мастером из таинственного города Саппоро или, скажем, Киото.

Ашер стоял в сторонке, как посторонний, только приветливо кивал, что рад и горд познакомиться. «Благодетельная женщина», — такой неожиданный вывод сделал Ашер для себя относительно Анжелы.

— Шимшон здесь живет уже давно, лет сорок пять, — сказал Петр. — Он старожил, уехал при Советах, во всем разобрался и многое понял. Мы-то здесь совсем недавно, полтора года, Шимшон нас принял, объяснил и показал все, что к чему, хотя мы и сами все быстро поняли, ха-ха. Правда, Шимшон Абрамович?!

Старик поглядел на Петра раздраженно, и мужчина смолк, распутив раздутые мышцы на лице и шее.

— Хорошо, что вы не слишком серьезны, а то ведь можно и заиграться в Шекспира, пережить с трагедиями, правильная интонация у вас, — сказал Шимшон Абрамович, глядя в глаза Иври. Многие работники смотрели на происходящее с горящими глазами: «Ну, кто там потянет против русских?» — «Русских?! Ха-ха! Нашли славян...».

Но все же присутствует у них, у этих русских, стиль и стержень, есть, что ни говори. Вон как пижона Иври на место поставил этот Борис...

— Нашли на кого любоваться, — прошипела Анна, презиравшая этих новых щедрых нуворишей и хозяев жизни от всей души, выросшая и повзрослевшая на улице Радищева и на Малой Садовой, отворачиваясь от живописных картинок, бывалых стариков с клюками и бронзово-сиреневыми от водки рожами, и стильных баб с кулонами от Картье. Ее мысли были неправильны по отношению к этим людям. Хотят помочь, что плохого, а? Она была страстна, несправедлива и необъективна, что говорить, эта Анна. Думайте только о себе, дорогая.

На том расстались. И вся группа без исключения направилась к выходу, у которого маячил массивный парень в зеленой куртке, похожей на те, какие носят фанаты великого баскетбольного клуба «Бостон Селтикс». Парень был шофером их германского автомобиля, вместившего их всех без каких-либо усилий. Старик огромным напряжением мышц удерживал равновесие, что-то у него было нарушено с координацией. Но шел он споро, не все успевали подстроиться. Ашер понял, что он просто хотел успеть дойти, сохранить равновесие и не упасть. Он не был совершенен, этот пугающего вида, нежадный, замечательно все понимающий Шимшон Абрамович. Борис и Анжела бережно поддерживали его под руки. Петр нес свое тело, как драгоценный сосуд, не мог расплескивать так просто мускулы. До автомобиля им всем нужно было пройти по асфальтированному двору под дрожащими от капель дождя листьями густых деревьев при скудном освещении двух фонарей на углах стоянки еще метров восемьдесят, казалось, что эта дистанция для Шимшона непреодолима. Шофер, оценив ситуацию и получив молчаливое одобрение от Бориса, побежал длинными шагами в черных кроссовках, сразу промокнув до нитки, к машине, чтобы подогнать ее ближе ко входу для удобства хозяйского существования. Ночь поглотила всю эту «русскую» группу торопящихся людей целиком.

Кротко сидевшая в вестибюле у входа женщина без выражения смотрела перед собой, положив маленькие, почти детские руки на свою сумочку с полурасстегнутой молнией.

Это была героиня следующего *айтема* программы, женщина из разряда *айрон вумен*. Она была похожа на такую странную куклу из детской передачи, которую в прошлом еще на черно-белом ТВ называли телевичком. Анна принесла ей 330 мл бутылку воды из северного источника и осторожно вручила. Женщина подняла на нее глаза, благодарно улыбнулась и, отвернув крышку, сделала жадный глоток.

Напомним только, что эта телепередача происходит во время очередного тектонического взрыва, который в очередной раз сотрясает с невиданной прежде силой этот район, эту страну и, конечно, этот народ и отдельных людей из него. Очередной урок огромной силы и крови преподносит надменным, плохо научаемым иудеям жизнь в лице злодеев чистого зла. А думали-то все хитроумные технократы, смельчаки и начальники, что злодеев больше нету в округе, что они перевелись и что перестали рождаться вообще. Кажется, мы об этом уже говорили прежде, но даже если и так, то повторим. Оттого и Иври Сандер этот таков, от страха и тревоги, отчего же еще.

Было очень тихо, как бывает тихо перед серьезной погодной бурей. Старший оператор смены Бени, похожий на молодого Шейлока, которого из всех соблазнов, красот и бед мироздания интересовал лишь футбол, жевал во весь рот жвачку, как нескладное бородатое травоядное. Он беззвучно перекатывал свою камеру по полу, накрытому пластиком или чем-то вроде него, в поисках выигрышного места для съемки.

— Надо пересадить гостью ближе к центру, давайте поживее, быстрее, времени нет, — веско в приказном тоне сказал он, с трудом прекратив на пару секунд думать о шансах черно-желтых на выход из затяжного кризиса.

Вбежала девочка-помощница и ловко пересадила гостью последнего *айтема* на стул ближе к центру полукруглого стола. — Помягче, Иври, не напирай излишне, я прошу тебя, — сказал Сандеру по внутренней связи в наушник Слоним. Он был встревожен.

— Да, хорошо. Добрый вечер! У нас дорогая и очень важная гостья. Ее звать Йохи, Йохи Альберт. Так вы, моя госпожа,

хотите стать *айрон вумен*, я правильно понимаю? — энергично начал Иври, который хотел быстро восстановить свою уверенность в себе и силу иронии, почти разрушенную благотворителем. «Наверняка связан с мафией, да мне-то что, — быстро думал Иври, — какое мне до него дело, кто он такой, человек из незнакомой несвободной страны, что он мне, скажите? Забыть и растереть». Зацепил нашего Иври этот недовольный мрачный мужчина с тугим кошельком, зацепил.

— Здравствуйте. Да, вы все верно сказали. Я — Йохи Альберт, и я тренируюсь для того, чтобы через полгода поучаствовать в соревнованиях *айрон вумен*, тренируюсь ежедневно, — сообщила девушка решительно. У нее было круглое лицо, маленький нос и рот, как у деревянной куклы Буратино из итальянской сказки. Она была маленькой, худенькой, узкоплечей, очень слабой на вид. Лицо у нее было улыбающееся, не значительное — самое простое лицо. В ней чувствовалось внутреннее напряжение, но это, возможно, было связано с волнением из-за участия в телепередаче.

— Сколько времени вы уже тренируетесь, Йохи? — спросил девушку Ашер. Он старался не смотреть на нее неизвестно почему. Много лет назад его мать, простая женщина, но кое-что понимавшая и разбиравшаяся на интуитивном уровне в психологии, как это случается с пожившими и повидавшими в жизни людьми, говорила своей подруге в присутствии маленького сына: «Этот мальчик все чувствует, как врач, откуда это у него, понять не могу». Ашер все слышал и не понимал, о чем говорит его мама, и даже не догадывался. Но мать его, как ей и положено, все знала про него, абсолютно все. И тогда, и потом, и сейчас.

— Утром семь минут в общей сложности, потому что тренировки комплексные, и вечером еще девять минут, — улыбаясь во весь рот, от уха до уха, объяснила женщина Йохи Альберт.

Иври со своей фирменной ухмылочкой смотрел на нее сбоку исподлобья, Ашер похолодел. Он положил руки перед собой на холодную лакированную поверхность стола, пальцы его подрагивали, как будто Ашер, как прилежный ученик, готовился к уроку игры на фортепьяно.

— Объясните нам, пожалуйста, мы довольно далеки от спорта, — со змеиной улыбкой попросил Иври, — что значит комплексная тренировка, да еще в девять минут?

Иври Сандер, человек, насыщенный гормонами, просто не умел себе отказывать ни в чем. Ближний Восток гудел в нем и торжествовал. Его мама бы поведение сына резко осудила. Двоюродный брат Иври, суровый ортодокс, не понял бы его и жестко выразил бы презрение. Слоним в наушник внятно и громко сказал:

— Ну, и сука же ты, Сандер.

Иври пожал плечами и продолжил интервью, продолжил спрашивать и со своим всегдашним торжеством на лице слушать ответы, кивая, что согласен и что понимает.

А женщина с широкой улыбкой ненамазанного помадой большого рта продолжила свои объяснения.

— В *айрон мен* входит три вида, в которых соревнования проходят в один день. Надо все успеть: и бег, и велосипед, и плавание. Значит, надо быть готовым максимально. И вот я тренировки распределяю по видам, чтобы успеть все. Я еще и работаю, у меня ребенок, но я последовательна, трудолюбива и настойчива, понимаете? — Йохи Альберт посмотрела сначала на Иври, которого считала главным здесь, потом повернулась всем корпусом к Ашеру.

— Кивни ей, наконец, ты не в холодильнике, — сказал Ашеру в наушник Слоним. Ашер кивнул ей с подобающим видом, что понимает. Йохи была абсолютно счастлива.

— То есть, вы хотите сказать, что после ежедневных тренировок по несколько минут каждая вы примите участие в триатлоне, ведь это называется так, госпожа Альберт? — настаивал Иври уверенным голосом.

— Именно так. Соревнования через полгода, и я выйду на старт и не буду среди последних. Моя цель — первая десятка, — сказала Йохи, улыбка не покидала ее лицо.

— Если я правильно помню, триатлон — это 42 км бега, потом 180 км на велосипеде и 4 км плавания, и все это в

один день, замечательная цель у вас, Йохи. Буду болеть за вас изо всех сил, — Иври говорил серьезным тоном, Йохи просто светилась.

Она спросила Ашера:

— А вы будете болеть за меня?

— Обязательно буду, — отреагировал тот, у него была хорошая реакция, недаром он играл в сквош раз-два в неделю. Началась реклама. В студию зашла Анна и принесла Йохи дымящийся стеклянный стакан чая на блюдце. Разносить чай гостям точно не входило в ее обязанности.

— Без сахара, — бросила она.

Анна учтивым жестом поставила стакан на стол перед Йохи Альберт, поправила блюдце, положила возле бумажную, сложенную пополам салфетку, посмотрела на жующего Бени безо всякого интереса и быстро вышла наружу. Иври извлек откуда-то из-под стола артистическим жестом корзинку с баранками таинственного беглого француза Франсуа. «Очень вкусные и не кончаются никак, умеют в Париже делать выпечку, умеют», — Иври был спокоен, прожорлив и, кажется, даже весел.

— Нужно прикрутить кондиционер, эй, Тали, а то мы тут все получим воспаление легких, — прикрикнул Иври.

Тали со всех ног бросилась к пульту кондиционера, валившемуся на столике у входа. И правда, было слишком холодно в студии. Все время разыскивали этот пульт от кондиционера в студии, который то заваливался за кресла, то просто исчезал в воздухе, растворяясь на глазах, то Бенья прятал его в карманах штанов — ему было всегда жарко, и он не разрешал доступа.

— Прибавь нам жару, Тали, пару градусов, не больше, мы люди спокойные, немолодые, мы против крайностей, правда, Ашер?

К Иври подошел своим фирменным разболтанным шагом Слоним, остановившись напротив него. Их разделял стол. Слоним попросил Иври пригнуться, и когда тот с явной неохотой приблизил свое заново напудренное лицо к нему, негромко произнес:

— Ты, конечно, потрясающий, Иври, нет просто слов. Но ты никак не тянешь на демона, уймись хотя бы на ближайшие десять минут, это не угроза, это мое последнее предупреждение, и запомни: ты просто не тянешь на демона.

Закончив свой не совсем понятный посторонним спич, Слоним повернулся по-военному через левое плечо и, не глядя по сторонам, вышел, чуть ли не печатая по-строевому шаг, из студии прочь. Йохи Альберт сделала осторожный глоток из стакана с чаем и улыбнулась прежней улыбкой, которая вызывала у людей такие резкие и разные реакции. Одежда ее была не самая модная, но оригинальная и симпатичная.

Иври пожал широкими худыми плечами, демонстрируя полное непонимание слов начальника, и сказал Ашеру:

— Давай активнее, серьезно, не все же мне отдуваться.

После слова «серьезно» у него была пауза, он как бы пробовал обращение к коллеге, скажем, брат, если судить по движению губ, но видимо, он решил обойтись так, как он произнес, и так все понятно. Ашер сидел с лицом холодным и выражающим полное отстранение от происходящего. Все это вместе, включая Йохи Альберт, рухнуло на плечи Иври Сандера, совсем не хрупкие, тренированные, стойкие и сильные, но всего лишь человеческие плечи немолодого мужчины, находящегося на склоне жизни, что бы он там не демонстрировал и как бы не хорохорился и не кривил губы в скептической улыбке в ежедневном эфире и в обычной жизни без съемочных телекамер и лишних глаз.

Иври не зря впечатлился когда-то, запомнил и повторял про себя клятву бойца кекусинкай: «Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого и непоколебимого духа». Вот уж на что он был сложным, сомневающимся, скептическим и тяжелым человеком, а вот на тебе, как участник «союза абсолютной истины» — перевод слова кекусинкай, он верил только в то, что никогда не отступит и не забудет «истинную добродетель скромности». Подобных фраз Иври знал несколько. Каждая из этих фраз завершалась словом «кото» — клянусь.

— Не могу вас не спросить, госпожа Альберт, почему вдруг *айрон мен*, с какой стати? У вас ведь нет спортивного прошлого? — спросил Иври как ни в чем не бывало. Но этот день был не его, такое случается с каждым. В случае с ним можно предположить, что Иври сам настойчиво искал возможности попасть в неприятную ситуацию. Кто ищет — тот и находит, нет?!

— Мой муж — страстный поклонник этого вида спорта, — сказала Йохи, лучезарно улыбаясь. Бени сдвинул центральную камеру и показал с бокового ракурса женщину в профиль. — Каждую свободную минуту он посвящал тренировкам.

— Кто по профессии ваш муж? — спросил Ашер. Он удачно, как ему показалось, вступил в эту беседу, перестал считать себя лишним человеком.

За спиной оператора Бени была видна репродукция очень красивого абстрактного пейзажа. «Откуда здесь такая любовь к Мироз?» — сказала в первый день после появления на работе Анна, с некоторым презрительным удивлением. Действительно, репродукции каталонского бухгалтера висели в помещениях повсюду, даже в гримерной. «Эти картинки все Слоним развешивает, его страсть», — объяснила Анне по приходе Тали тем самым тоном, которым рассказывают горничные о причудах любимых и почитаемых хозяев. Анна заметила тон ее, но не придавала ему значения. Анна приносила на работу большой пакет с самодельными ржаными сухариками: и любила их с детства, и держала форму. Они сидели с Тали за чаем, грызли сухарики, и Тали доверительно рассказывала про героев телеэкрана, про их привычки, пагубные страсти, кулинарные пристрастия... Очень душевно, по-свойски, они сидели разговаривали, душевно. Эта Анна понравилась Тали, как будто она была ей знакома много лет. «Слоним хороший человек, старый холостяк, джентльмен, Иври эгоист, пижон, бабник, Ашер себе на уме, не гад и не сволочь, Оделия помешана на работе...». Тали поднялась и грузно, но быстро двигаясь, сбегала в круглосточный студийный буфет в конце коридора справа.

Никого в буфете не было. Свет был притушен, девушка за стойкой дремала. «Что слышно?» — с ходу спросила Тали.

Женщина оживилась и быстро надавала ей еды и питья. Тали набрала, сколько руки унесли: печеные ломти воздушного картофеля, шоколад с орехами, коробку песочного печенья, утренних горячих бурекасов с сыром и шпинатом, и бутылку каберне прошлого года. Сказав этой чудесной женщине: «Запиши на меня все, Нава, и дай мне, пожалуйста, крепкий пакет», — она все аккуратно сложила и унеслась, полнобедрая и спелая, счастливым мягким, неспортивным шагом. Она крепко держала пакет с продуктами у груди, чтобы не уронить, не дай бог, или чтобы никто не сумел отнять. Всякое ведь бывает в темных и узких коридорах телецентров, нам ли не знать этого. Могут в минуту раздеть догола, прижать к стене и полюбить, и вставить, и приласкать. Или не у стены, а на весу. И все, пиши пропало. И исчезнуть, как не было, ищи-свищи. Поди доказывай отцовство потом, бегай в суд, требуй алименты. «А где вы раньше, милочка, были, когда грешили, а!? И кто он такой вообще, этот невидимый папа? Как его звать? Где живет, подлец?».

«Вот немного излишеств, не обессудь, Анна, не обессудь, мы это заслужили, надеюсь», — сказала Тали несколько удивленной Анне. Стол с трудом вместил продукты, бурекасы пахли чудесно, Анна с большим усилием ломала шоколад, Тали толково открывала на раз-два вино складным штопором, который был при ней всегда. Она знала толк в хорошей жизни и надежной дружбе, если кто еще не понял. В прошлом Тали работала официанткой, вспоминая это время с нежностью.

Они замечательно тогда посидели с этой странной Анной, посмеялись, наелись, как голодные волчицы, в богатой кухне, брошенной напившимися, как и полагается, без особой причины, поварами, прибалдели немного от хорошего вина и расстались с сожалением, когда прилетела нервная, дрожащая, как всегда перед эфиром, Оделия, и потребовала немедленной заботы и внимания...

«А Иври, скажи мне, как он? Ты, кажется, спокойна...» — Анна не сумела найти подходящего слова, она была недавно в стране, но учила язык весьма настойчиво. Тали осеклась на полслове, поджала алые полные губы, вдохнула и, восстановив

дыхание, ответила: «На самом деле, он великолепный, он — лучший, да что говорить, о, Иври!». Она разлила остатки вина, получилось по половине стакана, и они, не чокаясь, выпили за вечную любовь, пусть к Иври. А что! Красавец, веселый, сильный, наглый, состоятельный, насмешливый, мечта любой дщери.

Из соседней с гримерной комнаты монтажа неслась для полного антуража и счастливого завершения картины счастья песня «Люби меня нежно», и юный, но уже великий Элвис исполнял ее сегодня чувственно и прекрасно, так же, как и 70 лет назад. Такова сила магнитофонной записи, дамских воспоминаний и вокального таланта. Анна, кажется, впервые с приезда сюда, а прошло уже почти два года, чувствовала себя счастливой. Ну, почти счастливой. Вот что может сделать с человеком душевный разговор, пара бокалов молодого каберне и роскошная любимая еда напропалую и без ограничений.

— Мы с Бнаяу, моим мужем, познакомились шесть лет назад, — широко улыбаясь, рассказала Йохи, хотя ее никто не просил ни о чем таком рассказывать. Во всяком случае, не сейчас. Иври хмыкнул, ухмыльнулся довольно едко, но промолчал. Ашер ободряюще кивнул женщине, что слушает и понимает все ее слова. — Я пришла к подруге, с которой служила вместе в армии. Что-то хотела взять. Мы учились вместе в Беер-Шеве, армия позволяла нам совмещать. Я тогда и сейчас живу в этом городе, в паре километров от Газы. У подруги было много людей. Прямо напротив входных дверей сидел парень с гривой волос до плеч, он улыбался во весь рот и слушал кого-то, кто сидел неподалеку. От него я научилась улыбаться и общаться с людьми. А так я была простой девушкой: армия, учеба, математика, не до улыбок. У меня был парень тогда, я его оставила и стала встречаться с Бнаяу. Он меня покориł сразу. Он потом признавался мне, что у него две страсти в жизни: триатлон и я. И, конечно, наш сын Арон, которому сейчас четыре с половиной года. Мы купили там квартиру и выплачивали ипотеку. Бнаяу ничего не хотел брать у родителей, он очень гордый, всего сам добивается. Мама моя левых взглядов, настоящая левачка, прогрессивная сторонница мира, просвещения, всегда твердила, что надо учиться, Йохи, не-

обходимо двигаться вперед. Из-за нее я пошла в университет, училась и стала программистом-вычислителем. Вы не поверите, друзья, но Бная тоже программист-вычислитель. Он работал в Тель-Авиве, а я из дома, так было удобно из-за нашего сыночка Арона. В общем, мы были счастливы. Бная каждый день старался тренироваться: в беге, в велосипеде, в бассейне. Он искренне, изо всех сил старался стать *айрон меном*. Он участвовал в пяти триатлонах, только один, самый первый он не закончил, неверно распределил силы, а все остальные триатлоны завершил во второй сотне, он же любитель, работающий без тренера, это расценивали как огромный успех. Мы с Ароном всегда сопровождали Бная, поддерживали, помогали, болели, давали бутылки с питательной смесью и водой. Вот какой он, мой Бная, — Йохи достала из сумочки фотографию и показала в камеру Бени.

Бная не выглядел суперменом или там суровым *айрон меном*. Это был довольно пухлый, с кругловатым лицом, обрамленным гривой курчавых волос, молодой семит с огромной доброжелательной улыбкой. Он походил на домашнего юношу, не хватало только сильных очков в старомодной оправе и папки с нотами баркареры Ф. Шопена.

— Настоящий *айрон мен*, правда! — еще счастливее засмеялась Йохи Альберт. Ашер не смог сдержать подавленный хриплый выдох. Получился из него странный звук, вроде как такое почти скептическое «м-да». На это «м-да» дернул щекой Иври, но сумел промолчать. Оба ведущих смотрели перед собой некоторое время, ничего не произнося. Йохи ничего не замечала, продолжая свое любовное признание к мужу-*айрон мену*.

— В тот выходной, о котором мы говорим, Бная встал в половине шестого. У него было много чего приготовить перед тренировкой. Проехать 100 км на велосипеде, хоть и по хорошему шоссе — дело непростое, серьезное. Я помогла ему приготовить сок с питательной смесью, помассировала плечи и спину. Потом мы позавтракали: хлопья, апельсиновый сок, лапша — все как всегда, — улыбка не сходила с ее лица. — Я добавила в кармашки его велосипедной рубахи пару бананов,

вытащила из холодильной морозилки две бутылки с замороженной минеральной водой, булочки с джемом, рисовые коржики, энергетические батончики — все как всегда.

Ашер представил себе, как она суетится на кухне, ночь растворяется в утреннем свете, пахнет свежим холодным воздухом, Бная улыбается ей, она счастливо смеется и просит его быть потише, потому что Арон еще спит. «Он растет во сне, ты помнишь?! Дети растут во сне, ты сам говорил, вычитал у своего доктора Спока. Как его звали, этого Спока, а?» — «Его звали Бен, Бенджамен Спок. Между прочим, он был олимпийским чемпионом по гребле, Бен этот, как ты его называешь, доктор Бенджамен Спок», — сказал ей мельком муж, Бная.

— Потом Бная выехал из дома на тренировку. Шел мелкий дождь. Каждые полчаса я ему звонила, чтобы спросить, как дела. Я всегда ему звоню во время тренировок. Он очень увлекающийся — все забывает. Пару раз он на работе обо всем забывал и опаздывал на последний автобус. Если брать такси, то это стоит примерно 400 шекелей. Он звонил домой. Я садилась в машину и ехала в Тель-Авив его забирать. В час ночи, в половине второго ночи, 70 км, час пятнадцать в пути, — улыбка у нее была убедительная, очень украшала ее.

Иври, который на самом деле был интуитивным непреклонным человеком с развитыми инстинктами, мягким голосом спросил женщину:

— Мы с вами говорим об одном и том же дне?

Ашер не к месту вспомнил, как профессор школы журналистики при университете Ноам Дойчер, преподававший слушателям основы профессии, объяснял, как важно во время интервью молчание и вовремя начатая пауза. «Иногда можно больше узнать промолчав, чем задав вопрос, это надо помнить всегда». Дойчер был пожилым мясистым мужчиной, всегда в костюме из трех частей, всегда с какой-нибудь потрясающей курительной трубкой, которых, по слухам, у него было около сотни. Он охотился за ними и однажды даже, используя свои невероятные связи и знакомства, ездил в еще Советскую Россию, в город Ленинград, к знаменитому мастеру Федорову Алексею Борисовичу, из купцов. Дойчер пришел к нему в мас-

терскую с модно одетым сопровождающим переводчиком и купил у старика две трубки из вишневого и грушевого дерева, еще одну трубку из бриара (вереска, иначе говоря) Федоров ему подарил. Уже наступала перестройка — и такое было возможно полуофициально. Федоров подарил ему трубку как уважаемому израильскому гостю, который работал с самим Давидом. Какого Давида имел в виду Федоров, он не пояснил.

Дойчер до Ашера преподавал и Иври Сандеру те же основы журналистики. Иначе говоря, Иври все знал не хуже некоторых. Но Иври был сам по себе, себе на беду.

Йохи кивнула, что, конечно, об одном и том же дне, и с той же счастливой улыбкой продолжила:

— Я звонила ему каждые 15 минут, так у нас было заведено. Я спрашивала его: «Ну, как ты себя чувствуешь?». Бная отвечал мне и ехал дальше на скорости 34 км в час, так я просила его ехать, не рисковать зря. Он всегда соглашался со мной, что я права, конечно.

Женщина делала длинные паузы после пары фраз. Складывалось впечатление, что у нее не хватало сил на произнесение слов и оформление широкой улыбки на лице. Ашер воспользовался тем, что Йохи набирала воздух и восстанавливала дыхание, и, собравшись с силами, спросил:

— Стокилометровая велосипедная тренировка в выходной должна была быть единственной для вашего мужа?

Всепобеждающая улыбка Йохи стала частичным ответом на этот вопрос. Она отвечала в тоне человека, который никуда не торопится:

— Нет, конечно. После обеда у него должен был быть бассейн, хотя здесь нагрузки снижались, завтра был рабочий день.

— Насколько снижались нагрузки, Йохи? — деловая интонация Иври действовала на Ашера и других участников рабочей смены главного коммерческого канала израильского ТВ успокаивающе.

— Давайте посчитаем, дорогой господин Сандер. 30 бассейнов по 50 метров, сколько это, вы можете посчитать? — живо и почти игриво спросила женщина. Она устала улыбаться, такое сложилось впечатление у Ашера.

Подумав о Бняю и его настойчивых попытках стать *айрон меном*, Ашер опять вспомнил незабвенного Дойчера, который пытался играть в Хемингуэя. Уже все во многих частях света перестали боготворить этого писателя, или почти все, переключившись на новых литературных идолов, а этот уже старый немецкий репатриант, бежавший с родителями из Германии в Эрец Исраэль в начале 30-х совсем мальчиком, все держал этого крепкого романтического американца, довольно часто демонстрировавшего литературное дарование, за самого почитаемого человека в этой жизни. У Дойчера, пожилого состоявшегося человека, были еще некоторые известные образцы для подражания, но старый Хэм занял в его сердце место прочно и навсегда.

Дойчер пытался быть циничным и едким, но у него это получалось плохо. Намного хуже, чем, к примеру, у Иври. Так вот. Дойчер как-то признался на одном из занятий своим студентам, среди них был и кроткий Ашер, что «вся моя жизнь стала такой, какой стала, по одной простой причине: я всю жизнь хотел, чтобы меня перестали называть, как называли в школе, после нашего приезда». Он набивал трубку и выглядел довольно спокойным, ну, чуть-чуть подвыпившим. «Меня мальчики в школе и во дворе дразнили *еке поц*. Дети, это все знают, пленных не берут. Я, мальчик из Лейпцига, всякий раз вздрагивал от этого прозвища. Вступил в подпольную организацию Лехи правого толка в возрасте шестнадцати лет. Но все равно не помогло. Хе-хе. Думаю, что и сейчас, через 70 лет, меня все еще так зовут за спиной. У всех память, как у компьютеров, не так ли, дорогой Ашер?». Несчастный Ашер вздрогнул, поднялся, побагровел, пожал плечами и долго молчал. «Вот видите, господа студенты, но я перестал обижаться на это, зовут и зовут, мне то, что, а? Садитесь Ашер, не переживайте. Я ценю ваше смущение. А при рождении меня назвали Вернером, представляете?! Какая моя жизнь, какой папка у меня был с мамкой, в какой стране я родился?», — кажется, старый насмешник Дойчер выпил в этот день лишку. Или просто выдался день откровений, кто знает. «Отца его, конечно, звали Фрицем», — сказала после занятий негромким дикторским голосом Оделия, которая училась вместе с Ашером.

Не блистала, но подмечала все. У нее уже тогда заметна была тяжеловатая нижняя челюсть, что-то с прикусом. Но ухажерам это не мешало. Как и карьере на ТВ.

— Я ему всегда во время этих заездов звонила, каждые пятнадцать минут, — продолжила Йохи свою сагу о любви. Улыбка продолжала находиться на ее лице. — В шесть тридцать я ему позвонила. Дождь уже прекратился, прозвучала сирена. Он сказал, что все в порядке, доехал до Беери. Иногда они ездят группой в 3–5 человек, но в этот день Бнаяу был один. Я слышала, что и там у него на шоссе в Беери воют сирены. Сказала ему, чтобы он сейчас же возвращался. Он не слышался мне встревоженным. Сказал, что начинает разворачиваться, впереди какие-то машины, асфальт сухой, вот сейчас. Прошло минут десять, сирены у нас выли непрерывно. Я опять позвонила, он ответил, что здесь немного стреляют. «Я лег на обочине под деревьями, хочу переждать. Все в порядке, меня тут задело в плечо, но я держусь». Тогда я сказала, что сейчас приеду и выведу его. Он крикнул, что ни в коем случае. Я сказала: «Жди, ничего не бойся», — и начала собираться. Арона я отвела к соседям, дверь в дверь, и сказала, что еду в Беери забрать Бнаяу, который там застрял. Сосед сказал, что едет со мной, так как его дочь была там на музыкальном фестивале как раз возле Беери, и ее телефон не отвечает. «Я волнуюсь, если с ней что-то случилось, мы с женой этого не переживем», — сказал он, отвернув лицо. У него был пистолет, он взял запасную обойму, бутылку с водой — и мы поехали. На выезде из города стояли две полицейские машины и дежурили автоматчики со встревоженными лицами. «Ну, куда вас несет?» — спросил один из них меня с досадой. Я не ответила ему, отмахнулась просто, не было времени, я ехала очень быстро. Километров через десять на шоссе была пробка, автоматные очереди, густой черный дым, горящие машины на обочине и посередине дороги, резкий пугающий запах горелого жаркого, в небе — белые следы от запущенных ракет. Мы постояли несколько минут, Бнаяу не отвечал мне, телефон отключен, машины начали разворачиваться, потому что стрельба приближалась вместе с какими-то людьми в черной одежде. Я тоже развернулась и поехала домой. Все это продол...

Она неожиданно осеклась, сдвинула голову вправо, близоруко прищурилась и начала что-то рассматривать за головой Бени и за его камерой на стене. Это была та самая желтая репродукция Миро, которую повесил здесь неугомонный культуртрегер Слоним для красоты и общего развития сотрудников. Йохи взялась рукой за воротник кофточки, потерла щеки и повернулась к ним с серьезным лицом, с которого она вроде как стерла свою пугающую окружающих людей широкую улыбку.

Иври покачал головой, откинулся в кресле и спросил у нее:

— Что же было с вами дальше, Йохи Альберт?

— Через день Бнаяу нашли в том месте, о котором он говорил мне, на обочине шоссе возле деревьев. Врач определил время его смерти: он умер сразу после нашего с ним разговора от автоматных выстрелов, трех выстрелов. Телефон его потом нашли у пленного террориста, который сказал, что сам он не стрелял, а стрелял его друг, а он только взял телефон как трофей, так мне рассказал сотрудник в мятой гимнастерке, — по женщине было видно, что она пытается вернуть себе на лицо прежнюю улыбку, но у нее не все получается.

— И вы, Йохи, если я вас правильно понял, пытаетесь принять эстафету и продолжить любимое дело вашего мужа, да? — доброжелательно спросил Иври.

— Да, потому я настойчиво тренируюсь, через полгода у меня старт, я уже послала заявку на участие, — Йохи справилась с лицом, прежняя улыбка вернулась к ней. Не украсила ее, но и не сделала уродливее и несчастнее, куда же еще.

— Бог в помощь, будем за вас болеть, дорогая, — Иври, кажется, расслабился, откинулся в кресле и улыбнулся женщине как умел, как изголодавшийся Змей Горыныч, что ли. Во всяком случае, похоже.

2024

СОДЕРЖАНИЕ

Свинг.....	5
Кутюрье.....	107
Игры с дьяволом.....	278

Літературно-художнє видання
СЕРІЯ «Бібліотека “Крещатика”»
Заснована у 2023 році

Марк Зайчик
КУТЮРЬЕ
(російською мовою)

Макет обкладинки і верстка
Друкарський двір Олега Федорова
Формат 60x84 1/16. Наклад 150 прим. Зам. № 9695
Папір 80 офсет. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 19,5
Гарнітура «Cambria».
Підписано до друку 21.06.2024 р.

Видавець Федоров О. М.,
«Друкарський двір Олега Федорова»
Адреса: а/я 24, Київ-205, 04205, Україна,
e-mail: relaks-oleg@ukr.net

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 3668 від 14.01.2010 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ «7БЦ»
Адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, б-р Незалежності, 2/148
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 5329 від 11.04.2017 р.



МАРК МЕЕРОВИЧ ЗАЙЧИК родился в 1947 году в Ленинграде. С 1973 года проживает в Иерусалиме. Печатался в журналах «Крещатик», «Иерусалимский журнал», «22», «Менора», «Континент», «Звезда», «Новый журнал» и др. Автор нескольких книг прозы, вышедших в США, Израиле, Украине и др. Дважды лауреат премии им. Марка Алданова. Лауреат премии Федерации Союзов писателей Израиля за книгу «Жизнь Бегина».



ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛГА ОВДОРОВА

